

Кайсын
Кулиев
К

ПОЭТ
ВСЕГДА
С ЛЮДЬМИ



Кайсын Кулиев

ПОЭТ
ВСЕГДА
С ЛЮДЬМИ



Статьи, эссе

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

Художник ЮРИЯ ЖИГАЛОВ

Кайсын Кулиев

К 90 Поэт всегда с людьми: Статьи, эссе.— М.: Советский писатель, 1986.— 336 с.

В книгу критической прозы известного поэта Кайсына Кулиева вошли его этюды о классиках — А. Пушкине и М. Лермонтове, Н. Некрасове и Ф. Тютчеве, Ш. Руставели и Н. Кучаке, М. Горьком и С. Есенине. Автор также рассказывает о творчестве поэтов-современников, с которыми его связывало и связывает стойкое чувство дружбы — А. Твардовском и Г. Абашидзе, К. Симонове и А. Сагияне и многих других.

4603000000—146

К ————— 469—86

083(02) — 86

ББК 83. 3Р 7

СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ

Р

одился я 1 ноября 1917 года в старинном балкарском ауле Верхний Чегем, затерянном в верховьях сурового и красивого Чегемского ущелья, на границе Балкарии со Сванетией. Предки наши жили здесь издавна. Мой отец, Шува, как и дед Хаджиби, был скотоводом и охотником. Моя мать, Узеирхан, происходила из аула Жуунгу, расположенного высоко под облаками, среди зеленых гор в одном из разветвлений того же Чегемского ущелья. В детстве я бывал там и некоторое время жил в ауле матери. Я помню, что туда по узенькому ущелью не могла подняться даже воловья арба. Из города и долины все необходимое привозили сюда только на лошадях, мулах и осликах. Здесь на зеленом склоне горы находились два аула — Нижний и Верхний Жуунгу. Во втором жили в основном родичи моей матери — Бечеловы, люди спокойные, не в пример Кулиевым — горячим наездникам и метким стрелкам, большим любителям оружия. Бечеловы в большинстве своем были работающие люди. Стада их паслись на зеленых пастбищах над аулом, где летним днем по нагретой солнцем траве скользили тени облаков и орлов. Там я впервые со своими двоюродными братьями ловил лошадей и скакал на них.

Теперь этих аулов, по существу, уже нет. Сейчас там стойбища пастухов. Приезжая в Верхний Чегем, я часто вижу горы Жуунгу, летом зеленые, зимой белые от снега, вижу речку, которая, как в моем детстве, бежит вниз по узкому ущелью, вижу тропинку, по которой я мальчиком

поднимался в аул матери и спускался оттуда верхом на маленькой лошадке. По этой же тропе везли мою мать замуж в Верхний Чегем — к моему отцу. Когда я приезжаю в Чегемское ущелье, меня обступают воспоминания. От них и сладостно и горько. Мне здесь дорог каждый камень, дерево, тропинка, родник. Здесь жили дорогие мне люди — мой отец, моя мать, братья, которых я больше никогда не увижу. Каждый раз мне кажется, что следы от их ног остались навек на этих тропах, словно их не могли смыть дожди многих лет. Здесь я впервые увидел снег на горе и дождь над отцовской саклей, облака над дорогой, звезды над аулом, лунный свет на скалах, рассвет в окне, закат на белых хребтах, похожий на цвет зрелого кизила, будто сказочный великан залил снега красным вином. Здесь на коленях матери, прижавшись к ее теплой груди, я засыпал счастливым детским сном. Все у меня отсюда — жизнь и песня. Чегем — мое начало, мой исток. Здесь я сложил первый свой стих, сложу и последний.

Люди моего рода, Кулиевы, были узденями — свободными горцами. Это значит — они не служили никому и им не служил никто, жили своим трудом.

Верхний Чегем со всех сторон обступают высокие горы и разноцветные скалы. Под аулом с юга на север мчится река Чегем, а с запада на восток с гор Илькарги несется речка Жилги — приток Чегема. Сакли отца и его братьев находились в некотором отдалении от аула, на берегу Жилги, прямо у темно-рыжих, очень мощных скал, и представляли собой замкнутый ансамбль с единым двором и воротами. В одной из дедовских саклей, что возле ворот, сохранилась даже башня с бойницей. Врагов у жителей гор было достаточно, и жизнь их вынуждала быть не только пахарями и пастухами, но и воинами одновременно. Мои родичи выбрали это место, должно быть, потому, что отсюда удобно и близко было ходить на охоту, легче дотащить убитую дичь. Они жили среди скал и были замечательными скалолазами и меткими стрелками. Может быть, до сих пор я единственный из Кулиевых не признаю охоту. Убивать животных ради забавы, как это часто делается ныне, я считаю злым делом.

Быть богатыми Кулиевы не могли — земля наша скупая, но, видимо, и особой нужды тоже не знали.

Мои первые детские впечатления связаны с суровым обликом взметнувшихся к облакам скал, белизной снега на вершинах и склонах. Весной и летом внизу зеленели луга, деревья и огороды, а на горах белел снег. Такими остались

в моих глазах навсегда утра, полдни, вечера в Чегеме. Мое детство до сих пор приходит ко мне во сне с лошадьми, мулами, осликами. Потому они так часто встречаются в моих книгах. И острое чувство белизны снега осталось у меня с тех дней. На равнине снег исчезает весной, и до следующей зимы равнинные жители не видят его. А у нас лето и зима не расстаются никогда. Горцы постоянно видят белизну вершин. Горские мальчики обычно, едва начав ходить, просили посадить их на ослика. С этого начиналась их самостоятельная жизнь. Так было и со мной.

Первая жена моего отца умерла, оставив ему четырех сыновей и двух дочерей. Моя мать была его второй женой. Она родила отцу дочь и двух сыновей. Старше меня мальчик умер совсем маленьким еще до моего рождения. Семья была большая, и жить, мне думается, было нелегко. Но отец — энергичный, смелый, волевой человек, видимо, не очень унывал и не боялся трудностей существования. Это подтверждала мать, об этом говорили мне братья отца, все наши родичи.

В горы пришла гражданская война. Мой отец, конечно, не был революционером. Но его не могли не заинтересовать и увлечь лозунги Октябрьской революции о том, что земля будет принадлежать всем крестьянам, люди станут равноправными, не будет богатых и бедных. К тому же Шува был горячим, увлекающимся человеком. Мой отец и его племянник Такуш Кулиев пошли сражаться в ряды горских партизан против белоказаков Деникина, когда те ворвались в Чегемское ущелье. После тяжелых боев партизанам пришлось временно отступить за горы — в Сванетию. В пути Такуш погиб, настигнутый снежным обвалом, а Шува заболел тифом и вскоре умер. Это было в девятнадцатом году. Мне было тогда два года. Отца, конечно, не помню. Я никогда не видел его даже на фотографиях. Их у него не было. Когда мой старший сын Эльдар был маленьким, он меня спрашивал, каким был дедушка. Но я и сам знал его только по рассказам матери и близких. Мальчик просил показать фотографию. Я невольно обманул сына — показал ему портрет осетинского поэта Коста Хетагурова в черкеске и с кинжалом. Мне больше ничего не оставалось.

Когда умер отец, мы с сестрой, которая старше меня года на три, остались с матерью. Понятно, как нелегка была наша жизнь. Мама вечерами часто плакала, сидя с нами у очага. Может быть, драматизм моих стихов отсюда и берет свое начало. Мать была работающей крестьянкой.

Она сумела нас вырастить, послать в школу, несмотря на все трудности. Ее доброта, терпеливость и трудолюбие стали первым значительным жизненным уроком для меня. Она умерла в 1963 году. Вот тогда-то я, сорокапятилетний мужчина, почувствовал себя настоящим сиротой.

Как и полагалось в горах, я совсем маленьким пас овец, коров, телят, возил дрова на ослике и на воловьей арбе, косил сено, пахал — до семнадцати лет делал все, что делает крестьянин в горах. Мать всегда жалела, что мне, такому еще маленькому, приходилось работать слишком много. Но теперь я понимаю, что оно было к лучшему. Это закалило меня надолго, научило уважать работающих людей, навсегда связало с землей, подготовило для более трудных дел и времен. Я рад тому, что рос среди чегемских крестьян, этих мудрых и трудолюбивых людей. Они были моими первыми учителями жизни. Еще мальчиком я ездил верхом замечательно. Меня сажали на необъезженную лошадь без седла, и я объезжал ее. Не было случая, чтоб я упал. Меня прозвали «Шкура коня».

Так я рос в горах, окруженный умевшими работать горцами и заботами матери. В 1926 году один из старых коммунистов повел меня, взяв за рукав, в только что открывшуюся школу аула Нижний Чегем. Я впервые увидел книжки. Получил букварь с красивыми картинками и тетрадки. Это было замечательно. Мои тогдашние чувства я старался выразить в «Горской поэме о Ленине». Зимой я учился, а летом занимался крестьянским трудом. Русскому языку нас обучал старый учитель Борис Игнатьевич, пожилой милый человек в чеховском пенсне. Слова благодарности ему читатель найдет в той же «Горской поэме» и в более раннем моем стихотворении «Учитель Борис Игнатьевич». Но тогда я не понимал, каким благом станут для меня его уроки, не знал, что русский язык откроет мне свои несметные сокровища и я приобщусь к великой русской литературе — от Пушкина до Твардовского, от Толстого до Паустовского. Об этом в моей «Горской поэме» сказано:

А годы шли, как ливни по хребтам
Идут и переваливают горы.
И в новых школах открывались нам
Иного мира солнечные створы.

И в первом классе, праздником даря,
Мне дал учитель книгу и тетрадки.
И даже в снах картинки букваря
Рассматривал, листая по порядку.

О книга книг! Утеха из утех!
В душе моей она жива навечно,
Всех книг открытей и красивей всех.
Я ей навек признателен сердечно.

О первый день литого сентября,
Парча чинар и холодок ракиты,
Лет паутинок первых! С букваря
Все книги мира предо мной открыты.

Простор дорог открылся вместе с ним.
По тем путям, как озаренья миги,
Летели в мир из каменных теснин
Мои стихи и собственные книги.

Борис Игнатьич! От души моей,
Открытой миру Вашей доброй силой,
Я этот стих, как песню соловей,
Оставляю Вам над Вашей могилой.

Я любил петь с детства, жил в атмосфере народной песни и сказки. Пели чабаны, косари, каменотесы, всадники в пути, девушки, копающие огород. Я был маленьким ашугом, пел своим товарищам и взрослым девушкам, да и на свадьбах тамада, усадив меня рядом с собой, просил петь. И теперь, когда я знаком с образцами мировой поэзии, все равно народная лирика остается для меня дорогой и непостижимо прекрасной. Думаю, что она дала мне много. Создателей многих горских песен считаю великими безымянными поэтами. Слагать стихи я начал рано — лет с десяти. А в семнадцать печатался. Об этом сейчас сожалею. Не надо так рано выступать в печати. Это вредно. Учась в нальчикском техникуме, я заполнял толстые тетради стихами. Они казались мне замечательными. Если не печатали, обижался. Наверное, не со мной одним так происходило. А стихи мои, разумеется, в подавляющем большинстве были слабые, несамостоятельные.

Мне не было и восемнадцати лет, когда я приехал в Москву и поступил в Театральный институт имени Луначарского (ГИТИС). Быть артистом я не собирался. К тому времени уже окончательно решил стать поэтом — твердо, без сомнений верил в свои способности, в свою звезду. Я тогда нисколько не боялся слова «поэт», не понимая трудного и глубочайшего его смысла. Нынешних сомнений у меня тогда не было и не могло быть. Читал я, правда, уже много, русский язык знал прилично. Моими любимыми поэтами в ту пору стали Лермонтов и Есенин. Собственно говоря, и до сих пор остаюсь верным этой любви. Пристрастие к Лермон-

тову одобряли, за Есенина корили. Теперь у меня, конечно, гораздо больше любимых поэтов. Образцом поэта считаю Пушкина, хотя по-прежнему люблю и Лермонтова.

Думаю, что мое поступление в ГИТИС было удачей. По своим склонностям я мог учиться только в гуманитарном учебном заведении. А другого института с таким широким профилем, где бы изучались все области искусства и культуры, не было. Там, например, я прошел курс истории мировой музыки и живописи. Для меня это было откровением. Нам преподавали лучшие профессора и деятели искусства. Запомнились забота и внимание директора института Анны Никитичны Фурмановой. Я ведь писал и одно время совсем собрался уйти в Литературный институт, который в то время был вечерним. Но Анна Никитична уговорила меня, объяснив, что для моего культурного развития занятия в ГИТИСе гораздо полезнее. И правильно сделала. При этом она разрешила не ходить на те занятия, которые меня не интересовали, такие, как ритмика, танец, сценическое движение, чтобы я мог посещать и Литинститут. Учась в ГИТИСе, я смотрел все лучшие спектакли московских театров, посещал концерты, выставки живописи.

В годы занятий в Москве я перевел на балкарский язык три пьесы — «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, «Прodelки Скапена» Мольера, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова. Их с успехом ставил наш театр, хотя, мне думается, переводы мои были далеко не совершенны. Недавно я перевел «Отелло». Это, наверное, сделано уже лучше.

Артистом я не стал. Вернувшись в Нальчик, год преподавал литературу в институте. Весной 1940 года вышла моя первая книга стихов «Здравствуй, утро!». Теперь в ней больше всего мне нравится название. От него не отказываюсь и сейчас. От многих же стихов сборника с удовольствием отказался бы, да сделанного не воротишь. Рукопись моя лежала в издательстве три года. Ее бурно обсуждали в Союзе писателей республики еще летом 1937 года. При всей слабости, риторичности многих стихов, видимо, были в ней вещи, которые несли какую-то непривычную для балкарской поэзии тех лет новизну. Должно быть, поэтому споры были столь долгими. Помнится, некоторые мои старшие товарищи протестовали как раз против тех сторон моей работы, которые я старался развивать в дальнейшем и стараюсь сейчас. Мне хотелось назвать радостное радостным, горькое горьким, передать свои ощущения эмоционально и образно. И сейчас удается это мне в какой-то степени с трудом, а тогда лишь в

редких случаях мог я добиться художественности в более или менее серьезном ее понимании. Именно эти стихи и не принимались. Были горькие, несправедливые упреки и обвинения. Мои критики ругали меня, к сожалению, не за то, что надо было критиковать беспощадно — за присутствие в моих стихах жалкой риторики. Этого никто вовремя не подсказал мне, пока я сам не добрался ошупью до истины и с горечью понял свои заблуждения. Я слишком много декламировал, вместо того чтобы говорить просто, как положено нормальному человеку. Мне тогда казалось, что чем громче говоришь, тем речь становится эмоциональней, а стихотворец более гражданским поэтом. В этом отношении я не был одинок. В те годы очень многих одолевали риторика и славословие. Это было нашим несчастьем. А над несчастьем стыдно смеяться. Только потом я понял, как просто говорила моя мать.

Несмотря на незрелость стихов, написанных до 1940 года, все же среди них есть вещи, которые дороги мне. В зрелые годы я написал немало стихотворений, продолжающих линию тогдашних моих находок. Я имею в виду «Песенку горной речушки», «Песенку мальчика, едущего на ослике», «Снежок», «Во дворе» и ряд других. Справедливости ради должен отметить, что такие стихи не находились в русле поэзии того времени и я, как автор их, в те годы был почти одинок в балкарской поэзии. Потому-то и нападали на меня некоторые из моих товарищей. Но я рад тому, что написал эти стихи. Они оправдали мои поиски тех лет и стали как бы истоком всей дальнейшей моей работы, связав ее со всем мне родным в жизни, с фольклором, а также с традициями русской и общеевропейской поэзии.

Каждый литератор имеет свою меру для всего. И пусть останутся на совести моих критиков тех лет все беспочвенные требования. Нас рассудило время.

Как бы хорошо ты ни знал другие языки и достижения литератур других народов, главным являются образцы, созданные на родном языке. Их в нашей молодой балкарской литературе почти не имелось. Можно было опираться только на народную поэзию. Правда, еще жил в горах наш прославленный поэт Кязим Мечиев. Его и сейчас я считаю гениальным человеком и одним из самых крупных поэтов всего Кавказа, равным по таланту Важа Пшавела. Он мог бы помочь мне во многом. Но до 1938 года он почти не печатался, его произведения мне были мало известны. Жил он в далеком ауле. Впервые я увидел его только в

предвоенные годы. Когда же я узнал его поэзию ближе, он стал моим учителем на всю жизнь. Я многим обязан ему, его замечательной по образности, сжатости, драматизму и правдивости поэзии, его мудрости и человечности. Он ведь еще задолго до моего рождения писал: «Мир — это такое горькое море, чьи только корабли в нем не тонули!» Все великие и малые поэты писали о молодости, но все равно Кязим Мечиев оставил о ней неповторимые строки, стоящие в одном ряду с лучшими образцами мировой лирики.

Молодость, ты была стрелою лука,
Я выпустил тебя.
За какую гору ты перелетела,
О какую ударилась скалу?

Молодость, ты была похожа
На шею весеннего фазана.
Или ты была той ланью,
Которую подстрелил я сам?

(Перевод подстрочный)

Таким же прекрасным остается для меня и его стихотворение о сером камне, которое Кязим написал в Дамаске в 1910 году — в дни своих скитаний по Арабскому Востоку. Приведу его тоже целиком, потому что я говорю о своих истоках.

Серый камень сорвался со скалы,
С гулом в темную бездну упал.
Ему вечно лежать в этой тьме,
Никогда не вернуться к родной скале.

Боже! Я молю тебя на заре,
Я молю тебя на закате:
Хоть в серый камень меня преврати,
Но верни к родному очагу!..

(Перевод подстрочный)

Наши молодые поэты в предвоенные годы в основном занимались абстрактной декламацией. А Кязим умел конкретно говорить о том, чем он жил, что его окружало, чем жили его соседи-аульчане, его многострадальный народ. Он умел выражать родную природу, суровую и прекрасную, неповторимый облик своей земли. Он писал конкретные стихи о своем кувшине, благословив труд мастеров, о своей собаке, корове, о воробье, писал об одинокой иве у горной речушки, об ослике, на натруженной спине которого открылась рана. Кязим беседовал со старостью и смертью. Писал

о своей сакле, у очага которой он много лет слагал стихи. Во всем этом было много человечности и поэзии. Он создал трагические поэмы о бедствиях родного народа и о любви — «Раненый тур», «Бузжигит». Мечиев видел и выражал мир как большой поэт, как истинный художник. Он стал учителем для меня и как личность и как поэт наравне с другими крупнейшими разноязычными мастерами нашего времени — такими, как Гарсия Лорка, Пастернак, Твардовский, Тихонов, Леонидзе, Чиковани.

Из произведений родной поэзии довоенного времени в моей судьбе сыграло положительную роль и стихотворение «Кавказ» единойзычного со мной поэта карачаевца Исы Каракетова. В этом стихотворении была та художественность, которая отсутствовала во множестве других рифмованных строк. Его до сих пор считаю одним из лучших в нашей поэзии. Оно пластично и написано замечательным живописным языком. Рано погибший на фронте поэт, к сожалению, не успел написать ничего равного своему «Кавказу».

В конце июня 1940 года, приняв экзамен у студентов, всем поставив «отлично» и «хорошо», подарив им по экземпляру первой своей книги, я уехал в Красную Армию. Между прочим, комиссия ни словом не возразила против поставленных мной высоких оценок. Я радовался. Студенты тоже. Я был молод, здоров и счастлив этим, несмотря на то что, как и многие, чувствовал все нарастающую угрозу войны. Об этом я писал в своем только что выпущенном сборнике.

Тогда мы не могли представить себе размеры предстоящих испытаний и бедствий. Мы в тот вечер никак не думали, что одни из нас погибнут на фронте, а другие через пять лет встретятся так далеко от родных гор... Не вернулись с фронта и многие из моих студентов. Как хорошо, что я ставил им высокие оценки. Они хорошо учились. Я уверен, что они так же хорошо сражались на фронте. Но там оценки ставились без меня.

2

Уверенный в том, что я счастлив, крепок и нигде не пропаду, я ехал на военную службу в Заполярье, где летом ночь совсем не наступала. А я, привыкший к темным южным ночам, чувствовал себя как-то странно. Попал в пехотный полк. Это меня огорчило. Мне хотелось быть кавалеристом. Но через некоторое время изменил свое решение и попросился в парашютную часть.

Меня отправили в город Пушкин (бывшее Царское Село). Там я учился прыгать с трамплина и вышки. Затем нас повезли в летние лагеря 201-й парашютно-десантной бригады имени С. М. Кирова. Там ясным августовским днем я впервые совершил прыжок с тяжелого бомбардировщика ТБ-3. А потом прыгал с разных самолетов, с разной высоты — летом, весной, осенью, зимой — во всякую погоду. Эта трудная и опасная служба мне нравилась. Вместе со мной служили замечательные ребята — сильные, смелые, грамотные, хотя и несколько избалованные своим особым положением. Врачом в части был дагестанский горец Абусаид Исаев. Мы дружили. Абусаид был моим слушателем. Зная кумыкский язык, он прекрасно понимал мои стихи. Возможности писать у меня были. Командование части, в том числе командир бригады генерал Безуглый и комиссар Киреев, относилось ко мне хорошо. Ведь я был единственным членом Союза писателей СССР из всех, кто служил в этой замечательной бригаде за всю ее историю.

О гибели моего товарища — врача Абусаида — я узнал в чебоксарском госпитале из рассказа Николая Тихонова «Дети гор», напечатанного, кажется, в газете «Красная звезда» за 1942 год. Служба военных парашютистов была не на шутку опасная. Говоря словами Лермонтова — «немногие вернулись с поля!».

К весне 1941 года особенно обострилось тревожное предчувствие войны. В мае нашу бригаду направили в Латвию. Мы оказались в городе Даугавпилсе (Двинск). Там еще острее чувствовалась накаленность атмосферы. Мы тренировались, учились, начали заниматься немецким языком. Лагерь наш находился в лесу у небольшого озера. Помню, 21 июня я лежал на берегу озера и читал трагедию Самуила Галкина «Бар Кохба», напечатанную в журнале. А на следующий день столкнулся с войной лицом к лицу, воочию увидел ее жуткий лик. Фашисты нещадно бомбили город и аэродром. Наши самолеты не поднялись — говорили, что не было горючего. Склады с запасами одежды и продовольствия приказано было жечь. Мне довелось принимать участие в этом невеселом деле. Все вокруг было охвачено огнем. Советские войска отступали из Латвии. Двум группам парашютистов-подрывников приказали готовить взрыв двух чугунных мостов через Западную Двину. По одному из них ходили поезда, по другому — остальной транспорт и пешеходы. Мосты были большие и находились друг от друга не так далеко. Говорили, что буржуазная

Латвия строила их пятнадцать лет. Я оказался в той группе, которой предстояло взорвать железнодорожный мост. Мы заложили тысячу килограммов взрывчатки. Приказано было взорвать мост в тот момент, когда головные танки врага ступят на него.

Фашисты бомбили день и ночь. Казалось, что горят камни и вода реки, но мосты стояли. Гитлеровцы берегли их для себя. В таком аду мы ждали более суток. Зеленая страна Латвия с ее маленькими хуторами в перелесках полюбилась мне. И как больно было видеть ее в огне и дыму! А урожай хлебов в то лето был редкостным. Я помню смертельные бои в высокой ржи, мокрой от дождя и крови. Мы ждали у моста появления фашистских танков. Самым тягостным было видеть не только отступавшие войска, но и беженцев — стариков, детей, девушек с опухшими босыми ногами, с растрепанными волосами, видеть их обезумевшие глаза. Это было великое человеческое горе. Такое невозможно забыть.

Наконец показались немецкие танки. Они шли, на ходу обстреливая город. Мы все ждали, выполняя приказ. Головные танки вступили на мост. И он был взорван мгновенно. К нам подбежал боец-пехотинец, он плакал и кричал: «Что вы наделали! Мой друг на мосту остался!» Этот крик слышится мне до сих пор. И теперь мне видятся клубы дыма, куски металла и одинокий боец, бежавший с винтовкой в руках и вещмешком за спиной. Выполнив приказ, мы шли через горящий город в лес, к своим. Чудом уцелела вся наша группа.

Отступая к старой границе, мы участвовали в беспре-рывных жесточайших боях, не прекращавшихся ни днем, ни ночью. Наша бригада была самой боеспособной и отборной кадровой частью. Сражалась она действительно насмерть, с большой отвагой, нападала ночами на штабы гитлеровцев, громила их. Многие наши товарищи погибли в тех боях за Латвию, сильно поредели ряды замечательной бригады отважных парашютистов. Горько было видеть гибель друзей, стыдно было перед населением за наше отступление.

Умение учиться на пережитом — неоценимая вещь. Нам, литераторам, очень полезно помнить это.

В первые дни войны было не до стихов. Но все равно мне как-то удалось еще в Латвии написать два стихотворения. Я послал их в газету. Они были горьки, как и переживаемые дни и события. Нашу бригаду после того, как она

прошла с боями Латвию, отправили в Ивановскую область на переформирование. Мы расположились в прекрасном сосновом бору. У меня уже было больше возможности думать и писать. Бригада стала корпусом, который находился в резерве Ставки Главного командования. Мы испытывали новый вид парашютов. Если до этого минимум высоты прыжков составлял тысячу метров, то теперь прыгали с высоты двести пятьдесят — триста. Это обеспечивало кучность посадки. Было очень опасно — земля находилась слишком близко. Если сколько-нибудь задерживалось раскрытие парашюта, грозила гибель.

Первого октября 1941 года нас подняла боевая тревога. Ранним утром весь наш корпус самолетами направили к городу Орлу, который уже успела занять танковая армия гитлеровского генерала Гудериана. Брянский фронт был прорван фашистами, и они рвались к Туле и Москве. В сумке моей лежал томик избранных произведений Лермонтова. В самолете я вытащил книгу и смотрел на портрет поэта. Это утешало меня и связывало со всем мне дорогим, с моим родным Кавказом, поддерживало меня. Мы летели. Внизу паслись коровы, овцы. Отступали наши наземные войска. Беженцы уходили на север.

День был очень тяжелым. Когда наши самолеты приблизились к Орлу, нас яростно атаковали немецкие истребители. Наших не было видно. Внизу за городом горели аэродромы. Били вражеские зенитки. Я оказался с группой, которая приземлилась севернее города. Мы собрались и, окопавшись, заняли оборону. Перед нами была поставлена задача — задержать немцев до подхода свежих сил советских войск, не пускать фашистов дальше — к Туле и Москве.

Перед вечером подоспела танковая бригада генерала Катукова. Мы сели на танки и десантом двинулись к Орлу. От пыли невозможно было узнать лица сидевших рядом товарищей. Фашистские истребители низко реяли над нами. Наши истребители не показывались. Многие из ребят были ранены и убиты по дороге. Оставшиеся в строю, дойдя до окраин Орла, вступили в бой с немцами, отеснили фашистов, несмотря на их превосходящие силы. Ночью шел непрерывный бой. Трудно было понять — где свои и где враг. Танки Гудериана рвались на север. Советские парашютисты вместе с танкистами стояла насмерть. Пришло утро. Наши части не отступили ни на шаг. Поле было усеяно трупами и подбитыми танками. Группа наших десант-

ников, приземлившаяся в самом городе, была окружена танками и уничтожена. Еще в Прибалтике попадавших в их руки десантников гитлеровцы сразу расстреливали на месте, называя диверсантами. Об этом мы знали. Тяжелые бои у Орла продолжались несколько дней.

После Орла я лежал в чебоксарском госпитале. Снова писал. Связался с Союзом писателей СССР. С лета сорок второго года уже начали переводиться на русский язык мои военные стихи. Они печатались в газетах «Правда», «Красная звезда», «Литература и искусство», в журналах «Знамя», «Красноармеец», «Огонек», «Дружба народов», часто передавались по радио: делались отдельные мои передачи; мне сообщали из Москвы, и я слушал их в госпитале.

В 1942 году особенно тяжело я переживал наступление гитлеровских орд на Кавказе и оккупацию родной Кабардино-Балкарии. Знать, что на вершине Эльбруса реет флаг со свастикой, было невыносимо. Я писал об этом Фадееву, просил оказать содействие в направлении меня на Кавказский фронт. Он ответил, чтобы пока я не думал об этом и лечился, присылал начальству госпиталя телеграммы, спрашивал о моем здоровье, просил проявлять максимум внимания. Я был признателен А. А. Фадееву, зная, однако, что я, молодой литератор, еще ничего особенного не сделал.

Выписавшись из госпиталя, я работал в запасной стрелковой бригаде заместителем политрука роты, а затем лектором. А ранней осенью слег снова. В начале ноября пришли телеграммы от Политического управления Красной Армии и Фадеева, чтобы меня направили в их распоряжение.

В десятых числах ноября 1942 года я впервые приехал в военную Москву. Сразу же с Казанского вокзала отправился на улицу Воровского. Пошел к Фадееву. Он был ласков со мной. Сказал много приятного о моих стихах. Поблизости о моем устройстве в столице.

Кроме прочего, Александр Александрович сообщил мне, что он уже договорился с А. С. Щербаковым — в то время начальником Политуправления Красной Армии, и я длительное время буду в Москве, что я включен в список писателей, которые должны быть демобилизованы. Приводить сказанное Фадеевым о моих стихах не буду. Я отрицательно отношусь к тому, что нередко писатели в воспоминаниях цитируют лестные для них слова или письма знаменитых людей. Поэтому ничьи высказывания, касающиеся меня,

будь то мнение Фадеева, Пастернака или Твардовского, цитировать не стану.

Александр Фадеев тогда казался нам очень ясным, но он фигура сложная в психологическом, морально-этическом и творческом планах. Таких людей нельзя характеризовать вскользь, мимоходом. Именно поэтому, понимая сложность его положения и обстоятельств, в которых он находился, я не имею права в моей краткой автобиографии касаться иных сторон его деятельности и личности, кроме его отношения лично ко мне и к моей работе. С чистой совестью могу сказать, что Фадеев относился ко мне очень внимательно. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют его заботы о моей судьбе в годы войны. Через несколько дней после моего приезда в Москву он распорядился, чтобы организовали мой творческий вечер. На нем среди других литераторов присутствовали Фадеев, Пастернак, Асеев, Самед Вургун, Перец Маркиш, Мамед Рагим. Переводы моих стихов читали известные мастера — Вера Звягинцева, Михаил Зенкевич, Мария Петровых, Дмитрий Кедрин. Мне была оказана честь. Это я понимал.

Разговор идет об отношении ко мне, совсем молодому тогда литератору малочисленного народа. И такой разговор не является пустячным. Он подчеркивает одну из сторон многогранного характера выдающегося советского писателя, руководителя литературных сил страны в течение многих лет...

В дни пребывания в Москве я много раз выступал по радио, на вечерах в разных аудиториях и воинских частях.

Фадеев уговаривал меня демобилизоваться. Он хотел, чтобы я уцелел. В это дело включилась и Елена Дмитриевна Стасова, организовавшая первые переводы моих стихов на европейские языки. Я был благодарен этой умной женщине, которая работала при Ленине секретарем ЦК РКП(б). Я бродил с ней по заснеженным улицам Москвы и удивлялся ее словам, обращенным ко мне. Она переоценивала меня. Я ведь был очень молод и не имел права считать себя значительным поэтом, знал, что ничего серьезного мною не сделано. Но эти крупные люди были добры и внимательны ко мне. Не говоря уже о Стасовой, я тогда не понимал, почему так хорошо относится ко мне Фадеев, хотя и чувствовал, что чем-то я дорог и близок ему. Теперь, прочитав его записные книжки, я понял причину его внимания. Он был слишком хорошего мнения обо мне.

Поблагодарив Стасову и Фадеева за заботу, я отказался

от демобилизации. Я не мог, не имел права считать себя лучше тех, кто сражался и погибал. Их так же ждали дома матери, как моя в Чегемском ущелье. На этот счет у меня тогда были твердые убеждения. К тому времени я уже видел многое и многое испытал. Быть парашютистом я уже не мог, но вернуться на фронт был способен. Тогда Фадеев принял другое решение. Он договорился, что я поеду на фронт военным корреспондентом. Решили, что я вместе с Константином Симоновым, также принимавшим участие в моей судьбе, отправлюсь на Кавказский фронт корреспондентом газеты «Красная звезда». Перед этим я поехал на несколько дней в Чебоксары, в госпиталь. Из-за тяжелого положения с транспортом вернуться к сроку не сумел. Симонов один уехал в Тбилиси.

3

Перед 1943 новым годом я уехал на Сталинградский фронт, войска которого уже наступали. В моей полевой сумке лежал пакет от Политуправления Красной Армии и характеристика Союза писателей. Их я вручил в Сталинграде начальнику Политуправления фронта. Меня направили в газету 51-й армии — «Сын отечества». И я уже скакал по зимним степям, догоняя наступающие войска. Редактор газеты С. Жуков и его заместитель, бывший редактор «Харьковского рабочего», З. Гильбух были рады моему приезду. Они знали мои стихи по центральной прессе. Но, честно говоря, мне, бывшему боевому парашютисту, сначала не понравилась работа в газете, она показалась мне скучной и незначительной. У меня не было никакого журналистского опыта. Я стал нарушать дисциплину военных корреспондентов — ходил в атаки, не имея на это права, к назначенному сроку не возвращался с передовой в редакцию. Бывали случаи, когда я забывал, что моя первая обязанность — посылать в газету нужные ей материалы, а не ходить в атаки. Каждому положено свое. Я как-то не думал о подобных вещах. Помню такой случай в Донбассе. Необходимо было взять «языка». Долго не удавалось. И его взяли как раз на том участке фронта, где я находился. Но я ничего об этом не сообщил в редакцию. Вместо этого воевал. Такого уж никак не мог переварить опытный газетчик Гильбух. Он, должно быть, уже не рад был, что к ним приехал такой сумасбродный стихотворец. И был прав. Дело дошло даже до того, что однажды, когда я вернулся с передовой, пробыв

там втрое больше положенного, мы с Гильбухом серьезно поссорились и оба схватились за пистолеты. В этот момент зашел редактор Семен Осипович Жуков. Он нас разнял. Ругал своего заместителя, а не меня, хотя я и провинился перед начальством. Удивляюсь до сих пор, почему он никогда меня не корил, не наказывал, имея на это право. Он был умный и хороший человек. Позже я набрался опыта в новой для меня деятельности и даже заслужил реабилитацию со стороны Гильбуха. Мы с ним снова стали приятелями, и так уже продолжалось до конца. Да и в самом начале он ценил мои корреспонденции. Особенно ему понравился очерк «Руки убийцы».

В «Сыне отечества» я встретился с моим земляком — кабардинским поэтом Алимом Кешоковым. Это было приятно для меня в те тяжелые дни. В той же газете работал Вениамин Цезаревич Гоффеншефер, которого я знал еще до войны как литературного критика. Теперь с ним, как и с Кешоковым, мы были вместе, делились своими радостными или горькими мыслями. Там же я познакомился с замечательным журналистом, умным и хорошим человеком Сергеем Зыковым. Общение с таким образованным и высококультурным человеком, знатоком литературы, как Гоффеншефер, нам с Кешоковым было очень полезно. Мы полюбили его. Я многим обязан Вениамину Цезаревичу. Он нередко переводил для газеты мои стихи, написанные на родном языке, редактировал те их них, которые я писал по-русски.

С газетой «Сын отечества» я прошел по многим военным дорогам, участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Донбасса, Левобережной Украины, был свидетелем и участником упорнейших боев в районе Мелитополя — там, где шло кровопролитное сражение за Крымский перешийек. На небольшом участке было сосредоточено много войск. Туда мы приехали с Алимом Кешоковым. Дул сильный ветер, суховей. Освободив Мелитополь, советские войска продвигались к Перекопу и Сивашу. Пыль стояла на дорогах. Это было в конце октября. Возвращались беженцы со своим скарбом. Я наблюдал много горького и трагического. Но уже видно было лицо победы. Встречались толпы пленных. В боях за Мелитополь мы видели настоящее господство нашей авиации в воздухе. Советские танки наносили врагу сокрушительные удары. Все неузнаваемо изменилось по сравнению с начальным периодом войны. Через Аскания-Нова я поехал сперва к Перекопу, а оттуда на Сиваш. Перешел его осенней ночью с первыми подразделениями.

Бойцы шли по грудь в воде, неся боеприпасы, противотанковые ружья, тянули легкие пушки по воде и топи три с половиной километра. Моста еще не было. Ни танки, ни тяжелые орудия перейти Сиваш не могли. Все же наши войска заняли плацдарм. Это была драматическая и грандиозная картина. Когда я думаю, что человек способен перенести самые большие трудности, каждый раз мне вспоминается Сиваш и особенно саперы. Какой это был громадный труд! Какие это были люди!

Так продолжалось пять месяцев — до начала апреля, когда развернулось наступление за освобождение Крыма. За эти пять месяцев я часто ездил на передовую — то на Перекоп, то на Сиваш, лазил по Турецкому валу. В 1943 — 1944 годах я много писал не только корреспонденций, статей, очерков, но и стихов. Мне кажется, независимо от их художественного уровня, в них чувствуется трагическое мужество того времени. Это я считаю основным их тоном. То, что я видел вокруг и переживал, никак не вязалось с бодростью. Мне очень нравятся прекрасные слова Мицкевича: «Какая жизнь — такой пусть будет песня». По моему мнению, и поэзия должна была вбирать в себя ту драматическую атмосферу, в ней должно было жить небывалое мужество людей, очень хотевших жить, но сражавшихся и погибавших за свою родину. Тут всякая ложь и фальшь звучали отвратительным кощунством. Немало и таких рифмованных строк появилось в годы войны. Делатели бездарных виршей находятся всегда. Зато были написаны «Василий Теркин» А. Твардовского, ленинградские стихи О. Берггольц, «Киров с нами» Н. Тихонова, лучшие стихи А. Суркова и К. Симонова. Трагическая правда учит углубленному отношению к жизни, стойкости и нравственной чистоте. Примерно такими чувствами жил я, когда писал свои циклы «Перекоп» и «Сиваш», в которых впервые за время войны прорвались в мои вещи эпические мотивы.

В конце марта дождливым днем, получив очередное задание от редакции, я отправился на передовую. Прежде чем перейти через Сиваш, мы заехали на полевую почту. Мне вручили письмо. Я сразу узнал почерк поэта Керима Отарова, хотя внизу на конверте значилась фамилия «Османов» и неизвестный мне адрес. Еще не раскрыв письма, я понял, что случилась беда.

Алим Кешоков, Гоффеншефер и другие мои товарищи старались поддерживать меня. Они понимали мое горе.

Накануне наступления я с группой корреспондентов снова перешел Сиваш. Мои товарищи остались на большом плацдарме, я перешел через один из рукавов Сиваша на полуостров Тейтюбе, где за дни обороны бывал не раз. На рассвете началось наступление. После мощного артиллерийского обстрела позиций противника на врага пошла пехота. Я тоже пошел в бой, перейдя озеро, взял ручной пулемет убитого пулеметчика. Когда гитлеровцы были выбиты из окопов, наши пехотинцы стали гнать их дальше. Я поднялся на холм и бил из пулемета по фашистам. Тогда я мало думал об опасности.

Шли бои в Симферополе. Я прибыл туда ночью одним из первых корреспондентов. На второй день встретился с моими товарищами. В одном из крымских селений наконец я получил письмо от матери и сестер. Они уже были в Северном Казахстане.

Продолжалось наступление на Севастополь. Кешоков и я целый день находились с одной пулеметной ротой. Пули сыпались на землю с низкорослых деревьев как град. Это было на Макензиевых горах, недалеко от Севастополя. Утром следующего дня я был ранен. Кешоков и Зыков отвезли меня в симферопольский госпиталь. Так я расстался с «Сыном отечества», вышел из строя. Через несколько дней в нашей маленькой офицерской палате неожиданно появился командующий 51-й армией генерал Крейзер. Я удивился. Он мне всегда нравился. Был молод, строен, серьезен. Я лежал в гипсе, не мог встать. Командующий, подойдя к моей койке, сказал, что привез мне орден Отечественной войны 2-й степени, которым я награжден. Он добавил: «От имени Президиума Верховного Совета СССР вручаю вам орден и поздравляю вас. Желаю скорого выздоровления». Я приподнял голову и ответил: «Служу Советскому Союзу».

В начале весны я был принят в члены Коммунистической партии. Секретарь парткомиссии привез мне в госпиталь партбилет.

4

В Симферопольском госпитале я пролежал месяца два. Потом меня отправили в Кисловодск. Утром рано санитарный поезд остановился в Пятигорске. Я увидел белый Эльбрус! В кисловодском госпитале лежал до конца октября. Из Союза писателей СССР не раз приходили запросы о моем здо-

ровье. Тогда председателем правления был Николай Тихонов. В госпитале я много читал. Достоевский, например, был прочитан целиком. Писал стихи. Родное Чегемское ущелье находилось совсем недалеко. Но там уже не было моей матери. Выписавшись, я поехал в Нальчик. Здесь я встретился с некоторыми старыми товарищами. Они отнеслись ко мне с участием, заботливо. Рана ноги еще не зажила, ходил на перевязку по знакомым улицам, опираясь на палочку. Я часто бывал в гостях у кабардинских крестьян. У них тоже находил сочувствие и заботу, хотя время было трудное во всех отношениях. Поехал в свое Чегемское ущелье. Пробыл там дней семь. На стенах домов читал надписи на балкарском языке: «Смерть фашизму!», «Не пропустим фашистских убийц в родные горы!», «Да здравствует Советская родина!»

К концу декабря из нальчикских госпиталей выписалась группа инвалидов-балкарцев, приехали и из других мест. Собрав всех, я уже хотел ехать в Баку, а оттуда в Среднюю Азию.

Но в конце декабря 1944 года пришла телеграмма от Тихонова. Он предупреждал, чтобы я никуда из Нальчика не выезжал до получения следующей его телеграммы. Через день Николай Семенович сообщил мне, что Литфонд выслал деньги и чтобы я немедленно выехал в Москву. Денег я не просил и, честно говоря, хотел поблагодарить Николая Семеновича и отказаться от поездки. Но мне категорически возразили мои товарищи. К Тихонову у горцев было отношение особое. Мои друзья сказали, что раз Николай Семенович считает это нужным, надо ехать. Так и было решено. 31 декабря я выехал в Москву. Снова явился на улицу Воровского, пошел к Тихонову. Он сообщил мне, что в самые высшие инстанции послано ходатайство обо мне.

Примерно через месяц Н. С. Тихонов вызвал меня и сказал, что мне разрешено жить, где хочу (за исключением Москвы и Ленинграда). Попросив Николая Семеновича разрешить мне подумать и прийти к нему на следующий день, я сел в электричку и поехал в подмосковное село Черкизово — к Дмитрию Кедрину. Я рассказал ему все, добавив, что сам твердо решил ехать в Среднюю Азию — к своим. Дмитрий Борисович сразу же сказал: «Правильно!» На том и решили в бревенчатом домике, где я провел много вечеров, дружески беседуя и читая стихи с этим милым, честным, талантливым человеком. Там же Кедрин написал мне прекрасные стихи, которые теперь знают многие.

В назначенный час я пришел к Тихонову, сказал о своем решении. Он спросил:

— Хорошо ли подумал?

— Да,— ответил я.

— Потом не пожалеешь?

— Нет, что бы ни случилось!

Я снова обратился к Н. С. Тихонову с просьбой помочь получить разрешение перевезти мать, сестер и других ближайших родственников из Северного Казахстана, где они не переносили холода, во Фрунзенскую область, в Киргизию.

И это было сделано. В то бедственное для меня время Николай Семенович очень помог мне, этим еще раз доказав верность своей давней любви к Кавказу, к его народам и горам.

Прожив в Москве более трех месяцев, в середине апреля 1945 года я уехал в Среднюю Азию. На Казанском вокзале меня провожали друзья. Среди них был и Кедрин. Я стоял уже на подножке вагона, а Митя говорил:

— Береги себя!

Мы видели друг друга в последний раз. Через несколько месяцев он погиб.

Во Фрунзе я приехал поздно вечером. Утром увидел горы. Они были рядом, как и в Нальчике. Я подумал: хорошо, что хоть не разлучился с горами. Пусть не Кавказские, но горы! Зеленый Фрунзе понравился мне. На улицах было много стройных тополей. У меня в кармане лежало письмо Николая Тихонова председателю правления Союза писателей Киргизии. В нем Николай Семенович просил, чтобы меня обеспечили работой и жильем. Перед отъездом из Москвы друзья советовали мне обратиться также и к поэту Аалы Токомбаеву. Встреча с ним была мне приятна.

Вскоре я был принят на службу в Союз писателей. Работал. Писал для себя.

Балкарский и киргизский языки, как тюркские, близки. Но в похожих языках нередко одни и те же слова имеют разные значения. Этим и затрудняется полное освоение языка, похожего на твой родной. Сначала я не осмеливался браться за перевод с киргизского на русский. Меня уговорил известный романист Тугельбай Сыдыкбеков. Рослый и спокойный Тугельбай отнесся ко мне хорошо, поддерживал, выручал. Через полгода я стал выполнять подстрочники стихов и прозы. Мне очень помогал «Киргизско-русский словарь» профессора Юдахина. Спустя два года я уже совсем хорошо знал киргизский язык. С писателями говорил только по-киргизски. Бросил службу. Жил на литературный заработок. Вначале мне

много помогал ныне покойный писатель, известный в Киргизии переводчик Узак Абдукаимов. В первый период моей работы он переводил даже вместе со мной, чтобы поддержать меня, хотя от этого он не имел никакой выгоды. Так могут поступать только такие бескорыстные, как Узак, люди. Потому они и называются хорошими.

Жизнь еще свела меня и сдружила с одним из лучших поэтов Средней Азии нового времени Алыкулом Осмоновым. К несчастью, он умер рано. Его поэзия нравилась мне своей самобытной образностью, новизной, верностью жизни родного народа, облику своей земли.

5

Во Фрунзе я переводил много, написал большое число статей и очерков. Я писал эту газетную прозу по-русски и должен сказать, что редакторы местных русских газет относились ко мне хорошо. Я даже имел удостоверение спецкорреспондента газеты «Советская Киргизия». Я был в дружеских отношениях и с большинством русских литераторов, работавших в Киргизии. Среди них были даровитые и милые люди: Сергей Фиксин, Николай Удалов, Якуб Земляк, Елена Орловская, Вениамин Горячих, Борис Орлов. Особенно много помощи в моей фрунзенской жизни и литературной работе оказала Елена Дмитриевна Орловская, человек значительной культуры, журналистка и переводчица, настоящая русская интеллигентка.

Я работал чрезвычайно много. «О чем жалеть?» — сказал Пушкин. Довольно долгое время я работал председателем Русской секции Союза писателей, был консультантом, членом редколлегии русского журнала. Лучшие литераторы Киргизии относились ко мне замечательно, ценили мою работу. Одно время я переводил лермонтовского «Демона» для себя, чтобы учиться.

Человечность неистребима и непобедима. Человечество одичало бы без милосердия. Как прекрасна поговорка «Мир не без добрых людей!». Отсюда идет основной тон моих книг «Раненый камень», «Мир дому твоему!», «Кизиловый отсвет». Поэзия рождается из пережитого, как искра из кремня, из убеждения, тесно связанного с опытом. Люди всегда умели трудиться и сражаться. Но даже тогда, когда хватало хлеба, на земле не хватало милосердия.

В Средней Азии, при всей занятости, я немало писал. Писал не только горькие стихи, но и радостные о благе суще-

ствования («Говорю с луной», «Говорю с дождем», «Родной язык», «Я пришел с гор» и другие). Писал о стойкости и мужестве. Такими были, в частности, «Охотникам, заблудившимся в ущельях», «Партизаны в ущелье», «Рисунок к заглавию», «Над книгой горских песен», «Ночью, когда шел снег». Этим я поддерживал себя, закалял дух, защищал свое человеческое достоинство. Лучшей вещью того периода считаю «Стихи, написанные в день рождения». В них я как бы выразил весь круг своих переживаний тех лет. Произведения киргизского периода составили вторую книгу двухтомного издания, осуществленного на родном языке в 1958 году. Некоторые критики во мне видят мудрого человека и писателя. Они ошибаются. Единственной моей мудростью было то, что я продолжал упорно учиться писать, несмотря ни на какие барьеры и трудности. Потом я убедился в том, что сделанное никогда не пропадает. Как трудно быть мудрым! Мне это не удавалось. Сожаления о наших заблуждениях всю жизнь сопровождают нас.

Я поехал на Второй съезд писателей СССР. После девяти лет снова увидел Москву.

Для преодоления всех трудностей человеку необходимо прежде всего здоровье. Я это понял, к сожалению, не сразу. Нередко бывает так, что мы самое необходимое начинаем понимать, когда уже поздно. Людям все дается через трудный опыт. Творческая зрелость тоже. Я счастлив тем, что в тяжелых условиях не махнул рукой на жизнь, не разуверился в ней. Мне оставались дорогими снежные вершины и примятая трава у дороги, поэзия Пушкина и музыка Бетховена. Я никогда не забывал о том, что не зря Прометей похитил огонь для людей, а в том, что порой на земле горят дома, Титан не виноват. Как хорошо, что никогда я не проклинал самую жизнь и не считал ее никчемной. Это один из центральных мотивов всего мной написанного. Я старался не говорить жалких слов, унижающих достоинство человека.

В Средней Азии я начал поэмы «Огонь» и «Завещание». Закончил их на Кавказе. Они вошли в мою книгу поэм «Зеленые чинары». «Завещание» я отношу к лучшим своим вещам. О поэмах я заговорил, чтобы сказать про «Горскую поэму о Ленине». Я не мог не написать ее. Я не старался идти по пути Маяковского и других поэтов, писавших поэмы о Ленине. Я имел иные задачи. Мне хотелось рассказать о Владимире Ильиче языком моей земли, предельно просто и ясно, рассказать о великом вожде Революции. Может быть, теперь

я это сделал бы лучше, но все равно рад, что написал такую поэму.

Во Фрунзе обычно я читал много. То, что не мог достать на месте, присылали приятели из Москвы. Так я получил сочинения Бунина — приложение к «Ниве», — добротные переплетенные в три тома, «Героические жизни» Ромена Роллана, монографию Грабаря о Врубеле с прекрасными репродукциями и многие другие. Меня всегда выручали мои товарищи. Поэтому я верю в дружбу людей. Одним из многих писателей, близких мне тогда, был Ромен Роллан. Его трагический героизм стал необходимым для меня, как музыка Бетховена и Грига. То же самое могу сказать и о Стефане Цвейге.

Совсем с другой стороны был дорог, как что-то очень родное, Чехов. В те годы я дважды перечитывал его собрание сочинений. Кроме великих русских поэтов моими постоянными собеседниками стали Мицкевич, Шевченко, Петефи, Лорка, Словацкий, Пшавела. А из композиторов особенно два разных и великих — Бетховен и Шопен.

Музыка и живопись играли и продолжают играть в моей жизни не меньшую роль, чем поэзия. У меня были великие друзья — лучшие художники человечества. Они вели меня за руку в трудные дни моей жизни.

6

Снова я увидел Москву. Поехал на хорошо знакомую улицу Воровского. Там застал Тихонова. Он, конечно, был рад моему возвращению. Я положил на стол перед Николаем Семеновичем большой том моих стихов. Тихонов тут же позвонил в издательство «Советский писатель». Книга моя вышла под названием «Горы». Сам Николай Семенович перевел ряд стихотворений. В том же 1957 году издательство «Молодая гвардия» выпустило мою книгу «Хлеб и роза». Еще до этого мои стихи были опубликованы Константином Симоновым в журнале «Новый мир» за 1955 год. А в «Дружбе народов» — в 1956 году.

Утром третьего дня моего пребывания в Москве раздался телефонный звонок в номере гостиницы. Я взял трубку.

— Это Кайсын Кулиев?

— Да, — ответил я.

Вдруг совершенно неожиданно для меня:

— С вами говорит Пастернак.

— Здравствуйте, Борис Леонидович!

— Я узнал, что вы здесь. Приезжайте к нам в Переделкино сегодня. Будете обедать у нас.

Я обрадовался и растерялся. Еще с 1942 года мне было известно мнение Пастернака обо мне. Но, приехав в Москву, как-то постеснялся позвонить ему. А после его звонка поехал в Переделкино. Был солнечный день. Начало июня. Увидев меня, идущего вдоль ограды, Борис Леонидович быстрыми шагами пошел навстречу. Он у калитки пожал мне руку и обнял меня. Был приглашен и Владимир Луговской. Мы обедали. Потом Пастернак читал нам куски из «Автобиографии» и два перевода из Рильке. При всей его любви к этому поэту, он очень мало из него перевел. Луговской читал отрывки из книги «Середина века», которая еще не была издана. Мы говорили о Гарсия Лорке и Есенине. Пастернак любил их. Борис Леонидович обычно называл меня кавказским Есениным. Почему — не знаю. Сам я не считаю себя похожим на Есенина, несмотря на мою любовь к нему.

Поэзия Пастернака была мне дорога с тех пор, как я стал взрослым. Я не мог не чувствовать такие строки:

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.

Или:

И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

Еще перед войной я был уверен, что подобные вещи в свой ранний период могут создавать только редкие поэты. Я не мог думать, что Пастернак примет такое участие в моей судьбе. А он писал мне, присылал книги с такими автографами, которые мог делать только он один. В своих письмах он учил меня чести и достоинству. Я постоянно чувствовал на своем плече его руку. Его голос доходил до меня в моей среднеазиатской дали, был опорой и поддержкой. Я хорошо знал и понимал благородные традиции русской интеллигенции поддерживать представителей культуры малочисленных народов. Если я продолжал учиться писать и вынес многие тяготы, то в этом огромная доля стараний Бориса Пастернака, наряду со всеми замечательными людьми, которых мне посылала судьба.

Мне очень повезло. Я пользовался хорошим отношением ко мне самой выдающейся части интеллигенции нашей страны. О некоторых я уже говорил. Не могу не сказать о редкостном доброжелательном отношении ко мне Александра Твардовского. Для меня он — великий поэт наших дней. Глубина, с какой его поэзия выражает народную жизнь, и небывалая ее естественность, простота и свобода несравненны. Это мог

бы сказать я о Твардовском, если бы даже ничего, кроме «Василия Теркина» и «Дома у дороги», не знал из его вещей. Чем старше я становлюсь, тем больше постигаю могучую силу и мудрую народность его поэзии. Не будет открытием, если я скажу, что ни в прозе, ни в стихах ничего равного «Василию Теркину» и «Дому у дороги» об Отечественной войне не написано. Серьезное отношение Твардовского к моей работе стало для меня нечаянной радостью. Это тоже я не мог предвидеть в те годы, когда писал только для себя. Недаром я подчеркивал, что судьба, при всей ее суровости, была милостива ко мне. Теперь я говорю себе, что в тяжелые дни стоило не опускать рук, не отрекаться от жизни и усилий, стоило верить в смысл бытия. Это поучительный урок не только для меня одного. Из поэтов Кавказа нашего времени мне были очень дороги два разных и прекрасных мастера — Георгий Леонидзе и Симон Чиковани. Их дружеское отношение было моей радостью, общение с ними стало благом, а их смерть — большой болью и горем для меня.

В начале июля 1956 года я выехал из Москвы на свою родину, которую не видел одиннадцать лет. Поезд подходил к Нальчику. Я снова встретился с вечной мощью хребтов Кавказа. Говорил пятилетнему Эльдару:

— Смотри, сынок, Балкария в облаках! Вот она, наша родная земля, земля отцов!

А у самого щеки были мокры от слез. На второй день мы поехали в Чегемское ущелье. Молчали скалы. Молчал и я. Мы без слов понимали друг друга. Я без слов благодарил справедливость и разум.

Снова, глядя на родные горы, на вечную белизну их вершин, я думал о том, как хорошо, когда сбываются надежды...

Когда ты родился, как говорится, в рубашке и не знал никаких потрясений и бед, которые пережили миллионы людей, то можно сказать, что самые суровые стороны жизни тебе неизвестны. А это не так часто бывало с людьми в наш сложный век. Давно и верно сказано: «Жизнь прожить — не поле перейти».

Высшее достоинство поэзии — ее правдивость. Людям полезна только правда, будь она житейская, историческая или творческая. И искусство сильно только ею, она всегда остается его стихией, как свет и тень, как радость и боль. Учиться можно только на правде.

Мне кажется, что о трудностях, через которые шла наша страна, каждый раз надо говорить, ибо бесконечно ценны победы, взятые в трудностях, они делают честь нашим людям,

возвышают их, свидетельствуют о величии их духа, о стойкости, достоинстве и героизме. Легкомыслие в жизни и украшательство в искусстве никому и никогда не делали чести, не приносили пользы.

Кроме того, я полагаю, что мы никогда не должны думать, что идем к коммунизму по дороге, усыпанной цветами. Это было бы вредной и непростительной ошибкой. Большие цели и дела всегда требуют большой смелости и правдивости.

По возвращении из Средней Азии я был хорошо принят в Москве и в республике. Я был избран депутатом Верховного Совета СССР. За эти же годы вышло в свет много моих книг на родном и русском языках. Но особенно приятно мне русское двухтомное издание моих стихов и поэм, осуществленное издательством «Художественная литература» в 1970 году. Это значительное событие в жизни литератора, пишущего на языке малочисленного народа.

Я объездил почти всю нашу страну. Нет, пожалуй, такой республики, где бы я не был. Ездить мне нравится. Хочу подчеркнуть, что я не только приезжал в разные республики и с радостью видел красоту каждой земли, с благодарностью ел хлеб, пил вино, но и писал о культуре и литературе многих народов. Так было, к примеру, с Грузией, Арменией, Таджикистаном, Казахстаном, Туркменией, не говоря уже о России. Уважение к культуре разных народов, интерес к ним у меня в крови, и я считаю это благом и радостью для себя. Сейчас я работаю над книгой в прозе, где будет рассказано о поэзии и искусстве многих народов страны и мира. Всякую национальную замкнутость и ограниченность считаю неприемлемыми для себя и вообще для художника нашего времени. Я уверен в том, что все ценное в культуре человечества должно быть достоянием всех народов.

Мне также приходилось побывать в странах Азии и Европы. И это было полезно для меня и для моей работы.

Здесь я пытался рассказать не только о своей жизни, но и высказать мой взгляд на сущность работы поэта. А впрочем, лучшим определением творческой позиции и лучшей автобиографией художника являются его произведения.



ДВА ГОЛОСА

1

еловек впервые сказал:
— Мне хорошо!

Это было истоком и началом всех песен о радости, о благе жить. Человек в свой счастливый час смотрел на синеву неба и слушал шум реки. Зеленела трава. Сияли звезды. Так родилась поэзия веры в жизнь.

Человек впервые сказал:

— Мне больно!

Это было истоком и началом всех песен горя.

Человек смотрел на тучи над своим жилищем. Трава не зеленела. Звезды не сияли. Так родилась трагическая поэзия.

А потому поэзия — порождение искренности, без которой работа поэта мертва. Драгоценная вещь искренность. Открытость человеческого сердца прекрасна. Как голос сердца и совести, поэзия всегда откровенна. Иной она не может быть. Если же порой называют поэзией то, что ею не является, то в этом нет ее вины.

Я убежден в том, что все подлинное в творчестве естественно, как дерево на склоне горы или камень у дороги. Мне чаще всего кажется, что поэзия создается простыми словами. Ее должны понимать все. В этом меня убеждают сама жизнь, мой скромный опыт и опыт больших поэтов. По мне — чем проще стих, тем он лучше. Так же просто и зеленеет дерево, идет дождь над полем и течет ручей. Неестественность и неточность так же плохи, как и многословие.

Поэты бывают разными, и каждый из них прав по-своему.

И естественность у каждого своя. Она у Блока — одна, у Твардовского — другая. Любой из значительных художников, конечно, выражает свою эпоху, ее чаяния, стремления, радости и боль, свет и тень, противоречия и трагедию, но выражает все это своими способами и средствами. Этим каждый и интересен. Если нет индивидуальных черт, значит, нет и художника. На Востоке говорят, что поэзия — золотая свирель в устах народа.

Поэзия рождена светом и добром. Она, наряду с музыкой, высшее явление культуры, опора и поддержка людей, которым не всегда живется легко и радостно. Поэзия дорога только тем, кто любит жизнь, кому на земле мило и близко все хорошее, живое, человеческое. Равнодушных она не интересуется — тех, кому ни о чем не говорят созревание колоса и белизна облака, лицо матери и звезды над отчим домом, радость и страдания других. По моему мнению, поэзия живет и самым необходимым, как хлеб, и самым высоким, как звезды. Поэзия вместе с мальчиками должна бегать босой по лужам и думать вместе с мудрецами о сущности человеческой жизни и вселенной. Поэзия может быть и скорбной матерью, сидящей у изголовья сраженного сына, и девушкой, легкой походкой проходящей мимо наших окон майским утром. Она бывает цветением вишни и грозовой молнией, улыбкой ребенка и стоном побежденного полководца. Поэзия всюду — в облаках над Казбеком и в огороде моей матери, где желтел подсолнух и росла морковь. Она многолика, как мир, и прекрасна, как земля. Поэзия земли не умрет. Мы верим в это и в наш атомный век. С этой верой писал свою книгу и я.

Теплый ветер ранней весны незаметно прилетает на поля и огороды. Он несет им цветение. Он полон жизни. Он летит над морем и кажется мне синим. Пролетает над снежными вершинами и кажется мне белым. Он пробирается через зеленую чинаровую рощу и кажется зеленым. Он похож на поэзию. Они оба служат жизни. Не увяданию, а цветению. Когда искусство говорит об увядании, оно это делает не потому, что это ему нравится, нет. Оно вынуждено это делать именно потому, что верно жизни. Летит весенний теплый ветер над улочкой селения или над ширью городской площади. Он касается бантика на косичке маленькой школьницы и потной рубахи крестьянина на винограднике. Теплый дождь приходит на поля и огороды, как добрая весть. Его язык хорошо понимают пахари и садоводы. Как горы посылают на равнины свои реки, так приходит к людям и поэзия. Она посланница жизни.

На свете есть два ветра. Ветер с Белой горы — радость, ветер с Черной горы — горе. Живут на свете два ветра, сменяя и ненавидя друг друга. Из дома, куда ворвался один из них, исчезает другой. Они в постоянной схватке. В поэзии мы слышим голоса обоих. Кто-то из мыслителей сказал, что все лучшие создания человечества дышат печалью. Возможно, он и прав. Но все же в лучших созданиях мировых художников немало и света. Творчество не может обойтись без радости, как и сама жизнь. В мире нет людей, которые бы никогда не знали радости. К ней стремится человек всегда. Так же ждет дерево весны, зелени, тепла. Радость всегда остается высшим благом для всех живущих. Но пока существует Черный ветер — посланец горя, жизнь не избавится от печали. Кроме войн на свете есть болезни, старость и смерть. От них-то — ну, хотя бы от старости и смерти — никто человека не избавит, не спасет. В силу этого, видимо, в поэзии люди всегда будут слышать два основных голоса — голос радости и голос горя, как голос жизни и голос смерти. Но жизнь непобедима и не имеет конца. Для человека нет большего блага, чем жить. Поэзия служит жизни, благословляя ее.

Ныне каждый школьник знает, в какое время жил Пушкин, как был затравлен и убит тридцати семи лет от роду. Все же в его поэзии много света. Почему это так? Да потому, думается мне, что одной из главных целей искусства является радость, стремление к ней, борьба за нее. Пушкин умел шагать легкой походкой поэта. Фантастическую силу и легкость давало ему, главным образом, несокрушимое жизнелюбие, великий оптимизм. Недаром Александр Блок сказал: «Пушкин легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая...»

Пушкинская вера в жизнь была порождена верой в будущее своего народа, в его могучие творческие силы, в мощь России, что вышла с победой из войны с крупнейшим завоевателем — Наполеоном, в суровой борьбе отстояла себя. Он был великим поэтом великого народа. В этом, мне кажется, главный секрет того, что создания Пушкина дышат не только печалью. Он знал, что николаи и бенкендорфы пройдут, как проходит мрачный сон, приснившийся перед весенним рассветом, а разум, воля, энергия, благородство и мужество русского народа, его гений и порыв к свободе — останутся.

Не юный лицеист, не начинающий поэт, беспечный, не думающий о действительности, а зрелый мастер, уже познавший вкус хлеба изгнания, написал знаменитую «Вакхическую песню» — гимн радости и мудрости жизни. Поэт верил, что за

тучами всегда есть солнце, знал непобедимость разума и светлых начал жизни и пел им гимн. Он знал, что в свой час солнце выходит из тумана — и уже согреты поле, дорога, дворы, играющие дети, колосья, камни и деревья. Он понимал, что дорогая его сердцу свобода бессмертна, как земля, как сама жизнь. Вот почему он, обращая строки своего гимна к будущему, восклицал:

Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Это один из самых прекрасных гимнов в мире, спетых Радости, Разуму, Свету. Это — мощная песнь в честь и во славу жизни.

Художник не должен позволять победить себя горю, как бы трудно ему ни приходилось. Образцом для нас и в этом остается Пушкин. Хлеборобы и пастухи тоже живут, сохраняя свою испытанную терпеливость, свою веру в смысл труда, в смысл жизни. Девизом могучего Бетховена было: «Через горе — к радости!», — а Гёте призывал: «Через могилы — вперед».

2

Пройдя через войну, через ее горе и разрушения, через все другие испытания, я понял, как прекрасна и незаменима человеческая стойкость. Не зря так ценили ее жители гор, жизнь которых была трудна и постоянно требовала твердости и мужества. Мои земляки — чегемские крестьяне, — помню, говорили: «Как бы ни были злы волки, не они нас, а мы их одолевем». Я противник всего слащавого в поэзии, не терплю лакировки, но также ненавижу слово, которое пытается отрицать смысл жизни и отнимать у человека надежду, заставляет опускать руки. Как только художник перестает верить в жизнь, в ее смысл, он творчески умирает, так как уже не слышит биение тех подземных ключей, которые питают его поэзию, не видит зелени деревьев и травы; ему ни о чем уже не говорят созревание колоса и сияние звезд над его домом, он не слышит звона наковальни и шума мельничных жерновов, смеха детей и плача матери, у которой умер ребенок. Писать тогда ему не о чем, да и нет смысла писать.

Мыслитель, сказавший, что все лучшие создания человечества дышат печалью, наверное, имел право сказать так. Но даже те немногие примеры, которые я привел здесь, доказывают ограниченность этого суждения. Никто не вправе лишить художника возможности говорить о радости, равно как и о боли. Я знаю, что в творениях того же Пушкина достаточно грусти, боли и горечи, много трагического. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...»

Знаю, Пушкин не раз горько жаловался на жизнь. Но ничто не могло его разуверить в том, что жизнь — лучший дар и благо для человека, что есть солнце над землей и разум на свете.

Пушкин воспел человеческую радость во многих, очень многих строках. «Печаль моя светла...» Это было сказано в мировой поэзии впервые. Мне помнятся кажущиеся безысходными строки: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Но у него же есть и эти вот, пронизанные светом раннего утра строки: «Шипенье пенных бокалов и пунша пламень голубой».

А как много света, чистоты и доброты в стихах, обращенных к Мери. Перечитывая их, не только удивляешься легкости, поэтичности, художественной прелести, но и сам становишься счастливым, равным Пушкину, пьющему за Мери.

Повторять их, эти строки,— наслаждение:

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.

Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери,
Ни ненастных дней
Пусть не ведает Мери.

Такие добрые песни могут рождаться только в очень светлом сердце. Вспомним еще и такие строки лучшего поэта России:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Кажется, что эти стихи выводила рука доброго бога — так они прекрасны, так много в них благородства. Кажется, что они созданы в лучший и счастливейший час мира.

Один из центральных мотивов поэзии Пушкина — желание добра людям, другу, товарищу, любимой женщине и просто труженику. И эта душевная полнота была связана с верой поэта в жизнь, в творческие силы людей, родного народа и человечества. Только так. Я уверен в этом. Человек, потерявший надежду и любовь к земле, если даже он и родился гением, не мог бы написать стихи такой чистоты:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Лишь сердце, которое не может не любить и которое остается плененным земной красотой, способно на песни, нужные людям, как хлеб и жилье. И в этом смысле уроки Пушкина непреходящи. Свою непобедимую веру в жизнь и будущее он выразил к концу жизни с великим достоинством:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Тут Пушкин четко определил и свои заслуги перед Родиной и ее культурой, и то главное, что несет в себе большая поэзия. Здесь четко выражена позиция истинного художника. Эти великие стихи были одновременно эпитафией самому Пушкину и завещанием всем грядущим поэтам.

Ни одного значительного явления искусства, не порожденного самой жизнью, не обусловленного историей, конечно, не бывает.

Мрачная тень ложится порой на душу от поэзии Эмиля Верхарна. Когда читаешь его, иногда становится страшно, кажется, что рушатся стены твоего дома. Но и его творчество, разумеется, порождено действительностью, временем, когда расшаталась относительная стабильность жизни и над землей встали тени будущих невиданных войн и разрушений.

О, час, которому и слушать и внимать
Крушение мощных царств, когда стальная рать
Деяний вековых ложится горьким прахом!
О толпы, яростью взметенные и страхом!
Железо лязгает, и золото звенит,
Удары молота о мрамор стен и плит,
Фронтоны гордые, что славою повиты,
На землю рушатся, и головы отбиты
У статуй, и в домах ломают сундуки,
Насилуют и жгут, и сжаты кулаки,
И зубы стиснуты, рыданья, вопли, стоны,
И груды мертвых тел — здесь девушки и жены.
В зрачках — отчаянье, в зубах — волос клочки
Из бороды, плеча мохнатого, руки...
И пламя надо всем, играющее яро
И вскинутое ввысь безумием пожара!

Мощное творчество Верхарна, при всем его трагизме, является поэзией жизни, а не смерти. Поэзия всегда окраплена живой водой, она — вечнозеленое дерево, дающее детям тень и приют птицам. Поэтами жизни становятся не сладкопевцы, а те, кто до конца верен правде. Песня мощного, сурового Верхарна порой становится тихой и задушевной: ведь художник в обычной своей жизни не остается постоянно в одном настроении:

Я на тебя смотрю, но взгляд
Ты от меня отводишь,
Чтоб целиком я мог отдаться власти слов,
Вот этих добрых и простых стихов.

Или:

О, как глаза твои нежны и как блестящи,
Когда рассвета луч, неверный и скользящий,
Дробится в голубых прудах!
Я слышу шелест крыл, я слушаю родник.

Эти стихи тоже написал Эмиль Верхарн. Как много в них нежности и любви к жизни, миру, женщине, рассвету, роднику. Грозные его стихи о разрушениях и гибели тоже продиктованы любовью к жизни, болью за людей, причастностью к их горю и страданиям. Большая боль рождается во имя боль-

шой радости. Только в душе равнодушного не рождается ничего. Он похож на сухую смоковницу.

А каким трагизмом пронизана поэзия Александра Блока, автора «Страшного мира», «Возмездия», «Ямбов». Но мы также знаем, что его творчество освещено еще и светом надежды. Боль и надежда диктовали ему одинаково прекрасные произведения. Он сказал:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь — мир прекрасен.

Это одно из лучших подтверждений правильности той мысли, что конечной целью искусства является радость, что все крупные художники, даже самые трагические, стремились не к отрицанию жизни, а к ее утверждению. То же было и у Блока — одного из самых трагических поэтов века. Вот стихотворение 1914 года, которое так часто цитируют:

О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — восчеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,—
Быть может, юноша веселый
В Грядущем скажет обо мне:

— Простим угрюмство — разве это
Скрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

Поэт, хорошо знавший, что значат боль и страдание, хочет, чтобы в будущем отметили не угрюмство, к которому он был причастен поневоле, а сказали, что он любил свет и добро, был рожден для них. Мне кажется, что почти каждый большой художник носил в душе свет, который был так дорог Блоку. Каждый ли крупный поэт сумел преодолеть душевный мрак — это другой вопрос. А приведенные стихи Блока кажутся мне уникальными в мировой поэзии — так поразительно выражена в них тоска поэта по радости, по свету и добру. Стихотворение это одинаково удивляет художественным совершенством, откровенностью, предельной искренностью и ясностью. Среди шедевров Александра Блока есть одно стихотворение, в котором так сильно ощущается рассвет, пробирающийся, словно фазан с розовой шеей, среди стволов сосен севера. Я говорю о «Сольвейг». Это мне кажется самым светлым и самым счастливым стихотворением поэта.

Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне,
Улыбнулась пришедшей весне!

Жил я в бедной и темной избушке моей
Много дней, меж камней, без огней.

Но веселый, зеленый твой глаз мне блеснул —
Я топор широко размахнул!

Я смеюсь и крушу вековую сосну,
Я встречаю невесту — весну!

Пусть над новой избой
Будет свод голубой —

Полно соснам скрывать синеву!
Это небо — твоё!

Это небо — мое!
Пусть недаром я гордым слышу!

Жил в лесу, как во сне,
Пел молитвы сосне,

Надо мной распростершей красу.
Ты пришла — и светло,

Зимний сон разнесло,
И весна загудела в лесу!..

Поэт, написавший такие стихи, не мог не любить земную радость, не стремиться к ней, не благословлять и не желать ее для себя и для других. И Сергей Есенин, невыразимо прекрасный лирик, несмотря на все трагические коллизии его жизни и поэзии, тоже был «дитя добра и света». Все лучшие лирики мира несомненно были преданы жизни, людям, природе, всему доброму.

4

Федерико Гарсия Лорка брат Есенину. Не похож на него по стилю, по приемам, но брат. Основной тон его поэзии — трагический. Но как горят в ней звезды, как цветут деревья, как шуршат колосья, как светит луна, сверкает вода, падает на апельсиновые рощи свет раннего солнца! Как он остро чувствует боль женщины и печаль срубленного дерева, смех ребенка и наступление сумерек! В трагическом творчестве Лорки все равно конечная победа остается за светом, а не за мраком, хотя их борьба жестока, требует жертв, рождает боль и горечь. Поэзия Лорки полна невыразимой нежности к земле и людям. Он тоже был «дитя добра и света». Потому и расстреляли его фашисты перед рассветом у дороги, ведущей в его

родную Гранаду. Палачи, казнившие поэтов, становятся прахом, а песни убиенных певцов остаются с людьми и служат им.

Одну из своих книг я назвал «Раненый камень». Горевать — вовсе не значит потерять стойкость. И потому я утверждаю, что нет на свете ничего лучше, чем радость. Она не может погибнуть. Искусство создается для людей, а человек хочет счастья так же как птица — полета.

Может быть, когда-то в мире было полное спокойствие и барды слагали только радостные гимны? Нет. Вспомним опять Александра Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится...» К этому мне хочется добавить: и в вечном бою земля и люди на ней никогда не оставались без радости. Крестьяне, если даже днем сражались, ночью пахали свое поле, матери кормили детей грудью, и никогда не умирали колыбельные песни. Люди среди всех бедствий выжимали радость из скал, высекали из камня. И она была дорога, как дерево, которое уцелело в небывалую бурю и снова зазеленело, приютило птиц и опять бросает в зной тень на дорогу.

«Настоящее слово стоит скакуна», — говорили наши крестьяне. Слово — одно из чудес света. Я причисляю себя к тем, кто с горячим уважением относится к слову. Оно — моя работа, моя жизнь, моя судьба. Мне дороги слово радости и слово боли. Но я отвергаю слово, призывающее человека отказать от труда, от созидания, от жизни, отвергаю слово, пугающее человека. Такое слово античеловечно. Живущий должен опираться на слово, как раненый на дерево.

Слово должно быть опорой и утешением человека, светом его души. Должно не отнимать, а даровать надежду, должно стать поддержкой, быть необходимым, как плуг для хлебороба. Такой является народная поэзия всюду — на всех языках.

Поэзия прекрасна и вечна, как колосья и звезды. Она создается для жизни и служит людям.

Человек говорит:

— Мне хорошо!

Поэзия отвечает:

— Я с тобой!

Человек стонет:

— Мне больно!

Поэзия отзывается:

— Я с тобой!



ПРИЗНАНИЕ



меня были горькие дни. Я обращался к Пушкину и находил в нем утешение и поддержку. Я переживал радостные часы. И опять шел к нему. И праздник мой становился несравненным. Когда я нуждался в мужестве и вере в жизнь, снова черпал их в великом поэте. В тяжкий час я чувствовал на своем плече его руку, в которой были твердость отцовской и нежность материнской руки. Пушкин оставался для меня бесстрашным героем и все понимающим мудрецом, источником света и энергии, прозорливости и человечности. В нем сосредоточилось все прекрасное, что может нести в себе человек. Я думаю, что такими именно и бывают редчайшие гении, образцы человеческого типа. Чем старше я становился и чем больше пришлось пережить, тем лучше понимал я его, тем больше любил. В нем для меня как бы заключался весь мир. Мне каждый раз было страшно даже попытаться писать о нем

А все же пишу И это лишь потому, что сегодня мне хочется, чтобы в огромное море написанного и сказанного о Пушкине прибежал и мой ручеек, рожденный у чистейших снегов Кавказских гор, которым он удивился еще юношей и полюбил. Как бы ни был мал мой ручеек, он чист, как ледники Чегемских гор. Мало меня беспокоит мысль о том, что он потеряется в обширных морских волнах. Об этом нет у меня заботы. Пусть потеряется! Зато он вырвался с высот тех вершин, на которые когда-то благоговейно смотрел Пушкин. Пусть мчится ручеек к морю. Ведь в самом деле ни одна настоящая

речушка никогда не думает о том, что ее еще до моря погло-
тят воды больших рек, и весело делает свое дело — течет!

За добро и радость полагается благодарить. Пусть эти строки будут моей сердечной благодарностью великому поэту за безмерную радость и бесценное благо, которые он так щедро дал мне, сыну чегемского скотовода. Три десятилетия читаю я Пушкина. Каждый раз как бы заново открывается мне мир его книг, и снова, как впервые, вхожу я в огромный мир необъятных мыслей, образов и звуков, вхожу, как в ущелья гор, где все прекрасно, все удивляет. И каждый раз потрясенно думаю: «Боже мой! Могло же так случиться, что я не знал бы русского языка, не только как мой дед и отец, но и как лучший поэт Балкарии, ее классик Кязим Мечиев, и Пушкин не открылся бы мне. Как бы я был обкраден, куда беднее была бы моя жизнь!»

Эти строки — не статья, а признание в любви к одному из самых удивительных явлений во всемирной культуре, необыкновенному художнику, чуду жизни, давшему мне так много света и радости. Еще мальчиком, когда русский язык был мне недоступен, я прочел в балкарском переводе «Узника». Это была моя первая встреча с русской поэзией. Как ни тронула мою душу судьба молодого орла, попавшего в неволю, тогда в древнем ауле, затерянном в Чегемском ущелье, почти отрезанном от остального мира горами и скалами, я еще не мог знать, что придет время и поэзия того языка, на котором написано стихотворение о плененном орле и человеке за решеткой, откроет для меня необъятный и невиданный моими предками мир, принесет столько радости. Сегодня я благодарен судьбе, что так случилось.

Я уверен, что подобные же чувства переживал и азербайджанский поэт Фатали Ахундов, окунувшись в мир русской поэзии. А когда погиб Пушкин, Ахундов написал о нем трагическую поэму, горький реквием. Это было стоном и рыданием гор над гибелью гениального сына России. Этот стон, как эхо, повторялся в ущельях и долинах Кавказа. Это эхо мы слышим и сегодня. Пролитая кровь поэта была чиста, как его совесть и душа. Этой чистейшей кровью обогрилась белизна снегов горячо любимой и воспетой им земли, на которой столкнулись чистота поэзии и нечистоплотность антинародной политики Николая и Нессельроде, честность гения и бесчестие жандармской власти. Зевс велел приковать Прометея к кавказской скале за его подвиг во имя добра. Пушкина же сперва пытались приковать к казенщине, сделать официальным певцом. А когда это не удалось, царь, Бенкендорф, Нес-

сельроде и все их окружение направили пистолет Дантеса на великого поэта России. Он им был враждебен всем своим существом, всей сутью своего деяния. Это и понятно. Поэзия и тирания всегда оставались врагами. Поэзия есть голос свободы и совести, она всегда была на стороне не угнетателей, а угнетенных, тружеников и мастеров земли. Пушкин был, говоря на восточный манер, золотой трубой свободы, свирелью совести и человечности. Весь, созданный из света, он был задуман именно как образец.

2

Случилось чудо — от него пошла великая естественность, ясность и высшая простота русской поэзии. Еще звучали в ушах читающих людей России державинские оды, когда Пушкин написал стихи неслыханной непосредственности. Мне хочется произнести вслух хотя бы несколько строк:

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна,
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Это кажется невероятным! Так могли говорить между собой у печки зимним вечером крестьяне, живущие своей немудреной жизнью. А то, что так писал поэт высочайшего европейского образования, хорошо знавший не только Державина, но и Вольтера, Байрона,— удивительно! Так естественно шелестит листва, идет снег и, наверное, слагаются народные песни. А как просто написан «Евгений Онегин»:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог...

Полная прелести пушкинская простота никогда не перестанет вызывать удивление. Это высшая естественность, идущая от душевной щедрости и полноты, от богатства природы и мысли. Она — высший урок для поэтов. Может быть, это только нам теперь так кажется, что Пушкин образец естественности и простоты, а в свое время и своим современникам он представлялся не таким? Думаю, что нет. Те, кому дано

было понимать, поняли не только его величие, но и прелесть его естественности. Достаточно назвать имена хотя бы Жуковского, Вяземского, Белинского.

Люди, верно чувствующие жизнь и искусство, всегда утверждали, что все вычурное, неестественное — некрасиво. Это вопрос старый, как строки «Илиады», но он возникает каждый раз заново, принимая разные облики. Жаль, что, часто возвращаясь к нему, мы нередко забываем об опыте великих мастеров, наших учителей, плохо их читаем.

Отзывчивость, видимо, одно из самых необходимых свойств поэта. Это подтверждено и Пушкиным. Вспомним «Эхо». Он написал его потому, что сам был эхом своего времени. О том же говорит знаменитый «Памятник». Нас до сих пор приводят в трепет строки из него: «...в мой жестокий век восславил я Свободу и милость к падшим призывал». Эти стихи известны всем, их цитировали бесчисленно много раз. Я тоже их привожу потому, что они от повторения не тускнеют и продолжают звучать для нас как откровение. Они стали как бы завещанием Пушкина поэтам. В старину на Востоке говорили, что молитва от повторения не тускнеет. Такой для всех поколений остается и поэзия русского гения. Что большего можно требовать от поэта, чем славить свободу и защищать тех, кто был обречен на мучения за любовь к воле или поплатился за нее жизнью, как декабристы! Поэт — совесть эпохи и голос народа. Вот о чем говорят творчество и личность Пушкина.

Служа добру и справедливости, передовым идеям эпохи и культуре, Пушкин поднялся на такую высоту творчества и мысли, откуда мог видеть очень далеко. С той высоты он видел не только прошлое и настоящее, но и смотрел в лицо будущего, к которому обращены и слова его «Памятника». В нем поэт как бы подвел итог своей гигантской работе, своей честнейшей жизни великого художника и прежде всего счел необходимым сказать, что служил добру и свободе, подчеркнув это как главное в своей деятельности, за что он и будет любим народом. Так и случилось. Это Пушкин предвидел. Он хорошо знал, что этого именно и требует от художника его миссия. Честность и талант, бесстрашие и устремленность в будущее неразделимы. Художник не может не думать о будущем потому, что служит жизни и людям. Он верит в бесконечность жизни, как народные сказочники и дети. Он не спутник тем, кто говорит: «А после нас хоть потоп».

Нас удивляют масштабы его творчества, его разнообразие и обширность. Как поразительно он постигал Скупого Рыцаря, сердце которого представляется мне подобным куску угрюмой скалы, и юного поэта Ленского, чья душевная нежность и чистота напоминают цветок, раскрывшийся на рассвете. Пушкин с одинаково потрясающей силой мог создать образ Татьяны, изобразить ее душевный мир, полный подлинно русской национальной красоты, очарования, и испанского гранда Дон-Жуана. В своей жизни я не раз возвращался к этой стороне поэзии великого поэта, часто думал о ней. Такая мощь, конечно, дается очень редким художникам. Это понятно. Бесконечно удивительна способность гения одинаково превосходно выражать самые разные, самые противоположные явления:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Какая выжженная суровость в этих строках! И рукой того же поэта написаны, из его же души вырвались стихи, проникнутые тончайшим лиризмом и большой нежностью:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Правы были восточные люди, сказавшие, что молитва от повторений не тускнеет. Действительно, пушкинские стихи остаются для нас всегда свежими, сколько бы раз мы их ни читали. Мы каждый раз в течение всей жизни вот так же смотрим на звезды и зелень травы, как будто видим их впервые. Стихи Пушкина, как и все лучшее в поэзии любого народа, почти невозможно перевести на другой язык. Как переведешь дрожание зеленого листа или рдение розы! Недаром выдающийся польский поэт Юлиан Тувим жаловался, что, как он ни бился, ему не удалось перевести пушкинское «Я помню чудное мгновенье...» (Тувим, конечно, имел в виду не такой перевод, какие порой печатаются у нас).

У меня всегда вызывает удивление то, что «Гусара» и «Фонтану Бахчисарайского дворца», например, написал один и тот же поэт. В одном из них — грубоватый юмор, в другом — тончайшая грусть, проникновенная лирика, раздумье,

нежность. Разве дело только в том, что эти две вещи написаны в разное время? Нередко мы видим это у Пушкина и в произведениях, написанных в один период. Речь идет о широте диапазона. У нас нередко бывает и так, что поэт выбирает какую-нибудь тропинку и постоянно цепляется за нее. И это частенько называют оригинальностью, верностью своему миру и теме. А надо бы называть это ограниченностью и узостью. Крупный талант не боится решать разные задачи. Всем нам полезно почаще думать о широте и масштабности великих мастеров. Как непостижимо размешал Пушкин все краски в «Евгении Онегине» — радость и печаль, суровость и нежность, мудрость и веселый юмор, сатиру и грустное раздумье. Это грандиозное создание русской и мировой культуры кажется нам написанным так легко и так непринужденно, порой даже думаешь, что поэт работал как бы шутя. Но мы хорошо знаем, что над ним Пушкин трудился долго, упорно и кропотливо, много раз переписывая. Какой громадный труд он вложил в свое самое крупное создание, еще лучше понимаешь, когда видишь его черновики. Великий талант не освобождает художника от кропотливого труда. Свидетельство тому — опыт Пушкина. И в отношении трудолюбия его уроки незаменимы, он, казавшийся таким легким, был великим тружеником. И в то же время крылатым.

Пушкин любил радость. Недаром он так ликующе сказал:

Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

И грусть свою назвал светлой, «и ногу ножкой», как тонко подметила Анна Ахматова. Мне кажется, что одним из самых любимых им слов было слово «прелесть». Он часто ставил его и на полях книг. И сама поэзия Пушкина полна необыкновенной прелести и света. Конечно же он — великий жизнелюб, ему было бесконечно дорого все живое — от одинокой березки у дороги до звезд над снежной равниной, от детской песенки до музыки Моцарта.

4

Нам, людям Востока, радостно не только оттого, что Пушкин навсегда закрепил в своих нестареющих произведениях целый мир восточных образов, красок и ритмов. Мы рады еще и тому, что он видел наши горы и белизну снегов их вершин, звезды над хребтами, сиявшие, как лучшие надежды в душе

великого поэта. Его плечи, как и плечи Лермонтова, знали кавказскую бурку, сделанную терпеливыми руками горянок. Не увядая, живут образы Кавказа и кавказцев в его чудных созданиях, в его чудодейственные стихи вошли вечно белая вершина Казбека, суровое Дарьяльское ущелье с бурным Терреком, грохот обвала в теснине, сумерки на холмах Грузии, красота женщин наших, бедный пастух и нищий наездник. Все это закрепил в своих книгах поэт для всех народов и поколений. Где бы мы ни были на Кавказе, нам вспоминается Пушкин.

Восток вошел в поэзию русского гения с такой силой, что его невозможно представить себе без произведений о Востоке. От романтического «Бахчисарайского фонтана» до знойных и мудрых «Подражаний Корану» и до стихов, обращенных к калмычке, — все написанное национальным гением России проникнуто не только любовью к восточным народам, но и исполнено пониманием их судеб и сочувствия к ним. Это еще одно подтверждение широты интересов поэта, его человечности, гуманизма, внимания к жизни, истории и культуре других народов. Известно, с каким уважением он обращался к Саади и Хафизу, цитировал их в то время, когда мало кто о них знал в России.

Горы вечно дороги людям потому, что они одаривают радостью высоты. Той же радостью высоты веет от жизни, личности и поэзии Пушкина. И такой она останется, пока будет звучать русская речь. Она останется, как горы, и всегда будет сиять людям, вселяя веру в жизнь и в человека. Поэзия Пушкина — это поэзия рассвета и утра. Человек прежде всего строитель. Пушкин тоже был созидателем, великим творцом. Таким он и идет по земле с людьми. Он протягивает нам руку сквозь ливни годов.

Он наш друг и соратник, наш великий спутник, образец и учитель для поэтов, радость и праздник нашей жизни. Мы пронесли его имя и книги через все фронты. Суть врагов человеческой радости не меняется оттого, что они ходят в разных одеждах и носят разные имена. И сегодня, когда потомки мучителей и убийц таких людей, как Пушкин, грозят спящим детям атомной смертью, наш Пушкин с нами. Он всюду, где идет бой между светом и тьмой, между человечностью и злобой, между культурой и варварством, между уважением к человеческой жизни и человеконенавистничеством. Непрестанно звучит его светлый гимн и боевой лозунг: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

Прозорливый Пушкин смотрел вперед, он видел лицо бу-

душего, желал людям счастья, где бы и в каком бы столетии они ни жили. Он верил в бессмертие жизни. Светом этой веры полна его великая поэзия. Поэтому он стал спутником и другом для многих поколений.

Эти строки я пишу не с целью растолковать произведения великого поэта. Толкователей хватает и без меня. Я лишь хотел сказать о моей любви к Пушкину, которая останется со мной до конца моих дней. Он — один из самых удивительных людей, из всех известных мне, одна из самых свободных душ на свете, волшебник и кудесник, украшение человеческого рода. Одно только его имя вселяет в мою душу радость.

1962



УЧИТЕЛЬ ПУШКИНА



Молодой Пушкин писал
о Жуковском:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...

Если Пушкин так высоко ценил его стихи и предсказывал им долговечность, то можно себе представить, каким мастером был Василий Андреевич Жуковский. Да, действительно, он в годы юности своего гениального ученика являлся первым среди русских поэтов, самым читаемым и прославленным из них. В 1812 году, когда Родина оказалась в опасности, Жуковский, решив, что в такой час каждый обязан быть в рядах защитников отчизны, ушел в ополчение. Тогда же он написал стихотворение «Певец во стане русских воинов», сразу же ставшее знаменитым и прославившее имя автора, который вскоре стал учителем своих молодых собратьев, непрерываемым для них авторитетом.

Жуковский обладал выдающимся талантом. Его огромные заслуги в создании нового русского стиха, новой русской поэзии, породившей мирового гения Пушкина, всегда отмечались и отмечаются с благодарностью. Белинский писал, что без Жуковского не было бы Пушкина. Роль этого удивительного человека в родной словесности была завидной. Русская школа поэтического перевода во всем мире признана непре-

взойденной. Ее первым великим классиком также стал Жуковский. Его гениальные переводы из крупнейших поэтов Европы удивляют нас и теперь.

Вчитаемся снова в строки хотя бы первой строфы «Лесного царя» Гёте, чтобы вновь ощутить, как они замечательны, полны жизни:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.

Той же редкой энергии, огромной выразительности полно и стихотворение «Ночной смотр» — перевод из австрийского автора Цедлица, которого знатоки называют второстепенным поэтом. И какое мощное произведение создал русский поэт на основе этих стихов. Подумайте, как сильны вот эти строки:

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.

И дальше:

...В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны;

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает...

В этих стихах и сегодня мы ощущаем необыкновенную словесную мощь. По моему мнению, большая художественная сила заключена и в элегии Жуковского «Море». Вот ее начальные строки:

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.

Мне кажется, что стихотворение гениального лирика Тютчева о море идет от этих стихов Жуковского. Во всяком случае, я ощущаю близость двух этих вещей. Вот первая строфа тютчевского шедевра:

Как хорошо ты, о море ночное —
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

В своей знаменитой миниатюре «Воспоминание» Жуковский достиг высшей выразительности и афористичности. Давайте подумаем над значительностью этих строк:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Смело можно сказать, что тут мы чувствуем краткость и глубину, равную лучшим четверостишиям Омара Хайяма. Подобные вещи доступны только очень крупным талантам.

Когда я начал писать эти строки, даже не думал сказать о выдающемся поэтическом таланте и мастерстве одного из крупнейших русских поэтов первой половины прошлого столетия. Давно вызвали мой интерес и приковали мое внимание высокие человеческие качества Жуковского, редкие и драгоценные свойства его души. О них-то мне и хотелось написать. Знаменитый и прославленный Жуковский, считавшийся тогда лучшим поэтом великого русского языка, был обласкан двором и находился в зените своей славы, когда появился Пушкин, необыкновенный талант которого одним из первых оценил именно он. Жуковский не только не стал кичиться своей известностью, выставлять против нового таланта свою славу, а раньше всех пришел в восторг от своего юного собрата и сказал о нем: «Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет».

Это замечательно. Ведь зависть и себялюбие — одни из самых живучих человеческих свойств. Какое благородство и редчайшую прозорливость проявил прославленный поэт, без зависти и с радостью уступив место первого поэта России

новому великому гению, юноше по существу. Ведь при появлении «Руслана и Людмилы» подарил Жуковский Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя». Да, такая щедрость и справедливость доступны действительно немногим. До конца жизни Пушкина Жуковский относился к нему с такой же любовью, понимает-ся, хорошо понимая, что это — национальный гений, гордость родной поэзии и всей русской культуры. Василий Андреевич Жуковский был редким человеком. В этом нет сомнения. Он, воспитатель наследника престола, ходатайствует за опального Пушкина, просит императора Александра о милостивом отношении к поэту-юноше, защищает его, говорит, что он — надежда русской поэзии.

Появляется Лермонтов, который разгневал уже нового самодержца, написав стихи на смерть Пушкина, которые царь оценил как призыв к революции. Ведь молодой поэт обвинял монарха и его окружение. И снова, несмотря на все, за Лермонтова хлопочет, заступает все тот же Жуковский. Он также был среди активных участников освобождения Тараса Шевченко из крепостной неволи. Удивительно! Ведь у него было другое отношение к монархии, он имел иные взгляды и на назначение искусства, чем те художники, которых ему приходилось защищать. Однако он поддерживал и отстаивал инакомыслящих больших поэтов, политические убеждения и эстетические воззрения которых расходились с его взглядами.

Когда Пушкин был смертельно ранен, снова, как всегда, Жуковский оставался верным себе и своей дружбе с великим учеником. Он опять выказал обреченному гению свою редкую любовь и нежность, ни на час не покидал умирающего бога русской поэзии. Хотя его душили слезы, он держался мудро, делал все необходимое, даже сам писал и вывешивал бюллетени. В те трагические дни Жуковский показал большую выдержку, присутствие духа, мудрость.

Почему я пишу об этом сегодня — в наши бурные дни, в атомный, как говорится, и трудный век? Да потому, что поучительно отношение Жуковского к своему гениальному ученику в его счастливые и несчастные дни! Какой это большой человеческий урок! Такие примеры и образцы не должны забываться. Разве в наши дни из сознания людей вытравлены убогие себялюбие и зависть? К сожалению, далеко не так! Ставить талант, выдающийся дар истинного творца выше своего себялюбия, гнать прочь зависть — в этом большая красота души и ума. Этим прекраснейшим качеством Жуковский обладал в высшей степени. Вот почему и вспомнил я о

нем сегодня — в начале восьмидесятых годов двадцатого столетия. Мне дороги его доброта, душевная чистота и рыцарские поступки. Будем надеяться, что никакая атомная сила не убьет рыцаря в человеке. Я это говорю, хорошо зная, как много на свете людей — далеко не рыцарей.

Рыцарское отношение Жуковского и Пушкина друг к другу остается одним из самых светлых и поучительных уроков не только в истории одной русской, но и мировой поэзии. Думаю, что в эти апрельские дни, когда так сказочно цветут на моей земле абрикос и алыча, я не зря и не случайно в горах Кавказа вспомнил о Жуковском. Лучшие уроки лучших людей драгоценны, как все редкое в жизни. Быть учителем Пушкина, притом любимым, являлось большим счастьем. Жуковский, разумеется, хорошо это понимал и до конца оставался достойным своей редкой участи. Он был великим человеком.

А ПАРУС ВСЕ БЕЛЕЕТ...



ворчество всякого великого художника — это не только наиболее достоверное отражение его собственного душевного мира и чаяний современников, в нем не только резко выраженный облик эпохи. Оно также остается и завещанием будущим поколениям, как бы эмоциональным кодексом человеческой души, документом, который не тускнеет и столетиями продолжает вызывать большой интерес, волнуя сердца и воображение людей. Лермонтов — одно из удивительных явлений в литературе. Он погиб, не дожив до двадцати семи лет, но создал такие шедевры, которые дали ему право войти в пантеон великих писателей.

«Парус» и «Тамань» удивляли Чехова через десятилетия после смерти их автора. Вот что об этом сказано в воспоминаниях Бунина о Чехове: «Как восторженно говорил о лермонтовском «Парусе»!

— Это стоит всего Брюсова и Урениуса со всеми их потрохами,— сказал он однажды. И Бунин свидетельствует: «Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять,— говорил он,— как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!..»

Какого совершенства и естественности должно было

достичь произведение, чтобы удивить Чехова! Ведь мудрая тонкость его вкуса ни с чем не сравнима. Однако факт остается фактом. Именно до такого художественного совершенства сумел подняться юноша Лермонтов. Удивительно! А как хорошо, что Лев Толстой признавался, что его эпопея «Война и мир» выросла из лермонтовского «Бородина»!

Я позволил себе назвать творчество великих художников завещанием будущим поколениям. Что это значит? В чем суть завещания будущему таких поэтов, как Лермонтов? Прежде всего в том, что их творчество служило передовым идеям своего времени, добру, справедливости, свободе и борьбе за радость людей. А это всегда остается главной миссией поэта. Разве Пушкин завещал не то же самое поэтам в своем знаменитом «Памятнике»? Стихотворцы, изменявшие этому завету, изменяли самой сути искусства. И не их уделом было долголетие. Его не могут принести одни только красивые рифмы, хотя хорошая рифма — большое дело в поэзии. А все же сам кинжал важнее ножен, но и ножны должны быть под стать клинку.

У Лермонтова мы найдем всякие рифмы. Даже в его шедеврах встретим не очень изысканные созвучия. А кто думает об этом, читая его? В первой же строфе стихотворения «Выхожу один я на дорогу...» находим рифму «блестит — говорит». Мне кажется, что ее нельзя считать самой хорошей. Но что это по сравнению с бесподобной глубиной и красотой всей вещи? Это одно из самых изумительных созданий всей мировой лирики, такая совершенная вещь, что в тот час, когда в предгорьях Кавказа рождалась она, должно быть, «и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой!». Невозможно отказать себе в удовольствии прочесть снова это чудо:

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я.
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть! —

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

Эти стихи так дороги мне не только потому, что они родились вблизи родных мне вершин и блестит в них кремнистая горная дорога, по которой, может быть, проходил мой отец и прохожу сегодня я сам, глядя на облака, проплывающие над ней. Лермонтовский шедевр полон лунного света и человеческой боли, света вечности и порыва к свободе. Невыразимы и необъяснимы глубина раздумий и обаяние, пронзившие эти великие стихи! Строка «и звезда с звездой говорит», полагаю, явилась одним из самых замечательных открытий в мировой лирике. Поэзия живет подобными открытиями, а не мишурой, не красивыми словами и не пустозвонными фразами. Когда читаешь эти стихи, как-то даже становится больно за тех, кто не знает русского языка и не может прочесть их в оригинале, появляется горячее желание, чтобы все люди читали такое чудо в подлиннике. Мы знаем: ни один перевод не в силах передать красоту и обаяние его оригинала.

Находились люди, которые считали это лермонтовское чудо пессимистичным произведением, умники, которые утверждали, что поэт в нем отказывается от активной деятельности и от жизни. Подобные авторы обычно пытаются лезть в учителя к тем великим художникам, которые стали учителями человечества. Как можно заниматься литературой и не понимать, что в приведенном выше шедевре Лермонтова томится плененная душа одного из самых вольнолюбивых художников, что в этих стихах живет дух протеста, желание вырваться на волю. И потому так много в них боли и тоски.

Эти чувства у больших художников обычно выражаются не риторическими восклицаниями.

Необыкновенная поэзия Лермонтова — это его завещание потомкам. Он завещал людям не сгибать спины перед бенкендорфами, служил лучшим человеческим идеалам, воплотил их в нестареющие художественные произведения. Он спутник и соратник многих поколений в их борьбе за лучшую жизнь. Лермонтов, как и Пушкин, Бетховен, Гёте, был с нами и в нашей смертельной битве против фашизма.

2

Сегодня снова хочется вспомнить о том, что Лермонтов вошел в сердца соотечественников в дни национального траура своей родины — в дни гибели Пушкина, когда скорбели все передовые люди России, лишившиеся своего первого поэта, национального гения. Имя Лермонтова засверкало неожиданно, как молния, оно ворвалось в дома скорбящей страны так же внезапно, как ливень врывается в притихшие дворы. Мы знаем, каким событием стали сразу же стихи «Смерть поэта». Их автор потряс друзей Пушкина и привел в замешательство его врагов, вызвал ненависть всех тех, кто направлял на Пушкина дуло дантесовского пистолета. Враги его учителя стали врагами Лермонтова. Смелая борьба русской поэзии с душителями всего светлого и мучителями угнетенной родины и народа продолжалась. После гибели Лермонтова эстафета перешла к Белинскому, Некрасову, Чернышевскому, Добролюбову и другим бесстрашным деятелям родной литературы. Как бы трудно ни приходилось, все равно в исторической перспективе победа должна была остаться за великой русской литературой.

Как удивительно, что гвардейский офицер, юноша бросил в лицо царя и его окружению такие действительно железные стихи, полные гнева, угроз и бесстрашия:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоее всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Оно прозвучало не только голосом гнева и скорби, но и возмездия. Ясно было, что такой поэт мог появиться в России только после смелого и трагического восстания декабристов. И, конечно, царь и его окружение, пославшие в Пушкина пулю проходимца, стали думать о другой пуле. Она уже отличалась и через пять лет пробила сердце второго великого поэта России, и он в горах Кавказа навсегда закрыл свои прозорливые и прекрасные глаза.

А знал ли сам молодой поэт, на что идет и какая трагическая участь вслед за Пушкиным может его ждать? Конечно. Иначе он не был бы Лермонтовым, так рано постигшим жизнь и так хорошо понявшим действительность, которая его окружала. Это доказано всей дальнейшей его короткой жизнью и могучим творчеством, тем, что он не сделал до конца дней ни одного шага назад, оставаясь верным себе и своему призванию, своей миссии наследника Пушкина, имя и честь которого так небывало смело защищал в дни его гибели. Он был из породы великих художников-героев. Жил не сдаваясь и умер не сдаваясь. Когда передовые люди страны узнали стихотворение «Смерть поэта», они сразу же поняли, что пришел новый большой поэт. Но это также поняли царь и его окружение. Казалось, что Лермонтов появился как обвал.

Между юностью Пушкина и юностью Лермонтова легла Сенатская площадь 14 декабря, встала виселица с задушенными петлей декабристами, с багровым от крови снегом на улицах Петербурга, с горестной дорогой в Сибирь и муками оставленных в живых повстанцев. Атмосфера эпохи подготовила появление стихов Лермонтова, и они не замедлили появиться. Лермонтов знал, на что шел. И тут возникает важнейший вопрос — о смелости и бесстрашии художника. Вспомним Александра Блока, так любившего Лермонтова: «И вечный бой! Покой нам только снится сквозь кровь и пыль...» Значит, жизнь — это непрерывный бой, борьба между добром и злом. Только в каждую эпоху зло имеет конкретных носителей. Вечный бой! И в этом вечном бою художнику порой бесстрашие необходимо так же, как и талант. Это потому, что он становится выразителем чаяний и стремлений угнетенного большинства, рупором народ-

ной свободы, в нем, как в лучшем их выразителе, сосредоточиваются лучшие качества и свойства передовых людей. Ему приходится бросаться в бой, забывая об опасности, о страхе гибели. Иначе он не был бы верен своему назначению.

Бесстрашие и совесть. Вот чем были вооружены великие художники всех эпох, когда надо было заступаться за народ, за униженного человека, защищать их от произвола, бороться за их права. Но как это трудно, какой дорогой ценой приходится платить! Пушкин и Лермонтов были из этой фаланги бесстрашных художников. И они заплатили жизнью за свою совесть и смелость, как защитники и поборники свободы родного народа, мечтавшие о процветании отечества. Конечно, такое доступно далеко не каждому и не всегда. Горький опыт искусства слишком велик! Не всем, кто именовал себя поэтом, работал в литературе и процветал, нужна была совесть, не говоря уже о лермонтовском бесстрашии. Нам известно, что такие литераторы, например, как Булгарин, пытались унижить литературу, занимались клеветой на крупнейших писателей, предавали их Третьему отделению. Но они перед великой русской литературой — лишь пыль, занесенная башмаками в тот прекрасный дом, который воздвигали такие бессмертные строители, как Пушкин и Лермонтов.

Не все таланты — Бетховены и Толстые. Литература и искусство многообразны, как и сама жизнь. Лермонтов в своем стихотворении «Поэт» обращался именно к художнику, у которого большое мужество. Мне хочется привести две строфы из этой вещи. В них заключены редкая энергия и мужественная сила:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Ему было дорого все лучшее и светлое в жизни. Он ненавидел гнет и неволю, а не жизнь вообще. Главной чертой Лермонтова — человека и поэта — было бесстрашие, а не разочарование в жизни. Не отказом от жизни порождено стихотворение «Смерть поэта». Оно родилось в бою за жизнь, в борьбе против ее врагов. Кто потерял веру в жизнь, тот не борется и не сражается за нее, а существует, махнув ру-

кой на все. Поэзия же Лермонтова — это мятеж против душителей жизни и всего живого, всего прекрасного. Отсюда и боль, чувство одиночества, тоска и горечь, которые естественным образом стали мотивами его творчества. За жизнь больно только тем, кто ее любит

3

Когда императору Францу Иосифу сказали, что Бетховен — гений и его стоит поддержать, тот ответил весьма лаконично: «Мне нужны не гении, а верноподданные!» Справедливости ради надо отметить, что было сказано по-своему хорошо, сказано за всех императоров. Точно такими же словами мог бы сказать о своих великих поэтах и русский император. Лучше не определишь отношение деспотов к художникам. Лермонтов был гений. А царь нуждался только в верноподданных. И они стали врагами. Лермонтов явился одним из тех, кто мешал царю спокойно жить. Тот хорошо помнил Сенатскую площадь 14-го декабря 1825 года. И вдруг офицер из его гвардии осмелился бросить ему в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью!..». Смелость — вещь дорогостоящая. Но поэт продолжал свое дело. Он совсем не думал смириться, сдаться, быть покорным сочинителем, пишущим ради забавы светской черни. Вспомним, что говорит его мятежный Демон, осмелившийся восстать против небесного владыки и за это изгнанный из рая:

...Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь, да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.

Это, разумеется, не вообще о жизни. Лермонтов обращается к конкретной действительности, к николаевскому времени, в которое ему выпало жить. И казни, о которых говорит Демон, — конкретные казни, декабристов в частности. Горчайшими словами своего Демона он пригвоздил к позорному столбу режим, при котором процветали несельероде и бенкендорфы. Эти слова были прямым продолжением строк «Смерти поэта». Мир голубых мундиров не мог этого простить. Ему нужно было не величие русской поэзии и мысли, а власть и собственные блага.

Был арест. Была ссылка. Далекие ухабистые дороги. Пули горцев. Белизна снега на Казбеке и чернота боли. Гибель товарищей. «Иных уж нет, а те далече...» Но Лермонтов мужал. Железный стих становился все более зрелым и гибким. Наследник Пушкина оставался верен своему призванию и назначению. И говорили не только звезда со звездой на синем небе над белизной Кавказских гор, но и царь — с жандармами. Зловещая жандармская тень ложилась на лермонтовскую дорогу всюду. Появление в Пятигорске подполковника в голубом мундире Кушинникова в последние дни поэта было продолжением все той же длинной тени.

Прощай, немая Россия,
Страна рабов, страна господ...

Какие это горькие слова! Сказав их своей родине, ссылочный поэт уезжал на Кавказ. А ведь в родной стране, к которой он на прощание обратился так горько, поэт любил и народ, и многое. Так замечательно он писал об этом:

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.

Не только эти, но и другие горчайшие слова были вырваны из сердца горячей любовью к своей милой и измученной отчизне, только любовью, потому что он хотел ее видеть свободной и цветущей. Это было выражением огромного и горестного томления, выражением желания высших благ родному народу — свободы, просвещения и процветания.

Вот почему он писал, что любит Россию странную любовью. Патриотизм Лермонтова был истинным и высшим. Он жил настоящей любовью к отчизне. Но жандармы всех рангов думали иначе. Они требовали казенной любви и казенных слов. И все гуще ложилась на его дорогу тень жандарма. Звезду поэта все плотнее обступали тучи. Он писал, что, может быть, скроется за хребтами Кавказа. И в то же время, конечно, знал, что это невозможно. Да и едва ли сам этого хотел. Это тоже было выражением горечи и боли, протестом и желанием вырваться на волю. И на Кавказе не только сияли любимые им вершины, но свистели пули, лилась кровь, жестокость правила свой неправый суд.

А он любил родную Россию и свой Кавказ. Его зоркие

глаза видели не только красоту гор, пленивших его с детства, но и никому не нужную гибель людей — русских и горцев, видел золу сгоревших аулов. Он знал, что пепел сожженного жилья всюду одинаково печально остывает и одинаково горько пахнет. Покоя не было. Его мятежный Парус продолжал свой путь по морю жизни. Покоя не было. Лермонтов горестно размышлял в пути, «спеша на север издалека», вверял свою боль и сомнения Казбеку.

4

Говоря о Лермонтове, мне хочется вспомнить одно из лучших созданий русской лирики — стихотворение «Памяти А. И. Одоевского». Давайте снова вчитаемся в эти изумительные строки, полные преданной любви и уважения к памяти поэта-декабриста, который когда-то был блестящим гвардейским офицером, после же разгрома восстания декабристов прошел тюрьму, сибирскую каторгу и умер ссыльным солдатом от лихорадки на Кавказе. Прочитав это стихотворение, мы убедимся, что Лермонтов умел любить тех, кто был достоин его любви и уважения:

Я знал его — мы странствовали с ним
В горах Востока... и тоску изгнания
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!..

Так начинается этот шедевр, в котором мысли, образы, каждое слово и тон стиха полны невыразимой любви и уважения к другу, огромного обаяния и прелести. Приведем еще одну строфу:

Но он погиб далеко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немои кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие — без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоём,
Когда глаза закрылись вечным сном;

И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...

Нет сомнения в том, что это одно из самых замечательных человеческих раздумий, когда-либо адресованных поэтом памяти товарища. Я не знаю стихов, в которых любовь и уважение к так много перенесшему другу были бы выражены с большим благородством и сердечностью. А какое было бы дело равнодушному ко всем себялюбцу до страданий и смерти ссыльного солдата? Нет, самовлюбленные гордецы не могут написать таких стихов, хоть озолоти их!

А с какой искренней простотой и любовью написал Лермонтов о простых крестьянах.

...С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Как хорошо! О самых обыкновенных вещах, связанных с жизнью крестьян, Лермонтов написал гениальные стихи самыми обычными словами. Действительно, какой простоты, точности слова и изображения, какой естественности достиг он в своих поздних вещах. Мне бы хотелось особое внимание в приведенном отрывке из стихотворения «Родина» обратить на две первые строчки: «С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно...» Тем, кто называл поэта вздорным себялюбцем, как раз ни в коей мере не была знакома радость видеть те простые картины русской народной жизни, которыми так дорожил Лермонтов и которые так сильно изобразил.

Разве не Лермонтов так нежно любил М. Щербатову? Как много сердечности вложено в стихотворение, обращенное к этой прекрасной женщине. Помните: «На светские цепи...»? Если даже взять одну только последнюю строфу, и то увидим, какой серьезный и обаятельный образ женщины создал поэт:

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

Нет, такие стихи вызываются и рождаются только любовью. А «Казачья колыбельная песня» или «Мне грустно,

потому что я тебя люблю...» с их глубочайшей человеческой нежностью? Пришлось бы сделать слишком длинным список! Нет, Лермонтов не отворачивался от настоящих людей и был не мрачным меланхоликом, а великим трагическим поэтом, которому каждый раз обжигало душу человеческое горе. Другое дело, что он был исключительно требователен к жизни и людям, смотрел на все с высоты гениального дарования. Иные путали и путают чувство собственного достоинства с самовлюбленностью и чванством. Лермонтову в высшей степени было присуще первое из этих человеческих качеств. Он хорошо знал, с кем ему быть добрым, а с кем — злым. Да, конечно, с жандармским генералом он не обнимался. Предпочитал сосланного декабриста Одоевского. И ангелом, разумеется, Лермонтов не был. И я далек от мысли превращать его в икону. Это тоже было бы искажением его реального облика. Он был человеком высокого ума, чести и благородства.

Поэты лермонтовского масштаба не бывают мелкими и равнодушными людьми. Одно исключает другое. Характер художника обязательно переходит в его произведения. Это неизбежно. В поэзии притворяться не удается.

5

Ведя свой разговор о художественной мощи поэзии Лермонтова, мне хочется остановиться на его «Валерике». Эта вещь удивительна для меня во многих отношениях.

В этих стихах так поразительно художественное совершенство наряду с небывалой в поэзии о войне глубиной содержания, удивительны точность стиха и образов, мудрая сдержанность интонации, суровая самостоятельность мысли. Нет ничего лишнего. Все пережито, выношено, взвешено и скупое. Вот как говорит Лермонтов о горцах, против которых ему велено было воевать:

И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз,
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.

Бытовые реалистические детали, точно замеченные и верно закрепленные. Сама жизнь, сама природа. Все скупое и простое. Вот так русский поэт и офицер ввел навсегда в поэзию своих «противников» с их худыми руками и гортанным разговором. Как это замечательно! Не только талантом, но и каким умом надо было обладать, каким прозорливым человеком надо было быть, чтобы подняться до такой высоты объективности и понять этих горских крестьян, сражавшихся и отдававших свои жизни за землю отцов! А вот строки еще более высокого общечеловеческого содержания, тоже удивительные и по содержанию, и по форме:

Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

Горький и бессмертный вывод! Сколько людей думали так и через сто лет после Лермонтова! Какой поразительной зрелости мысли достиг этот человек, погибший юношей! Совершенство этого стихотворения несравненно. Такой в нем жесткий и суровый реализм. Вот куда вела Лермонтова его так рано оборвавшаяся дорога. Можно не сомневаться в том, что эти стихи проложили путь к реализму русской литературы, стали большой школой для будущих ее крупнейших мастеров. Каждый раз, возвращаясь к таким созданиям Лермонтова, думаешь: какой кровавый удар нанес Мартынов России и ее культуре! Кроме прочего, он ведь убил человека, который в роковую минуту выстрелил не в противника, а в воздух! Это подтверждено участниками и свидетелями отвратительной дуэли. Говорят, что генерал Ермолов, узнав о гибели Лермонтова, сказал: «Жаль, что меня уже нет там, я бы удвоил кровь!»

Подумать только! В течение каких-нибудь четырех лет были убиты два великих поэта России! Чему удивляться, если царь мог о Лермонтове сказать самые нечеловеческие слова: «Собаке — собачья смерть!» Это не выдумка, это подтверждено современниками самого Николая и даже людьми,

близко к нему стоявшими. Но быть убитым — не значит быть побежденным. Великий поэт остался любимцем своей Родины, а его врагов и убийц заклеил родной народ. Борьба с гениальным художником бесполезна: его невозможно победить — жизнь и история всегда на его стороне. Бетховена например, не могли бы сокрушить все монархи мира, если бы они даже в небывалом для них единстве вступили с ним в бой. Гениальный художник — вечный победитель. Он творит жизнь. Гений подобен горе и морю.

Давно я обнаружил, что Пушкин еще пользовался архаизмами. У Лермонтова же нет ничего подобного. Такое суждение, разумеется, нисколько не ущемляет величайшего из русских поэтов — учителя Лермонтова. У автора «Героя нашего времени» была своя поэтика, идущая от Пушкина, но уже своя. Паруса его поэзии наполнял воздух другой эпохи. Он был другим — более горьким, более трагическим художником. У Пушкина мы не раз встретим рифму «радость — младость», у Лермонтова нет ее. Лермонтов продолжал Пушкина, не повторяя его, открывая новые горизонты для родной поэзии. Такими только и бывают истинные ученики. Иначе Лермонтов не стал бы великим поэтом. И странно, когда задают вопрос: «Кто лучше — Пушкин или Лермонтов?» Это все равно, что спросить: «Какая лучше гора — Эльбрус или Казбек?»

Грандиозен мир лермонтовской поэзии — многоцветный, многоголосый и прекрасный, как горы. Мы, счастливые обладатели этих бесценных сокровищ, всю жизнь радуемся глубине и чарующей музыке лирики Лермонтова, ее краскам, звукам, мыслям, эмоциям и живописи. Можно было бы изучить русский язык только для того, чтобы читать волшебные лермонтовские создания.

И тогда мой поступок был бы оправдан и я осчастливил бы себя. Вся будущая красота и волшебство поэзии Лермонтова, ее музыка и живопись, глубина и серьезность уже присутствуют в его раннем стихотворении «Русалка», написанном в полудетском возрасте. Я всю жизнь не могу отделаться от музыки и обаяния этой вещи. Поэтому хочу процитировать ее целиком:

1

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

2

И шумя и крутясь колебала река
Отраженные в ней облака;
И пела русалка — и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.

3

И пела русалка: «На дне у меня
Играет мерцание дня;
Там рыбок золотые гуляют стада;
Там хрустальные есть города;

4

И там на подушке из ярких песков,
Под тенью густых тростников,
Спит витязь, добыча ревнивой волны,
Спит витязь чужой стороны...

5

Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело и в уста мы в полуденный час,
Целовали красавца не раз;

6

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
Остается он хладен и нем;
Он спит, — и склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне».

7

Так пела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской;
И шумно катясь, колебала река
Отраженные в ней облака.

Подумайте о красоте этой баллады и о том, что она написана рукою мальчика!

Нас потрясают крупнейшие создания Лермонтова — «Герой нашего времени», «Демон», «Песня про купца Калашникова». Когда мы оказываемся в этих сказочных владениях, не похожих ни на какие другие, то стоим зачарованные. Над вершинами Кавказа летит великий бунтарь, восставший против самого небесного владыки, — Демон, шелестят травы, шумят реки, дымятся горы, пляшет юная Тамара,

рыдает зурна, звенит детский кинжал Азамата. Мцыри сражается с барсом, молния освещает скалы и ущелья. Сколько образов и красок, какой живой и гордый мир! Нас покоряет мудрая и простая доброта Максима Максимыча, мы беседуем с очень умным и не находящим достойного применения своим большим силам Печориным, видим позера Грушницкого, несчастного тем, что глуп и вздорен. Нам понятен Казбич — абрек и лихой наездник, влюбленный в Бэлу и гордящийся своим скакуном Карагезом. Мы понимаем протест и отвагу купца Калашникова. Какую галерею образов успел создать Лермонтов за такую короткую жизнь! Притом массу времени отнимала у него военная служба. Известно, что он мечтал выйти в отставку, заняться только творчеством и даже издавать журнал. У него были грандиозные планы. Но им не суждено было осуществиться, их опрокинула смерть. Граф и литератор В. Соллогуб в своих воспоминаниях пишет, что перед последним отъездом на Кавказ в доме Карамзиных Лермонтов сказал, что его убьют. Тогда же, по словам мемуариста, поэт говорил и о журнале, который он собирался издавать, вернувшись с Кавказа. Как утверждает все тот же автор, Лермонтов, говоря о смерти, имел в виду горскую пулю, которая, как известно, пощадила его. Но нашлась другая, бесчестная пуля. И поэт с Кавказа не вернулся.

Каждое поколение входит в мир поэзии Лермонтова, каждое поколение благодарит его за прекрасный мир, созданный его гением, за его поэтический и гражданский подвиг. И я благоговейно благодарю его от имени воспетых им гор и горцев. Еще мальчиком, плененный величием Кавказа, а лет в пятнадцать написавший: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ...», Лермонтов остался верен ему до конца и, как никто, воспел его могуче и нежно, мужественно и мудро. В его поэзии живут величие и красота нашей земли, ее боль и надежды, подвиги ее сынов. Он гордился этой страной и своей любовью к ней. Он любил ее свободных и благородных детей, и они, вместе с сиянием вечных снегов вершин, навсегда остались в его книгах. Они были своим мужеством достойны бессмертия, и русский поэт их обессмертил.

Из его книг, словно эхо в горах, как бы доносятся до нас голоса тех отважных горцев и стук копыт их коней. Горы и поэзия Лермонтова высятся, как равные. Кавказ и Лермонтов были достойны друг друга. И они остались вместе навеки. Кавказ был большой любовью великого поэта и стал его могилой. Но горы в этом, к нашему счастью, не виноваты! Лермонтов, отдававший Кавказу свою любовь и

песню, отдал ему свое сердце и кровь. И последний взгляд прекрасных глаз Лермонтова принадлежал Кавказу. Прежде чем мелькнула черная молния смерти, он увидел высоту и белизну гор. Он однажды взлетел на их вершины, чтобы никогда не сойти оттуда.

6

Рукой юноши написал Лермонтов свой бессмертный «Парус». И совсем молодым он упал с пробитым пулей сердцем у подножья горы Машук. До сих пор этот роковой и бесчестный выстрел вызывает дрожь в сердцах. И так будет долго. Люди еще долго будут обращаться не только к поэзии Лермонтова, но и к его имени и судьбе, к его мужеству и смерти. Говорят, по пути к месту дуэли он ел вишни, был спокоен. Так же невозмутимо, говорят, он смотрел на своего противника и выстрелил в воздух. Через мгновение для него уже не было ни гор, ни деревьев, ни травы, ни друзей, ни бабушки любимой, ожидавшей его дома, ни России, ни Кавказа. Ничего и никого. Только тьма и немота. Говорят, он никогда не боялся смерти. Но она пришла и отняла у него все — жизнь и поэзию, все.

Сраженный Лермонтов упал на клочок кавказской земли, дарившей ему красоту, радость, вдохновение. Был поздний летний вечер. Был гром. Была молния. Был ливень. Это горы оплакивали своего лучшего певца. Поэт лежал на траве, мокрой от дождя. Никто не пришел на помощь. Никто не спас. Я только на днях — в который раз! — стоял на том месте, откуда в последний раз он взглянул на мягкое небо Кавказа, на горы, на белизну их снегов, на земную красоту. Теперь на этой лесной поляне у Машука обелиск с барельефом поэта оберегают каменные орлы, сурово повернув назад клювы. Мне кажется, что это укор орлов людям, не сумевшим уберечь и спасти великого юношу. Здесь одиноко умирал один из лучших поэтов на свете. С того рокового вечера прошло больше столетия. А Парус его поэзии все так же белеет. Белеют и вершины гор, так сильно и любовно им воспетые.

Я пишу эти строки, видя и белеющие горы, и белеющий Парус. Мне хорошо и горько. Поэты умирают. Поэзия остается. Как хорошо, что она остается. Благословенна память людей! Какое счастье, что убийцы поэтов не могут убить поэзию! Это лишний раз дает возможность уверовать в светлый смысл бытия. Прошло сто двадцать три долгих года, как погиб Лермонтов. А Парус его поэзии все белеет...

Эти заметки — только знак любви к великому поэту, попытка выразить мое восхищение его поэзией. Горцы, воспетые им, не смогут сказать ему о своей благодарности. Я благодарю его за них и за себя. Пусть в день большой годовщины Лермонтова и мое слово ляжет у его памятника зеленым листом чинары. Слова «Кавказ» и «Лермонтов» звучат для меня одинаково прекрасно, мне одинаково сладостно произносить их. Так было всю мою жизнь. Так будет до конца моих дней. Когда в ущельях произносится его имя, мне кажется, что навстречу из гнезд вылетают орлы. Горы полны звуками его имени, как ущелье — шумом ливня. Гул его поэм раздается здесь, как гул лавин. Они сродни. Вывожу эти строки, и мне кажется, будто я успел к месту роковой дуэли через минуту после кровавого выстрела и словно прижался к дымящейся ране на груди поэта, склонился над ним и увидел его еще не закрытые глаза, которым давали так много утешения белые вершины и звездное небо моей родины.

Все враги и убийцы Лермонтова исчезли вместе со своей жалкой злобой. Это еще одно подтверждение того, что победа всегда остается за гениальным художником. Утешим себя этим достойным утешением, мой Кавказ! Благоговейно склонимся над нашим Лермонтовым, словно над павшим героем, как мы умели это делать, и тихо скажем: «Благодарим!» Он победил и врагов и время: бессмертный Парус его поэзии все белеет!..



НАРОДНЫЙ ПОЭТ РОССИИ

 этих заметках мне хочется выразить свое отношение к Некрасову, одному из крупнейших мастеров русского слова, попытаться отметить те черты, которые, по моему мнению, отличают его от других больших поэтов России, остановиться на тех сторонах его творчества, которые, на мой взгляд, сделали его Н е к р а с о в ы м и которые кажутся мне главными.

Быть народным поэтом, художником-гражданином — значит говорить о самом необходимом и насущном для своего времени. Только тогда слово писателя становится как бы равным хлебу. Одним из лучших подтверждений этого стала поэзия Некрасова. Народный поэт России — вот, по-моему, самое точное определение сути его творчества. Он хорошо знал, что художник всегда должен быть на стороне слабых и гонимых, бедных и обездоленных, тех, кто нуждается в его поддержке и защите. Поэтому Некрасов и призывал писателей своего времени стать в ряды бойцов за свободу и лучшую долю для униженных и угнетенных:

За обойденного,
За угнетенного
Стань в их ряды.

Некрасов был верен первой заповеди истинных художников — говорить о самом необходимом и главном для своего времени, что и делает поэта народным, а его поэзию гражданской.

Национальный гений России Пушкин назвал голос поэта эхом народа. Он же писал:

...в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Это было как бы завещанием Пушкина другим поколениям поэтов, заветом, которому Некрасов остался верным до конца своей жизни. И тут возникает важнейший творческий вопрос — вопрос преемственности, традиции и учебы, о которых у нас так часто пишут и спорят. И в этом отношении творчество Некрасова дает нам несравненный урок, его опыт остается поучительным. Разве не удивительно, что дворянин, сын крепостника, отнюдь не отличавшегося добрым отношением к крестьянам, он, порвав путы своего класса, писал такие вот строки, в которых слышится стон и горе родной земли и обездоленного народа:

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи...

Мы можем смело сказать, насколько этим не умаляя значения гражданской поэзии Пушкина и Лермонтова, что до Некрасова не было сказано ничего подобного по широте и силе о горе русского мужика, о бедственном положении народа. Ничего в такой степени и с такой потрясающей реалистической беспощадностью не входило в поэзию. С ним в русскую поэзию пришли мужики в лохмотьях и лаптях. Он нашел небывалые для них образы и ритмы, сказал новое слово. Героями поэзии стали те, для кого доселе были наглухо закрыты ее двери. Разве до него существовало поэтическое произведение, подобное «Кому на Руси жить хорошо»? Нет, не было. То же самое и «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Мороз, Красный нос», «Орина, мать солдатская», «Забытая деревня» и многие другие. А «Крестьянские дети»? Впервые в поэзии появился «мужичок с ноготок» — шестилетний мальчик, уже занятый тяжким крестьянским трудом, смысленный, удивительный, полный обаяния! Нет, до Некрасова поэзия не знала подобных тем и героев, несмотря на все величие его предшественников.

А чем же тогда выражаются идеи преемственности, традиций учебы, о которых часто мы толкуем неверно, спорим бесплодно? Сказать, что Некрасов не учился у Пушкина и Лермонтова, было бы просто неразумно. Конечно, учился и учитывал великий опыт в полной мере. Но, не копируя, не повторяя открытое и сделанное ими, а обогащая и развивая их традиции, сам стал первооткрывателем. Только так поступают настоящие ученики, достойные продолжатели дела своих учителей, не в пример посредственности, довольствующейся лишь эпигонством, повторением достижений предшественников.

Некрасов открыл свой мир поэзии, заговорил языком народа о народе. Он сказал никем до него не сказанное, стал поэтом революционной демократии. В этом его новаторство и величие.

Признавая слово боли и горя, трагическое в искусстве, я не признаю слова, отнимающего надежду у человека. Такое слово я считаю античеловечным и антинародным. Отнимать у человека надежду, отрицать смысл жизни — преступно. И эта важная для творчества истина также подтверждается всей поэзией Некрасова. Поэт не смеет обрубать человеку крылья, а наоборот, должен стараться помочь ему стать крылатым, дарить надежду и веру даже тогда, когда его слово вынуждено быть горьким и трагическим. И это хорошо знал народный поэт России. Приведу только один пример. Поведав страшную историю, полную жестокой правды, в поэме «Железная дорога», Некрасов все же не расстается с верой в стойкость, мужество и будущее русского народа. Вот его поразительно прозорливые слова:

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Без суровой правды нет большого искусства. Без нее не спасает и не спасет никакая техника, никакое мастерство. Высшее мастерство — это сама правда. Без нее работа поэта станет забавой и баловством. На величии истины держатся мир и творчество. И в этом смысле поэзия Некрасова, правдивейшего из поэтов — незаменимый урок для всех нас. Его правда была беспощадна. Он, как бичом, хлестал стихом угнетателей, он был не только правдив, но и бесстрашен. А это драгоценнейшее качество художника. Ни один серьезный поэт не может миновать уроки и опыт Некрасова.

Истинная поэзия должна потрясать. Более столетия потрясает все новые и новые поколения некрасовская поэзия. Такую силу дали ей, мне думается, те ее черты, о которых я попытался сказать.

А какой он лирик! Мне хочется вспомнить хотя бы его «Тройку». Какой тревогой за судьбу женщины, какой щемящей болью за нее пронизано это опять-таки совершенно новое в русской лирике стихотворение, ставшее народной песней. Эти стихи и сегодня, когда я переписываю их для своего этюда, вызывают у меня слезы, волнуют меня так же, как и современников поэта. Я, горестно сопереживая, повторяю строки, написанные сто двадцать пять лет назад:

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед на спешу,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки,—
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...

Это написал великий лирик, раскрыв мир подлинных самобытных чувств. Такими бывают лишь редкие художники. Это давно решено лучшим и самым беспристрастным судьей — временем. А я лишь стараюсь выразить то волнение, которое вызывает у меня каждый раз чтение Некрасова, книгу которого Твардовский назвал заветной для себя книгой.

Говоря о традициях Некрасова, мне бы хотелось подчеркнуть, что у него учились не только те современные поэты, которые близко соприкасаются с ним в смысле приемов, языка или словаря. Опыт гения становится уроком для всех. То же случилось и с поэзией Некрасова. Все мы так или иначе учились у него. Нечто подобное в свое время сказал об этом Александр Блок, который многим казался очень далеким от народной боли и гнева. Учиться у большого художника вовсе не значит быть похожим на него.

Благородное имя Н. А. Некрасова продолжает, не тускнея от времени, сиять среди великих имен русской и мировой поэзии — наших общих учителей. Это краткое слово — дань глубокого уважения к поэзии и памяти народного поэта России.



УРОКИ ТЮТЧЕВА



тех пор как я стал читать русских поэтов, люблю Тютчева. С годами многое менялось в моем отношении к целому ряду крупных художников, а любовь к нему до сих пор остается неизменной. И сел я за этот небольшой этюд о нем не с целью разъяснять читателям поэзию гениального лирика. Это не раз делалось. Мне хочется сказать только о своем восприятии творчества поэта, с которым я не расставался всю жизнь, получая большую радость от его нестареющего искусства. Его уроки имели для меня серьезнейшее значение. Чем труднее бывало в жизни, тем ближе и дороже становились мне его стихи. В них я находил и нахожу редкую глубину, силу и энергию, вижу, как совершенна его лирика. Для меня он был так же необходим, как Пушкин, Лермонтов, Чехов и великий национальный поэт балкарцев Мечиев. Кстати сказать, последний по лако-низму своему близок Тютчеву. Эти заметки — всего лишь попытка выразить признательность одному из чародеев русского стиха.

Уезжая на фронт, в числе немногих книг самых любимых поэтов я взял с собой и томик Тютчева. В те годы его избранную лирику я знал наизусть. Тютчевские шедевры я читал солдатам в окопах, раненым в госпиталях, читал везде, где мне приходилось бывать в военное время. Какие милые и красивые девушки слушали эти стихи! Я бывал счастлив и в несчастливые дни. В наших бдениях Тютчев занимал одно из первых мест наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, Есениным.

В 1941 году фашистские войска, прорвав Брянский фронт, заняли город Орел. В те дни воздушно-десантный корпус, в котором я служил, высадился в районе Орла. И тогда томик Тютчева оставался со мной. Он был при мне и в те дни, когда через год с лишним я приехал на Сталинградский фронт. С этой книгой я расстался только осенью 1943 года на 4-м Украинском фронте. Ее унес кто-то из моих знакомых и не возвратил. Мне было так больно, будто я потерял друга, делившего со мной все тяготы войны, ставшего для меня источником энергии, мужества, мудрости и утешения в беде, когда мы ежедневно смотрели в лицо смерти.

Плохо остаться без Тютчева. К моей радости, подвернулся случай — одна из моих знакомых во время войны, образованная и знающая литературу, собралась ехать в Москву на несколько дней. Она сказала, что дома у них должен быть Тютчев. Я попросил привезти книгу. Так оказались у меня три книжки Тютчева, изданные до революции в приложении к журналу «Нива». Я очень обрадовался, хотя по-прежнему жалел о пропавшем томике.

Почему этот старый мастер был так дорог мне на небывалой войне, в дни, так непохожие на тютчевские времена? Тютчев ведь сказал:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Речь идет о непреходящей силе искусства. Мир внешне меняется, один общественный строй заменяет другой, орудия производства обновляются, наука делает удивительные открытия, достижения техники оказываются поразительными. А вот сущность человеческих переживаний, радость, боль, мужество, страдания человека, закрепленные большой поэзией, надолго остаются для людей живыми, как бы став их собственными чувствами и переживаниями.

Старые стихи одного из глубочайших русских лириков были дороги мне в «минуты роковые». Это большой урок поколениям поэтов, преподанный Тютчевым, как и другими художниками его ранга, урок верности правде жизни. Это значит — писать так, как чувствуешь, как дышишь, без оглядки, не щадя себя. Думаю, что крупный талант иначе и не может. В противном случае для него будет неподходящим высотный воздух большого искусства.

Тютчев поэт далеко не бодрый и не жизнерадостный, если к этим человеческим и художественным свойствам под-

ходить примитивно. Он драматичен и трагичен. Каким же образом он вселял в меня мужество и энергию в труднейшие дни и годы моей жизни? Вот один из главных, по моему мнению, вопросов, когда речь идет об этом очень горьком во многом поэте. У трагического Лермонтова мы найдем сильных духом героев. Достаточно вспомнить купца Калашникова, Мцыри, мятежного Демона, осмелившегося восстать против самого небесного владыки. У Тютчева нет таких героев — он остался лириком и поэм не писал. Но он сам крупный человек, беспощадно правдиво выражавший в лирике свои глубокие чувства, серьезнейшие переживания, горе и страдания человека. Дело в том, что все истинно трагическое в большом искусстве несет людям не уныние, не отказ от жизни и борьбы за все лучшее, а вселяет энергию, мудрость и мужество. Это я испытал на самом себе, читая и перечитывая Тютчева и других трагических поэтов в самые тяжелые для меня дни, когда я больше всего нуждался в мужестве и стойкости. Трагическое в поэзии действует на нас своей неподдельностью и суровой правдивостью, открывая нам глаза на многие нешуточные стороны жизни, возвышая, закаляя нас и наши чувства, придавая зрелость нашим взглядам на жизнь. Оно учит мужественно смотреть в лицо горестей и потрясений. Трагическое в искусстве всегда рядом с героическим. В оптимизме трагедии заключена великая сила. С ней разве сравниться мелкому и глупому бодрячеству?

2

Сказанным я вовсе не собираюсь отрицать значение жизнерадостного искусства. Мне ведомо, что для человека нет ничего лучшего, чем радость. Но в данном случае речь идет о другом — месте и значении трагического в поэзии. Я уверен в том, что людям одинаково нужны светлые и горькие песни. Такова жизнь. В ней есть не только счастье молодости, но и горе старости, не только радость победы, но и боль поражения. Заблуждаются те, которые полагают, будто трагическая поэзия не является поддержкой и опорой человеку в его чаще всего трудной жизни. Это неверное мнение опровергается и лирикой Тютчева. Я веду разговор не об унылых жалобах, а о высокой трагедии и ее правдивой мощи, когда человек видит себя человеком в наиболее полном значении слова. Истинная поэзия в любых случаях остается явлением праздничным, ибо она — выражение всего

прекрасного, живой голос самой жизни. Она остается необыкновенной, если даже говорит самыми обыкновенными словами о самых обыкновенных вещах. Без трагических поворотов, без горя, без смерти и гибели героев жизни и победы не бывает. Такова жизнь. Поэтому поэзия не вправе отказаться от трагического, и думаю, что не откажется никогда.

По существу, каждая из лучших миниатюр Тютчева — это маленькая трагедия с огромным содержанием. Возьмем любое из этих стихотворений; прочитаем заново и легко убедимся в верности сказанного:

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

Когда я приехал в белый город у Средиземного моря — Ниццу, первое, что пришло мне на память, были, конечно, эти стихи русского мастера. Я смотрел на синий простор моря, на белые Альпы, выраставшие из-за зеленых холмов, и снова, как в годы войны где-нибудь в Донбассе или у Сиваша, повторял пронзительные строки своего любимого Тютчева. Я еще в молодости, кажется, понимал, что каждая тютчевская миниатюра является маленькой законченной трагедией и совершенным произведением искусства, а теперь еще больше утвердился в этом мнении. Иначе не может думать тот, кто знает такие вот, к примеру, стихи удивительного поэта:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Вот вам большая трагедия человеческой души, которую гениальный художник сумел выразить двенадцатью строч-

нейших сторон тютчевской поэзии и мастерства — это его замечательная краткость, дающая стихам особую выразительность. Кто-то из поэтов сказал, что самые лучшие стихи — это самые короткие. Мы, разумеется, понимаем, что стихотворение плохим может быть и независимо от количества строк, но все же в настоящих стихах краткость имеет большое преимущество. Чем меньше слов, тем произведение выразительнее. И в этом отношении Тютчев остается для поэтов одним из лучших учителей в мировой поэзии. А в русской я, например, не знаю мастера, который мог бы в этом отношении состязаться с ним. Могучи и необыкновенно выразительны его стихи, полные мысли и пронизанные глубочайшим чувством. Глубина и мощная образность — вот где сила Тютчева. И это при предельной сжатости, небывалой до него в русской поэзии, несмотря на все ее величие и волшебство. И тут его уроки весьма значительны. Притом, мне кажется, нельзя садиться специально писать длинные или короткие стихи. Это зависит от характера дарования и мастерства. Но учиться все равно полезно.

Возвращаясь к вопросу трагического, мне еще хочется подчеркнуть: трагедия не имеет ничего общего с пессимистическим отношением к бытию, то есть — отрицанию смысла жизни и борьбы за нее. Героем трагедии бывает только крупный человек, как Отелло или Акоста. Гибель героя не является его поражением. Он погибает во имя торжества лучшего. Это также не позволяет трагическому произведению искусства быть пессимистическим. Лирический герой тютчевской поэзии тоже очень крупная личность — сам Тютчев. Трагедия не обезоруживает человека, а вооружает, становясь призывом к бесстрашию в борьбе против всего низкого, жестокого и несправедливого. Поэтому трагическое искусство является героическим. Глубина таких созданий поэзии, освещенных светом совести и мужества, несравненна, они каждый раз говорят о человеческом в самом человеке.

Поэзия Тютчева полна драматизма и тревоги за жизнь человечества, чувства ответственности за все происходящее на земле. Да, его муза не знала беспечных песен. Замечательный поэт дышал высоким воздухом драмы и трагедии. И в то же время его песнь совсем не мрачна и зовет нас не к бездне, а на высоты жизни. Таково большое искусство. Оно при любой тональности и окраске всегда остается источником энергии, мужества и мудрости, чего не скажешь о дешевом, трусливом и бессильном бодрячестве. Эти уроки,

наряду с другими могучими художниками, преподавал нам и Тютчев. Они непреходящи в нашей культуре. Люди, читающие стихи и чувствующие их, всегда будут наслаждаться шедеврами одного из крупнейших лириков мира. Каждая из его замечательных миниатюр — это открытие, доступное только гению. Если бы мы стали цитировать все его жемчужины, то пришлось бы переписать по крайней мере больше половины тютчевских стихов. Возьмем первые пришедшие на память строки:

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод...

Остановите внимание на второй строке и особенно на сравнении «как дым», и вы ощутите образную силу тютчевских стихов, неожиданность и точность его сопоставлений и уподоблений, могучую и неповторимую их метафоричность, мощь его мастерства. Мне кажется, что он и не думал о мастерстве, а овладел им одновременно с приобретением большой культуры. Могущество необыкновенного дарования привело и к редкому мастерству. Вот редкое явление: такой большой поэт иронически относился к своим стихам и особого значения им не придавал, ни о какой известности и славе не думал. Его больше всего интересовали вопросы будущего славянства и мировая политика.

Еще позволю себе привести несколько примеров, свидетельствующих о высоте тютчевского мастерства, о неотразимости и неповторимости его образов и находок:

И солнце медлило, прощаясь
С холмом и замком, и с тобой...

Прелестны эта подробность и это перечисление, когда солнце прощается с землей, уходя на закат. Надо же было найти такое! Как ни велики Пушкин, Лермонтов, Некрасов, но все равно Тютчев в родной поэзии высится прекрасной самостоятельной горой, не похожей ни на какую другую. Если каждый из его великих собратьев — Эльбрус, то он — Казбек. Вот еще две строки, дающие нам возможность ощутить силу замечательной образности и глубины тютчевской лирики:

Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно...

В свой горький час поэт-человек сказал горчайшие слова. Да, горчайшие, но и могучие. Каким зорким художником

он был, как хорошо видел все происходящее в природе, как тонко и самобытно закреплял их в чародейных стихах! Возьмем вот это коротенькое стихотворение:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде,—
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Таким малым количеством слов поэт сумел создать поразительную картину осени, точно выразил ее облик, душу и сущность. Трудно себе представить что-нибудь лучшее об осени во всем мировом искусстве, таком безмерно богатом гениями. Эти стихи остаются на одном уровне с самыми лучшими созданиями поэзии человечества. Подумать только! — как удивительно сказано: «бодрый серп», «паутины тонкий волос», «на праздной борозде», «пустеет воздух»! А как обворожительны две заключительные строки:

И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

А вот еще одно чародейное четверостишие:

Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

Тут не только не надобны, но и бессмысленны мои попытки толковать и разъяснять очарование таких созданий гения. Эти стихи настоящее чудо. И я преклоняюсь перед таким чудом.

3

А какой прекрасный гимн весне спел Тютчев. Его «Весеннюю грозу» знают все с детства. Но все равно давайте снова прочитаем ее вместе и лишний раз порадуем себя редким созданием поэзии.

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокопящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Эти заметки пишутся весной, когда снова цветет абрикос, как при Тютчеве, и вновь молод свет, первоначально прекрасен зеленый мир, на который поэт смотрел своими зоркими глазами. Весне с ее зелеными деревьями, травой, цветами я снова повторяю чудные тютчевские стихи, будто сам когда-то сказал их земной красоте. И еще полнее становится моя радость, рожденная весенним теплом и светом. Тютчев никому не уступает в зоркости видения природы, в умении сильно и тонко выразить ее явления. Он ведь писал:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Трудно назвать поэта более слитого с природой, более проникновенно ее чувствующего, чем Тютчев. Вспомним такие его шедевры, как «Весенние воды», «Летний вечер», «Осенний вечер», «Вечер», «Зима даром злится...» и многие другие стихи, написанные рукою гениального художника, совершеннейшего мастера. Каждое из этих стихотворений до сих пор дает нам громадную радость и наслаждение.

Мощь поэтических образов Тютчева и впрямь удивительна. Сошлюсь только на один пример. Вот строфа из стихотворения «Наполеон»:

Два демона ему служили —
Две силы чудно в нем слились:
В его главе — орлы парили,
В его груди — змии вились.

Обратите внимание на две последние строки, на их могучую образность, выразительность и энергию. Эта сила большого искусства и создает праздничность поэзии Тютчева при его драматизме и трагедийности.

Мне хочется остановиться еще на одной черте его поэзии, кажущейся мне очень важной. Он говорит о жизни не только предельно правдиво, но и беспощадно, ничего не приукрашивая, не подслащивая, не делая никаких поблажек ни жизни, ни себе. В этой высокой правдивости, искренности огромная сила совершеннейшей по форме поэзии Тютчева. Такая беспощадная правдивость присуща только могучим и великим художникам. Это та сила, которая делает искусство необходимым для людей. Разве не этой чертой отмечено творчество мировых гигантов — Рембрандта, Бетховена, Льва Толстого? Соединение необычайной глубины с высшей правдивостью и совершенством формы дало тютчевским стихам редкостную силу и могущество. Его лирика остается одним из лучших художественных и духовных достижений русского гения, сокровищем родного народа, так богатого великими художниками. Поэзия Тютчева остается большой школой для поэтов. Его уроки, как и уроки Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина, имеют громадное значение для всех, кто считает поэзию делом своей жизни. Федор Тютчев — один из самых глубоких и совершенных лириков в мировой поэзии.

4

Он необыкновенно воспел женщину. Его стихи о любви и женщине также остаются в числе лучших созданий всемирной лирики, до сих пор удивляя нас своей глубиной и высокой поэтической силой. Вот пример его благоговейного отношения к женщине:

Не раз ты слышала признание:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она создание —
Но как я беден перед ней...

Перед любовью твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюсь тебе...

Такое высокое мнение о женщине и дало поэту вдохновение и силу написать о ней те шедевры, которые не блекнут и не стареют. Глубоко драматическая судьба рано умершей Денисьевой, например, горячая любовь и память о ней породили

целый ряд стихов потрясающей силы и художественного совершенства. Чтобы мы могли ощутить, как горячо и самозабвенно писал Тютчев о женщине и любви к ней, прочитаем целиком одно небольшое его стихотворение:

Я очи знал,— о, эти очи!
Как я любил их — знает бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалось горе,
Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой.

И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волненья
И любоваться им без слез.

И в стихах о любви, как и во всем, Тютчев исключительно серьезен и глубок. Любовь, горе, страдание, красоту женщины поэт выразил с невероятной художественной силой и страстью. Искусство Тютчева именно страстное, очень страстное. Вот строки, подтверждающие только что сказанное мною:

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Каким неотразимым остается сравнение писем о бывшей любви с остывшей золой! Эти замечательные стихи я цитирую даже не столько для подтверждения верности моих скромных мыслей, сколько для своего удовольствия — повторить их лишний раз так приятно и хорошо.

Тютчев являлся одним из умнейших людей своего времени, был остроумным и мудрым собеседником. Он не переносил одиночества. Его остроты быстро распространялись и были широко известны. Он вообще был великолепен. Человек такого обширного ума и огромного таланта, как это ни странно, долго оставался в числе второстепенных поэтов. Гений, причисленный молвой к стихотворцам второго разряда, как это парадоксально! Только Некрасов впервые назвал его перво-

степенным русским поэтом. Бывало, его забывали, не издавали, о нем не писали. Было всякое. Между прочим, это тоже большой урок, говорящий о том, что прекрасное все равно найдет у людей свое место. Только важно, чтобы то, что человек делает, было хорошо сделано. В наше время Тютчев занял в литературе свое место гениального поэта, совершенного мастера.

Говоря о художественной силе поэзии Тютчева и его мастерстве, я сознательно не коснулся его политических взглядов и философских воззрений. Это не потому, что мне хотелось отрывать друг от друга мировоззрение и талант художника. Совсем нет. Просто в своих беглых заметках я ставил себе более скромную цель. Мне, конечно, хорошо известно, что Тютчев всю жизнь горячо интересовался политикой, зорко следил за всем, что происходило в мире. Все это нашло исчерпывающее отражение в работах специалистов, и я в своем кратком этюде не смог коснуться этой стороны жизни поэта.

Летом 1956 года мне впервые довелось побывать в совнаркомовском кабинете Ленина. Там, среди других, я увидел и книгу Тютчева. Думаю, что Владимир Ильич в рабочем кабинете держал только те книги, которые являлись самыми для него необходимыми. Значит, поэт Тютчев был необходим для вождя революции! Это говорит о многом. В тот день я был удивлен и обрадован.

Поэзия, как и реки, имеет свои истоки. Ими для нее всегда остается не только живая жизнь, но и опыт старых мастеров, среди которых мы с любовью и благодарностью называем имя Федора Тютчева. Мы обязаны ему многим. Спасибо ему за радость, которую дают его шедевры, и за нестареющие уроки поэзии. Нам остается только уметь учиться и стараться быть, хотя бы в малой степени, достойными своих предтеч — великих мастеров.

Эти заметки, как я уже предупреждал выше, являются только попыткой выразить мою признательность и любовь к одному из моих любимцев, гениальному мастеру. Не зря выдающийся лирик и его современник — А. Фет на книжке Тютчева сделал такую замечательную надпись:

Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Лев Толстой сказал о Тютчеве: «Без него нельзя жить». А я могу лишь сказать: «Как хорошо, что знаю Тютчева!»

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ФЕТА

1



Говорят, что Фет был жестоким помещиком-крепостником. Он в своих очерках и статьях даже упрекал власти, считая, что они плохо защищают помещиков и собственность их от крестьян. Тончайший лирик и в то же время суровый крепостник, очень практичный хозяин. Кажется странным, однако так и было. А раз это так, то о реакционности его взглядов на литературу, философию, историю и социальную основу жизни и говорить нечего. Для нас же — он прекрасный поэт, выдающийся лирик, без которого даже такая великая поэзия, как русская, не может обойтись. Как странно было бы, если бы вдруг не стало поэзии Фета. Случись так, то это было бы равно исчезновению одной из больших гор Кавказского хребта. Как же он совмещал в себе практичного помещика-крепостника и замечательного лирика? Это интересует меня.

Тут мне кажется не лишним вспомнить стихотворение Пушкина «Поэт», вернее — его первую строфу:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Пушкин, по-моему, имел в виду то, что никто не может оставаться поэтом ежедневно, ежечасно. Поэт тоже человек

и занят житейскими делами, как все люди, исключая часы творческой работы. А все же суть пушкинских строк, по-моему, можно отнести и к Фету.

Да, крепостника спас от забвения дар поэта. Так случилось не с одним только Фетом. История мировой литературы отмечена подобными фактами. Боже мой, какие чудные стихи оставил после себя людям этот бородатый человек-помещик, практичный хозяин! Нет, это сделал не помещик Афанасий Афанасьевич Шеншин, а поэт Афанасий Фет. Это были разные люди под одной оболочкой. Мы знаем и почитаем не помещика Шеншина, а чудесного лирика Фета. А разве мы чтим в Гёте веймарского министра, который, кстати сказать, унижительно долго ждал в передней, добиваясь приема у Наполеона, чего Бетховен, например, не позволил бы себе никогда? Нет, мы почитаем поэта Вольфганга Гёте, оставившего миру свою бессмертную лирику, «Фауста» и «Эгмонта».

Многих художников, даже независимо от их мировоззрения, талант спасал от забвения. О, как он драгоценен! Оказывается, даже у очень крупных талантов взгляды на жизнь не всегда бывают, как говорится, прогрессивными. И Фет один из них.

Когда я юношей стал читать Фета, помню, какое сильное впечатление произвело на меня одно его маленькое стихотворение, которое с тех пор я знаю наизусть. Сколько раз за свою жизнь я повторял его! У Фета, наверное, есть стихи глубже и лучше. Но это очень дорого мне. Вот оно:

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

Это я без колебаний могу назвать шедевром. Его написал двадцатидвухлетний поэт. Стихотворение, по моему мнению, удивительно прежде всего тем, что в нем точнейшими и скупыми средствами создана совершенная картина русской зимы, зимней степи. Здесь совсем мало слов и много прелести, нет рассуждений и много поэзии.

Фет не только в одном раннем маленьком шедевре так экономно и скупое использовал слово и образ. Нам есть чему учиться у него. Он — выдающийся лирик, один из лучших

мастеров короткого стихотворения. Его лирика остается похожей на неувядающее дерево. Потому-то и я, увлекшись, начал писать эти заметки без чьей-нибудь просьбы, просто так — для своего удовольствия. Да, читать таких поэтов, как Фет, стоит — это одно наслаждение, и учиться у таких мастеров стоит — они научат многому. Фет из семьи истинных художников. Я причисляю себя к тем литераторам, которые считают нужным и полезным уметь видеть главное и лучшее в каждом мастере прошлого и учиться, а не думать, что самый крупный мастер это ты сам.

Вернемся к маленькому шедевру Фета. Подумали ли вы о том, какую обширную картину он набросал несколькими строчками? Тут и степная равнина, и луна над ее белизной, и блеск снега. А как хорошо и верно вот это: «И саней далеких одинокий бег». Такая вещь могла быть написана только в России и только русским поэтом. Это типичная российская картина, точно замеченная, выражение любви русского поэта к своей заснеженной земле, к ее неповторимому своеобразию и красоте. Без большой любви невозможно рождение таких стихов. Кажется, что в картину, нарисованную восьмью строчками, поэту удалось вместить всю свою великую землю. Такое по плечу только очень крупным художникам. Да, конечно, созданиям такого мастера суждена долгая жизнь. Помещичьи усадьбы, судьба которых тревожила Фета, давно перестали существовать, а его изумительная лирика, полная правды человеческой души и красоты родной земли, продолжает жить и сегодня, по-настоящему волнуя и радуя людей. В этом сила большого искусства.

В стихотворении «Муза» Фет очень ясно сказал о сути собственной поэзии, определил те задачи, которые ставил перед собой как художник. Вот что он писал:

Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.

Каждый, кто интересовался Фетом, знает, что поэт отрицал социальную значимость искусства, а также не верил в возможность улучшить существование людей, их жизнь через социальные перемены. Он был уверен в извечности человеческих страданий, став приверженцем философии Шопенгауэра. Все это так. Но невозможно отрицать и того, что звать к высокому наслаждению и к человеческому счастью поэзии никогда не будет возбраняться.

И в этом Фет достиг больших высот, стал одним из крупнейших лириков России и мира. Творчеству социально значительных, демократических поэтов он противопоставлял «безумную прихоть певца». Это всем известно. И я в моих беглых заметках не ставлю себе задачей заниматься выяснением социально-политических и философских корней поэзии Фета. Мне просто хотелось очень коротко сказать о его мастерстве. В любом из художников нельзя искать того, что в нем не могло быть, на что он не был способен по своей природе. Каждый творец хорош именно своей индивидуальностью. Надо только уметь находить в нем главное, лучшее.

2

Русская поэзия с самого начала своего расцвета с проникновенной любовью к отчей земле воплощала образы родной природы, которая бесподобно воспета поэтами. Ее волшебным певцом был и Фет. Глазами художника он видит рассвет, сумерки, утро, ночь, дождь, снег, весну, лето, осень, зиму и умеет точнейшими образами выразить их, передать словами и закрепить как бы впервые замеченные и увиденные человеческим глазом оттенки до него никем не использованными средствами. Слова его очень часто кажутся впервые сказанными. В этом неувядающая свежесть, оригинальность и сила стихов Фета о природе. Вот один из множества примеров:

Я люблю игру денницы
И замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

Последние две строчки этой строфы и являются впервые сказанными в поэзии, ставшими поэтическим открытием. Таких открытий у Фета чрезвычайно много. Это и сделало его прекрасным поэтом, одним из оригинальных мастеров. Мне хочется целиком привести его совершенный, на мой взгляд, шедевр «Еще майская ночь»:

Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор,
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной — и последней, может быть.

Все стихотворение пронизано весенним светом, пленяет мастерски переданными деталями весны на русской земле. Как сказано о звездах, которые дороги всем живущим: «Тепло и кротко в душу смотрят вновь!» Как это хорошо, свежо и оригинально. О звездах поэт говорит, что они теплые. А какое замечательное сочетание: «Разносится тревога и любовь». В том же ряду и «застенчиво манит», и «невольной песней». Фет также заметил дрожание зеленых листьев майской ночью. А как здорово вот это: «вылетает май!»

У Фета поразительно зоркие глаза. Вот что он увидел в вечерней степи:

Клубятся тучи в блеске алом,
Хотя в росе понежиться поля,
В последний раз, за третьим перевалом,
Пропал ящик, звеня и не пыля.

Остановите свое внимание на «звеня и не пыля». Это так хорошо найдено и замечено, что тоже кажется впервые сказанным. Или:

Вот жук взлетел и прожужжал сердито,
Вот лунь проплыл, не шевеля крылом.

А еще:

Луна чиста. Вот с неба звезды глянут
И, как река, засветит Млечный Путь.

«Луна чиста». Надо же найти такое! А «не шевеля крылом», «и, как река, засветит Млечный Путь»? О жуке сказано: «прожужжал сердито». Все это, как и многое в его поэзии, блестящие открытия Фета, жемчужины и шедевры великой русской лирики, волшебное явление в ее волшебном мире. Тут необходимо подчеркнуть одну характерную черту истинных художников, свойственную и Фету, — оригинальность без оригинальничания. Для него оригинальность — подобно собственному дыханию, также естественна, как и то, что он ест, пьет и смотрит на снег или дождь, видит поле и облака над ними.

Фет не только поэт природы, хотя я и начал свой этюд с этого. Он также чудесно выразил в своей лирике человеческую душу, ее радость и боль, страдания и надежды, человека, его любовь, стремление к совершенству, тягу к прекрасному, счастье молодости и горе старости. При всем этом в его поэзии много света, весенних мотивов, хотя хватает и осенних, как у всякого большого художника. Жизнь остается жизнью. Поэт не может не думать о горечи, о краткости существования человека на свете. Лирика Фета полна добрых чувств и сердечной нежности. Вспомним одно из самых известных его стихотворений. Грешно было бы не процитировать его целиком:

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь,— но только песня зреет.

Это такая жемчужина лирики, что разбирать ее, прибегнув к помощи холодного рассудка, кажется непозволительным шагом. Сколько тут доброты, радости, любви к женщине, к жизни, сердечности. И все это высказано так изумительно поэтично. В ней опять находки, доступные только редким талантам. Смотрите, как сказано о лесе: «Весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся». А какой удивительной, как вздох человеческого сердца и шелест зеленой ветки, строкой начинается это лирическое чудо. «Я пришел к тебе с приветом...» Я уверен в том, что это одно из самых удивительных созданий мировой лирики. А оно написано Фетом, когда ему было всего двадцать три года!

Фет бывал не только тонким и изящным, но и очень глубоким поэтом, поднимавшимся до трагических высот, до тют-

чевской пронзительности мысли. Иначе и не могло быть с художником такого огромного дарования. В связи со сказанным хочется полностью процитировать одно из глубочайших, на мой взгляд, его стихотворений — «Старые письма».

Давно забытые, под легким слоем пыли,
Черты заветные, вы вновь передо мной,
И в час душевных мук мгновенно воскресили
Все, что давно-давно утрачено душой.

Горя огнем стыда, опять встречаются взоры
Одну доверчивость, надежду и любовь,
И задушевных слов поблекшие узоры
От сердца моего к ланитам гонят кровь.

Я вами осужден, свидетели немые
Весны души моей и сумрачной зимы.
Вы те же светлые, святые, молодые,
Как в тот ужасный час, когда прощались мы.

А я доверился предательскому звуку, —
Как будто вне любви есть в мире что-нибудь!
Я дерзко оттолкнул писавшую вас руку,
Я осудил себя на вечную разлуку
И с холодом в груди пустился в дальний путь.

Зачем же с прежнею улыбкой умиленья
Шептать мне о любви, глядеть в мои глаза?
Души не воскресит и голос всепрощенья,
Не смоет этих строк и жгучая слеза.

Если бы даже нам было известно только одно это стихотворение Фета, и тогда мы имели бы право считать его крупнейшим поэтом, первоклассным художником. В этой маленькой трагедии боль и раскаяния души, воспоминания и сожаления о легкомысленно отвергнутой когда-то любви, о невозможности вернуть ее.

Все это сказано с такой художественной силой, искренностью, такой беспощадной к себе откровенностью, в такой безупречной форме, что и это стихотворение становится потрясающим душу человеческим документом, жемчужиной поэзии. Маленькой миниатюрой разрешена тема большой трагедии. Краткость, лаконизм и выразительность Фета прекрасны. Они присущи всей его поэзии. Порой этот мелодичный поэт становится сурово-афористичным. Вот как завершается его стихотворение, обращенное к Шиллеру:

С тех пор у моря света вечно
Твой голос все к себе зовет,
Что в человеке человечно
И что в бессмертном не умрет.

Вспомним знаменитую надпись на книге стихов Тютчева.
Вот ее заключительная строфа:

Но муза, правду соблюдая,
Глядит — и на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Это замечательно своей афористичной точностью и выразительностью.

4

Выше мы говорили о непосредственности лирики Фета. Вообще это свойство поэзии мне лично кажется незаменимым. Для подтверждения сказанного приведу только две строчки:

Как ярко полная луна
Посеребрила эту крышу!

Это так просто, раскованно и непосредственно, что кажется сказанным Есениным. Образы в лирике Фета, их неожиданность, подобная внезапно грянувшему дождю или раскрывшемуся на заре цветку, оригинальность сравнений, сопоставлений и сейчас вызывают радость, дают эстетическое наслаждение. В этом мы легко убедимся, обратившись хотя бы к одному из его коротеньких стихотворений — «У камина»:

Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек.

Видений пестрых вереница
Влечет, усталый теша взгляд,
И неразгаданные лица
Из лепла серого глядят.

Встает ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

Это стихотворение — совершенно по своей глубине и образности. Как неожиданно и замечательно, например, сравнение вьющегося огонька с мотыльком, который «плещет на багряном маке»! Притом крыло мотылька Фет называет лазурным. Такие стихи в моем толковании и разборе, конечно,

не нуждаются. Подобные жемчужины даже цитировать — радость и наслаждение. Прежде чем закончить разговор о красоте, совершенстве и могуществе лирики Фета, вспомним еще две знаменитые его строчки, пронизанные светом доброты и душевной щедрости. Такие стихи могут быть сказаны только на рассвете, их могут породить только нежность влюбленного сердца и самоотверженная любовь:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит...

Счастливые строки! Они так просты и прекрасны, как есенинское:

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!

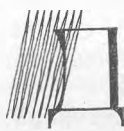
Такие песни поют, наверное, птицы первому дню весны, первой траве и первой зелени листьев. Их весенние песни слагались бы именно из таких слов, если бы птицам требовались слова.

Перечитав Фета в эти дни, я снова удивился его таланту, редкому и подлинному. У него был не только зоркий глаз, но и чуткое ухо. Он своей лирикой закрепил все дорогое ему в родной природе, глубоко выразил человеческую душу, ее тончайшие переживания и все оттенки чувств. Иногда даже кажется, что его лирика, как музыка, выразила невыразимое словом. В ней заключена прелесть русской речи и ее неповторимых звуков, вобравших в себя шелест дождя на ветвях березы, шуршание созревшего колоса и зеленой травы. Поэтому мне было так хорошо, когда я выводил эти скромные строки, не претендующие ни на что, кроме любви к поэзии Фета.

Перечитывая замечательного мастера, я все время думал о том, как богата и прекрасна русская лирика, как сказочно ее чародейство, какое это волшебное явление культуры человечества!



ОГОНЕК В ТУМАНЕ

Даже маленький огонек, мерцающий в тумане,— радость, когда твой путь тяжел, а сам ты устал и валяешься с ног. Мне это не раз приходилось испытывать. Я знаю, как радуется светлячок, горящий под деревом, в траве, когда темно вокруг и нет ни огня перед тобой, ни звезды над тобой. А светлячок горит тебе на радость, и ты благодарен ему, как свету надежды. Человеку каждый час должно что-то светить — огонь очага, звезда над дорогой, лицо и глаза матери или любимой женщины, улыбка ребенка, песня или стих, хорошие воспоминания, свет доброй цели или надежды. Да, человеку что-то постоянно должно светить. Иначе жить невозможно.

Это было в первые дни Отечественной войны. Нас, группу парашютистов-десантников, послали в разведку. Рожь, терпеливо выращенная латышскими крестьянами, была такой высокой, что в ней никто не увидел бы даже всадника. Так мне казалось. А немецкие пулеметчики и снайперы видели нас. Из нашей группы живыми вернулись к своим только я и еще один сержант. Да и его, тяжело раненого, я ползком вынес на спине. В тот день впервые в жизни мне привелось испытать такое большое горе — видеть гибель сразу нескольких моих товарищей, проводших со мной много дней, деливших трудности нелегкой службы военных парашютистов. В те дни не в книгах и кино, а наяву я увидел жуткий лик войны. Наши бойцы отважно бросались в бой, не щадя своей жизни, стражались, погибали, как храбrecы и герои. Но пре-

восходство в силе и удача тогда оказались на стороне врага. Советские войска, к нашему несчастью, отступали. Ах, какое это было горькое горе! Нас душила обида. Наши части, отчаянно сражаясь, отступали. А в высокой ржи, мокрой от дождя и крови, оставались мои мертвые товарищи, молодые, светловолосые, черноволосые, красивые! У них в глазах, оставшихся неприкрытыми, отражалось небо в облаках и наше горе. Да, в те дни я впервые увидел, как могут быть велики у людей боль и страдания!..

Теперь это может показаться приснившимся, но я рассказываю о случившемся на самом деле. Я полз во ржи в сторону своих, неся на спине раненого товарища. Мне надо было проползти за высокие кучи дров возле домиков. Я упорно и мучительно полз. Шел дождь. Земля была мокрая. В эти минуты, как это ни странно, мне на память пришла песня. Неожиданно зажегся свет, связавший меня с жизнью, как огонек в тумане, как светлячок под деревом, как звезда над полем. Продолжая ползти с короткими передышками, под пулями снайперов и пулеметчиков, сидевших на колокольне церкви, я стал повторять вот эти слова:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

Для меня было неважно, все ли слова «Песни цыганки» вспомнились мне в тот тяжкий час, но она оказалась со мной, как и в мои счастливые дни, казавшиеся теперь такими далекими и невозвратными. Важно было, что огонек в тумане и свет надежды уже горели для меня.

Кто может объяснить, почему именно эта песня пришла мне на память в минуты смертельной опасности? Нет, никто этого не сможет сделать. Да и зачем? Я не раз пел эту песню своим товарищам и девушкам в мои веселые и счастливые дни, и она пришла мне на помощь в мой горестный час, как надежда и неистребимая сила жизни, чтобы я не думал, что все уже кончено и нет жизни на свете. Я был благодарен прекрасной песне и тому, кто ее сложил. Мы с сержантом и песня добрались до своих живыми. Жив ли теперь тот белокурый парень, которого я вынес, мне неизвестно, но хорошо знаю, что «Песня цыганки» жива, и, наверное, многим она приходила с тех пор на помощь в трудный час, освещая их души своим добрым светом. Она и после меня долго будет жить, радуя и утешая людей, как меня тогда — летом 1941 года в высокой и мокрой ржи, выращенной терпеливыми руками латышских крестьян и растоптанной, погубленной войной. Какой прекрасной была эта рожь! И там остались мои това-

риши, навсегда остались! Никто из них не вернулся к матери, отцу, жене, детям!.. Ах, как горьки были те дни! Их может понять только тот, кто сам пережил их. Да, многие мои товарищи сгорели в огне тех дней. У многих из них ни могилы, ни имени — ничего!.. Не то чтобы я больше других хотел или умел спасти себя, нет, просто мне не суждено было сгореть вместе с теми бескорыстными храбрецами, навеки оставшимися молодыми в моей памяти. Хотя перед ними нет у меня ни малейшей вины, но все же я чувствую себя виноватым. Нет, я неправ, мы не подвели своих павших товарищей; общими усилиями, страданиями и мужеством спасли Родину, за которую они отдали свои молодые жизни. Это остается высшим утешением и оправданием гибели всех наших незабвенных друзей.

И после войны в мои горькие дни, которых было достаточно и без сражений на поле боя, песня, ставшая для меня дорогой и близкой, не раз приходила мне на помощь, и моей душе становилось опять теплей и легче, песня как бы забирала себе часть моей боли, дарила радость и утешение. И опять горел огонек в тумане, звезда над дорогой, светлячок в траве, свет надежды в душе. Каждый раз я думал, что Яков Петрович Полонский оставил людям бесценный дар, сделал им большое благо. Тот час, когда родилось это стихотворение, был счастливым часом поэта. Интересно, знал ли тогда Полонский, что он создал нечто замечательное? Едва ли. Да это и неважно. Важно другое — поэт написал стихи, которые, надолго пережив его, стали песней, остались с людьми и до сих пор служат им. Не это ли является высокой целью и счастливой участью для художника? Яков Полонский написал не только одну «Песню цыганки». В его наследии есть и другие замечательные стихи, живущие до сих пор, не потеряв своей свежести. Могу назвать «Пришли и стали тени ночи...», «Затворница», «Качка в бурю», «Ночь», «Колокольчик». Но мне особенно нравится стихотворение «Дорога». Хочется целиком процитировать его:

Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Как кони ни бегут, мне кажется лениво
Они бегут. В глазах одно и то же:
Все степь да степь, за нивой снова нива...
— Зачем, ямщик, ты песни не поешь?

И мне в ответ ямщик мой бородатый:
«Про черный день мы песню бережем».
— Чему ж ты рад? — «Недалеко до хаты —
Знакомый шест мелькает за бугром».

И вижу я — навстречу деревушка;
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды... Знакомая лачужка!
Жива ль она? Здорова ли с тех пор?..

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал — покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.

— Ну-ну, живей! Долга моя дорога;
Сырая ночь — ни хаты, ни огня...
Ямщик поет. В душе опять тревога...
Про черный день нет песни у меня!..

Мне хочется подчеркнуть, что лучшие стихи Полонского обрели долгую жизнь, были любимы читателями и высоко ценились такими крупными поэтами, как Блок, потому что они, при значительной культуре, непосредственны, искренни, естественны, то есть им присущи те качества, которые делают лирику близкой человеческому сердцу. Иначе бы «Песня цыганки» не вспомнилась мне в один из самых драматических моих дней на войне. Умение сочинять стихи, даже самое ловкое, не создает таких вещей. Это нечто другое.

Каждый из талантливых художников, работавших до нас, остается в той или иной степени нашим учителем, в той или иной мере обязательно помог каждому из нас. Только потому я и решил написать о Полонском — русском лирике прошлого века. Слабо одаренный человек не мог создать «Песни цыганки». Нельзя умалять значение таких поэтов в развитии и истории поэзии. Мы обязаны относиться с уважением и благодарностью к каждому из тех художников, которые сумели оставить нам хотя бы одно произведение, равное «Песне цыганки». Думаю, что Яков Полонский сыграл свою роль в истории русской культуры и заслужил признательность тех, кому нужна и дорога поэзия. Литература создается общими усилиями людей разной степени дарования, а не только одними могущественными талантами.

Стихотворение «Песня цыганки», сыгравшее в моей жизни значительную роль, — простое, незатейливое, написано по законам лирической поэзии, оно неподдельно и непосредственно. Таким бывает только настоящее, я повторяю, произведение искусства. Я люблю это стихотворение старого масте-

ра, кажущееся мне шедевром, и многим обязан ему. Поэтому хочу переписать его целиком и прочесть вместе с читателями моих заметок.

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет — и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни!
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя,
На коленях у тебя!

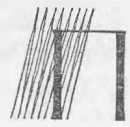
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Благодарю тебя, горячая и добрая песня. Ты — ласточка в полете, багровение цветка, дрожание листа на березе, звон ручья на заре. Оттого-то и поэзия ты, и каждый день кому-нибудь светишь. Живи, радуя людей, как меня, помогая им, утешая их в боли, украшая праздники и торжества. Пусть поет тебя побольше счастливых людей! А тем, кому снова будет трудно, свети, как огонек в тумане, звезда над пашней, светлячок в траве, свет надежды в душе! Я знаю, ты долго будешь жить, не ведая старости. Такова участь настоящих песен. Счастлив поэт, сумевший сложить хоть одну такую, как ты, песню. Час твоего рождения был его звездным часом. Спасибо ему. Свое сердце он оставил людям.

1973




С СОЛНЦЕМ В КРОВИ



Прежде всего для людей важны и интересны произведения художника, то, что создано и оставлено человечеству,— непреходящая сила и красота его творений. Максим Горький занимает особое место среди всемирно известных писателей. Удивительны не только его произведения, но и жизнь. Выходец из самых низов народа, он сумел подняться на вершины художественного творчества. Какая для этого нужна была сила таланта, воля к жизни и творчеству.

В самые темные и унылые годы реакции Горький пропел гимн человеку-созидателю и свободе.

Во славу радости были сказаны свежие, полные достоинства слова: «Человек — это звучит гордо!»

В душевные и унылые годы, когда всякое проявление мужества казалось бессмысленным, художник пропел гимн человеческой отваге: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

В те годы, когда чаще всего раздавались в поэзии унылые замогильные голоса, Горький с наслаждением повторял солнечные слова ростановского Сирано де Бержерака: «Мы все под полуденным солнцем и с солнцем в крови рождены...»

Горький любил и понимал Кавказ. Он писал: «Я так горячо люблю эту прекрасную страну, олицетворение грандиозной красоты и силы, ее горы, окрыленные снегами, долины и ущелья, полные веселого шума быстрых, певучих рек, и ее красивых гордых детей».

На Кавказе, который значит так много для русских поэтов, был напечатан и первый рассказ Горького. Благословен-

ны земля и небо, горы и люди страны, где за свой беспримерный подвиг был прикован богами к скале титан Прометей, были дороги Горькому — Прометею новой культуры человечества. Он до конца жизни следил за ростом литератур кавказских народов, радовался успехам наших писателей, отмечал их в своих статьях и беседах. Я говорю об этом, чтобы подчеркнуть несокрушимое чувство интернационализма и братства, которыми так дорожил гениальный русский писатель. Об этом никогда не можем забыть мы, советские литераторы.

Мир знал немало великих романистов и рассказчиков и до Максима Горького. Но Горький занял особое место среди выдающихся мастеров, как первый великий художник трудящихся. Он сказал новое слово во всемирной литературе, в которую вместе с ним пришли совершенно новые герои. Он впервые так мощно и во весь рост изобразил пролетариев, стал первым великим певцом революции, несгибаемым борцом.

Одним из главных заветов Максима Горького мне представляется защита трудящегося и мыслящего человека от посягательств на его достоинство, свободу и жизнь со стороны угнетателей всех мастей и любителей грабительских войн. И ныне на земле достаточно врагов у горьковского Человека. Ведь силы зла сегодня угрожают не только человеку, но и самой Жизни. Но мы, советские люди, будем по-горьковски верить в светлый смысл жизни и в ее непобедимость.

Опыт крупной творческой личности — всегда школа для других. И в данном случае Горький как основоположник советской литературы, ее первый классик занимает особое положение.

Пожалуй, не найдется литератора в нашей стране, какой бы национальности он ни был, который не учился бы у Алексея Максимовича и не испытал бы его благодатного влияния.

Горький считал писателя учителем жизни. И прежде всего им был он сам. Таким он и остался в памяти тех, кому дороги литература и культура.

Мы верим в будущее человечества и бессмертие его труда и культуры, как верил в это Горький.

Пусть лучшим выражением нашей любви к великому писателю-гуманисту будет мужественная защита Жизни и Человека от всех посягательств. Пусть живет и побеждает на бессмертной земле горьковский человек-творец.

ЛЮБОВЬ И БОЛЬ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

1

Большой, всепоглощающей любовью Есенина до конца оставалась Россия. Он страстно, самозабвенно был привязан к отчей земле, ко всему живому и милому на ней: свежей борозде, белой березке, лунному свету на крыше крестьянского домика, желтизне созревшей ржи, белизне снега на дороге, полю, лугу, цветам, животным. За год до смерти он писал:

До сегодня мне еще снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Не только жизнь, но и смерть свою поэт хотел связать с Родиной:

Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть.

Умереть спокойно ему не было суждено. Быстро промелькнувшая его жизнь кончилась трагически.

Мне кажется, что никто из его собратьев с такой обнаженной откровенностью не сказал о своей любви и боли, как это сделал Есенин. Я, например, не знаю другого поэта, который бы так не щадил себя и свое сердце, был бы так смело откровенен. А это, по-моему, главная черта лирика, придающая его голосу ту пронзительную силу, которая действует неотразимо.

Сергей Есенин еще юношей точно определил и горячо выразил свое отношение к любимой им России:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Отсюда — от самозабвенной любви к отчей земле шло все в его лирике — и радость, и боль. Могут сказать: любовь и радость — да, а при чем тут боль? Мне понятна вся наивность такого вопроса, когда речь идет о гениальном лирике, поэте с таким обнаженным сердцем, одинаково распахнутым ночи и рассвету, радости и боли. Однако в разных аудиториях часто его задают. Поэтому и в этих заметках я попытаюсь ответить на него, конечно, по мере сил. Что же касается любви и радости Есенина, то мне хочется сказать, что даже в его трагических стихах облик родной страны с ее полями, колосьями, деревьями, синевой неба над равниной, облаками, снегом, дождем, звездами над селением — оставался для него радостью и любовью. Он был счастлив тем, что видел все это:

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз.
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Дышать воздухом родной земли, видеть солнце над ней и ее людей, их труд, слышать ее песни, смотреть на ее скачущих коней с их потными крупами, на быстрые сани в зимней степи, следить за птицами над полем и лесом, внимать их гомону — оставалось радостью, блаженством для поэта, в жизнь и душу которого все это вошло с раннего детства. И все это он выразил с горячей любовью, нежностью, необыкновенно образно, неповторимо самобытно, неотразимо сильно.

Как хороши стихи, обращенные к клену, стоящему под зимней метелью.

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел...

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дому с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревший в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

Для меня это невероятные стихи. В них воображение поэта, художественная прелесть, душевная нежность, огромная образная сила удивительны. Все это сказано прекрасно и волшебно. Иногда мне кажется, что такие стихи могут присниться только во сне. Подобное может написать, конечно, только человек гениального дарования, в душе которого живет огромная любовь и невыразимая привязанность ко всему сущему на земле, милостиво дарованному жизнью нам, смертным.

2

Вернемся к искренности Сергея Есенина. Это вообще один из центральных вопросов художественного творчества, поэзии и искусства. Особенно же остро он ставится, когда речь идет о лирике — самой обнаженной, непосредственной, бесхитростной, самой эмоциональной и сердечной области литературы. «Я сердцем никогда не лгу», — сказал Есенин. И это было истинной правдой. Лучшее и неопровержимое доказательство тому — его поэзия. Посредственные стихотворцы обычно стараются казаться лучше, чем на самом деле, они пытаются рисовать себя умными, мудрыми, мужественными, благородными, добрыми — одним словом, им присущи лучшие человеческие качества, они никогда не ошибаются, не позволяют себе никаких дурных поступков, являются образцом во всех отношениях. Но это ни к чему не приводит — мертвые и фальшивые строки никого не могут убедить, белые нитки выдают притворство. Поэзия не игра в шараду. Высшая ее цель — честность и открытость. Таким открытым, неподдельным и был Сергей Есенин, чем и завоевал сердца читателей, приобрел небывало широкую аудиторию. У него не было ни малейшего притворства:

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мгlistом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Еще он утверждал:

Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Сумасшедшее сердце поэта — значит открытое всем ветрам, всей человеческой радости и боли, любви и горю, то есть — бескорыстное. Сердце Сергея Есенина — сердце истинного поэта — было от природы чистым и нежным, смелым и щедрым.

Он никогда не старался в своих стихах казаться лучше, чем он был на самом деле, не рисовался, откровенно говорил о своих ошибках и горьких заблуждениях:

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Я хочу сказать не только о любви и радости, но и о боли Сергея Есенина. Мне вовсе не кажется, что это так легко сделать. Но хочу подчеркнуть, что человека без боли вообще не бывает, а художника тем более. Это азбучная истина, но она полезна. Жизнь, как известно, никогда и ни для кого не состояла из одних праздников. У людей, к сожалению, бывают не только свадьбы, но и похороны. От законов жизни никуда не денешься. Они суровы и неумолимы. Люди подчинены им. Художник, должно быть, чувствует это острее других. Чем он даровитей и крупней, тем у него больше и глубже радость и боль. А Есенин — гений и к тому же лирик, невероятно остро чувствующий все и ранимый. Его обнаженное сердце являлось нежным, незащищенным, оно оставалось распахнутым и открытым для всех кинжалов, для всех человеческих чувств. Истинно крупные лирики быть иными не могут. Это их природа. Они очень далеки от притворства, от рассудочно-холодного и трезво-разумного отношения к жизни. Они — обнаженное сердце мира.

И в этом смысле Сергей Есенин принадлежит к созвездию редких мировых лириков. Такому поэту, доброму и отчаянному, смелому и нежному, выпало жить в сложные времена мировой войны и революций, в эпоху, когда ломалось все старое и мучительно трудно зарождалось и побеждало новое. Эмоциональнейшему человеку и художнику Есенину, больше жившему сердцем, чем головой, больше доверявшему чувству, нежели трезвому рассудку, разумеется, было трудно разобраться во всем происходящем, суровом и во многих отношениях беспощадном. Конечно, он, с его характером,

многого не понимал и не мог понять. Но стоило ли винить его в этом или отворачиваться от него, как это делали иные литераторы — лжеумудрецы и всезнайки? Нет, конечно. Говорят, Карл Маркс сказал, что поэты нуждаются в ласке. Но, к сожалению, с художниками нередко бывало так, что они не находили не только ласки, а внимания, понимания, порой — пощады.

Есенин — поэт, создавший шедевры поэзии. Этим он интересен и дорог людям. Так, по-моему, и надо относиться к нему. Он ныне признан великим национальным поэтом России. Уже стерты «случайные черты». Есенин — один из самых читаемых поэтов в мире.

3

Как ему порой ни было мучительно, Есенин оставался самим собой, верным себе и своей природе. Иначе он не был бы Есениным и великая русская поэзия не имела бы такого поэта.

Он, выдающийся русский поэт Сергей Есенин, остался таким, каким создала его сама жизнь. В этом его мудрость и мужество. Сергей Есенин — целая эпоха в русской лирике, одно из самых самобытных, оригинальных, неповторимых ее явлений. И, разумеется, он должен был быть именно таким, каким мы знаем его теперь, когда все ложные оценки остались позади, а время очистило его светлое имя от всего случайного и наносного, от дешевых легенд и мещанских сплетен. Поэзия Есенина ценна и неповторима именно такой, какая она есть, — с ее великой искренностью, самостоятельностью. Он выразил эпоху, в которую жил, совершенно самобытно. В его творчестве замечательно и радостное и горестное, потому что то и другое остается живым выражением живой жизни, самой действительности с ее противоречиями и трудностями, глубоким и редким человеческим документом, беспощадно правдивым и искренним, радостью и болью человеческой души, характерными для времени поэта — сложнейшего периода в истории России и всего мира.

Сергею Есенину казалось, что многое из того, что было ему так дорого, уходит безвозвратно, деревня гибнет. Это известно каждому, кто читал книги поэта и хотя бы часть написанного о нем. Я не ставлю себе целью углубляться в противоречия творчества Есенина, но пройти мимо них также не могу. Все это очень непросто. Мне думается, ему

порой казалось, что не станет даже любимых им берез и кленов. Да, он боялся за многое.

Эх, вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес,—

писал он и боялся, что не станет этих коней, таких красивых и резвых, на которых он ездил с детства, которых так любил. Ему было горько от сознания того, что живых коней заменят стальные. А разве художник может иначе относиться к тому, что любит, что дорого его сердцу? Тогда он не был бы художником. Только бездарным и равнодушным, ничего и никого не любившим, бывает все равно, что или кто умирает, лишь бы жили они сами. Что бы ни уходило из всего, что нам дорого на земле, любой уход, любое исчезновение не может не причинять нам боли и горя, независимо от причин ухода. Ничто весело не умирает. И честному сердцу Есенина было больно за многое. А быть иным он не мог. И, видимо, сам знал и понимал это.

Как сын крестьянина, выросший в деревне, разумеется, он больше всего любил крестьянскую жизнь, лучше всего знал ее. Себе он казался последним поэтом деревни:

Я последний поэт деревни.
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.

Так прощался с деревней самозабвенно ее любивший сын и паразитальный поэт. А вот еще более горькие строки:

И я, я сам,
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен,
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Да, от многого было больно ему, сказавшему: «Я улыбаюсь пашням и лесам». Но несмотря ни на что Есенин говорил родной земле:

Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Если бы мы сказали, что Есенину было легко, тем самым мы исказили бы его облик, допустили бы недопустимое. Образ поэта интересен именно во всей своей сложности и

противоречивости, в стремлении преодолеть трудности и драмы, в борьбе с самим собой. Сам он был до конца искренен в своем отношении к эпохе.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом
Я одной ногою.
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Это было трагедией Есенина, врывавшейся в его прекрасную поэзию. Само собой разумеется, что не нужно и вредно стараться сглаживать жизнь и творчество художника, смягчать противоречия, пытаться горькое выдавать за сладкое. В этом ни поэты, ни их память обычно не нуждаются. Им при жизни были ненавистны ложь, фальшь, притворство. Главная сила больших художников в их правдивости. И говорить о них надлежит правдиво. Есенин был прямой, бескорыстный, не думал ни о каком покое:

Беспокойная дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Противоречия жизни и творчества Сергея Есенина оказались настолько серьезными, что ему так и не удалось разрубить их узел. Любовь, радость, боль, заблуждения — все в нем было настоящим, неподдельным и осталось в стихах редчайшей самостоятельности, поэтической прелести и художественной силы. Таким и принял народ своего поэта-чудотворца, таким он вошел навсегда в историю советской культуры. Сергей Есенин в автобиографии писал: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Несмотря на все трудности и противоречия, он упорно преодолевал свою драму, стал советским поэтом и остался им. Он из тех мастеров, которые составляют честь и гордость нашей многонациональной поэзии.

4

Истинным в искусстве является и становится открытием только сказанное впервые. А это под силу только редким талантам. Таких счастливцев в каждую эпоху бывает не так уж много. Есенин из их семьи. Стихотворцев, без которых литература обошлась бы легко, не так уж мало,

несмотря на то что работа каждого из нас, авторов обычных скромных стихов, должно быть, тоже нужна. А вот без Есенина нельзя. Такие, как он,— Эльбрусы и Казбеки поэзии. Он из тех, кому удалось многое сказать впервые. Даже вот это раннее, написанное почти мальчиком, еще не успевшим приобрести самостоятельности, по характеру образов все равно относится к впервые сказанному в поэзии:

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечи.

Или:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

И еще:

Желтые поводья
Месяц уронил.

Это были собственные сравнения, уподобления и метафоры Есенина. Мне думается, что таких именно до него не было. Это им найдено и сказано впервые. При этом мне известно, что в свой начальный период он написал много несамостоятельных, слабых, подражательных стихов, как нередко бывает даже с гениальными начинающими поэтами. Так, к примеру, было с Лермонтовым. Выше я привел совсем ранние есенинские находки. В зрелой же его лирике множество удивительных поэтических открытий. Думаю, что никто, кроме Есенина, не сказал бы обыкновенному клену: «Словно за деревню погулять ты вышел...» Или:

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

А какой неожиданный поворот приняли его строки о деревенской печи:

Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Все лучшее в поэзии Есенина по оригинальной образности мне представляется впервые сказанным. Должно

быть, так и есть. Для поэта не может быть более счастливой участи. Великими поэтами и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова сделало впервые сказанное ими. Это в одинаковой мере относится к содержанию и форме в самом широком смысле.

Весь мир знает о давней и тесной связи русской поэзии с Кавказом, его народами, их культурой. К нашей радости, так случилось, что и Есенин оказался причастным к этой традиции, хотя он по характеру своего творчества очень русский поэт. Его встреча с Кавказом дала хорошие плоды. Здесь он написал много прекрасных вещей, в их числе и знаменитые «Персидские мотивы». В стихотворении «На Кавказе», видимо написанном до этого чудесного цикла, сказано:

Издревле русский наш Парнас
Тянулся к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Есенин видел ту же белизну снегов вершин, те же кремнистые дороги, что и Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Одоевский, Полежаев, Полонский, слышал тот же «гортанный разговор». Конечно, он не мог не написать о Кавказе, ставшем как бы вторым Парнасом для великой русской поэзии. Хорошо, что увиделись Кавказ и Есенин, как и Кавказ с Лермонтовым. Да, великие поэты России любили нашу землю, горы, небо над ними, зелень чинар и багровение кизила, свободолюбивых сынов гор. В этом очень повезло нам, кавказцам.

Хорошо, что Есенин увидел Кавказ. Мне здесь хочется помянуть добрым словом Петра Ивановича Чагина. Он, будучи секретарем ЦК компартии Азербайджана и редактором газеты «Бакинский рабочий», уговорил поэта ехать на Кавказ и очень по-доброму отнестся к нему, понимал его. Они стали друзьями. Недаром Есенин посвятил Чагину «Персидские мотивы», как и некоторые другие стихи того периода. Я очень хорошо помню Петра Ивановича, не раз с ним виделся, беседовал, слушал его рассказы о великом друге. Чагин поступил мудро, хотя и был молод. Хорошее отношение к большим поэтам зря не пропадает, дает свои плоды. Поездка на Кавказ была для Сергея Есенина исключительно полезной. В том же стихотворении, строки из которого я процитировал выше, он говорит:

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой

Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

Как видим, Есенин на свое пребывание на Кавказе возлагал большие надежды. Мы можем с радостью сказать, что они оправдались — Кавказ «научил его русский стих кизилowym струиться соком», он написал один из лучших своих циклов — «Персидские мотивы». И этого достаточно, если даже не говорить о других его шедеврах, созданных на Кавказе. Кроме того, русскому лирику были приятны и полезны встреча и дружеское общение с такими замечательными поэтами, прекрасными кавказцами-рыцарями, как Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани.

«Персидские мотивы», по моему мнению, самые счастливые стихи Есенина. Этот цикл — совершенный шедевр. Он пленяет и чарует. В нем выразилась вся врожденная чистота поэта, его природная нежность, необыкновенная привязанность к земле, ко всему прекрасному на ней, к жизни. Тут лучше, чем в любом из его произведений, мы ощущаем, что он был создан для любви и радости. Работая над этим циклом, Есенин освобождал себя от всего горького и мучительного, от боли и пьяного угара, забывал московские богемные литературные круги, возвращался к своей первозданной человечности, доброте и радости. Вот начальные строки цикла:

Улеглась моя бывая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Именно такое значение имели «Персидские мотивы» для их автора. Все это мы еще лучше поймем, если сравним хотя бы несколько строк о любви из восточного цикла с другими стихами на ту же тему. Вот пример:

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

О самых же знаменитых стихах, обращенных к Шаганэ, и говорить нечего. Они полны необыкновенной человече-

ской нежности, чистоты, сердечности. Это неповторимая песнь любви, рожденная в счастливый час. Должно быть, на земле так же появились свет, хлеб, огонь, вода, дерево, цветы, речь, любовь, радость.

Мне хочется обратить внимание на одну особенность «Персидских мотивов». В них Есенин с замечательным тактом слил русское и восточное, в них разлит воздух севера и юга. И это сделано так просто, так естественно, без натяжки и стремления специально создать какой-то особый колорит. Вот стихи, подобные шелесту травы предгорья, шуршанию колосьев русского поля, звону ручья в ущелье:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

А вот строки, как бы напоенные воздухом теплого южного полдня, похожие на синее небо Востока, пахнущие розами Ширази — родины великого поэта Хафиза:

Воздух прозрачный и синий.
Выйду в цветочные чаши.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни,
Воздух прозрачный и синий.

О таких стихах лучше ничего не говорить, а молча их повторять и удивляться, радоваться тому, что они созданы. Меня каждый раз удивляли в восточном цикле находки Есенина, которые так просты и естественны, что кажутся совсем легко найденными. Вот две из них:

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.

И еще:

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.

Горько ошибаются те, кто любит говорить о неназначенности и малой культуре Есенина. Для того чтобы создать «Персидские мотивы», надо было знать и хорошо ощутить поэзию Востока. «Персидские мотивы» входят в число самых лучших, волшебных стихов. Я в этом убежден.

Есенин писал о животных с такой нежностью, с таким сочувствием к их лишениям и несчастьям, что диву даешься. Такое отношение к животным, конечно, жило в нем с детства. Иначе он не мог бы написать «Корову», «Песнь о собаке», «Табун», «Собаке Качалова». Не зря он писал в поздних грустных стихах, сказанных в связи со смертью своего товарища:

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве.
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Только человек, очень любящий жизнь и все живое на земле, может так относиться к животным, так любить их и так писать о них. Мне доставляет удовольствие повторить еще раз стихи о корове. Давайте снова вчитаемся в них и подумаем, как это прекрасно и человечно:

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах,
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом сее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.

Это самые простые и самые прекрасные стихи из всех когда-либо написанных о животных. То же самое и «Песнь о собаке», в которой бедная собака бежала за хозяином, несшим в мешке ее щенят, чтобы утопить их. Но чем она могла помочь им?

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

А вот потрясающие заключительные строки:

И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

6

Сергей Есенин, как один из лучших лириков мира, все прочувствованное, пережитое, испытанное им за короткую жизнь превратил в шедевры поэзии. Он воспел землю, плененный ею, воспел любовь, как счастье, и счастье, как любовь. Воспел женщину так же сильно, как родные поля, как жизнь, как свет. Он так же нежно воспел мать, как и отчую землю. Он был рожден для любви, добра, радости и счастья, для поэзии. При всей незащищенности сердца Есенин был отважным человеком, мужественным художником. Гений другим, наверное, и не бывает.

Сказанным в моих заметках я совсем не утверждаю, что все написанное поэтом-чародеем равноценно и нет у него слабых вещей. У Есенина, как и у каждого художника, мы найдем произведения, слабые по содержанию и форме, обнаружим излишние красоты, легко заметим, что порой ему изменял вкус. Вот строки, которые я, например, не люблю:

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустил.

Мне кажется, что такие стихи почти находятся за гранью поэзии. Они как-то жеманны и рассчитаны на дешевый вкус. Да, в лирике Есенина встречаются и такие вещи. Но что это по сравнению с теми гениальными созданиями, теми шедеврами, которые он навсегда оставил людям! Любовь и боль Есенина, став нестареющими песнями, живут с людьми. Он дал особый язык полю, снегу, дождю, колосу, дереву, звезде, дороге, собаке, облаку — всему сущему и дорогому для живущих. Любовь и боль Сергея Есенина — это сердце великого поэта, открытое всем людям, всей жиз-

ни, всему миру. Великие художники пишут или плененные земной красотой, или потрясенные горем и несчастьем людей. Так писал и Есенин. Еще пройдут по нашей земле гениальные поэты. Но Есенин останется Есениным, о нем всегда будут люди говорить «как о цветке неповторимом». Его судьба и участь его победоносной поэзии стали одним из самых поучительных уроков. Поэты всегда будут возвращаться к раздумьям о сущности, природе и законах своего дела. Мир знает Сергея Есенина и будет знать всегда. Он один из самых читаемых и переводимых поэтов.

Каждый раз я открываю книгу Сергея Есенина с каким-то особым чувством. С таким чувством, должно быть, ступают на родную землю после долгой разлуки с ней, переступают порог отчего дома, смотрят в лицо и глаза матери, вернувшись после длительных скитаний, с таким чувством произносят имя любимой женщины и единственного ребенка. Во мне постоянно живет особая нежность к Есенину и признательность ему. Я люблю его стихи, как горы и деревья моей земли, как ее цветы и колосья, как лунный свет на скалах моего Чегема и крышах родного аула, где мать качала мою колыбель, когда крупные звезды смотрели на нашу саклю и лунный свет освещал плуг и гриву коня моего отца. Сергей Есенин — лирик из лириков. Он настоящий — вот, по-моему, самое подходящее для него определение. Даже в имени его есть что-то светлое и свободное. Несмотря на все трагическое в его поэзии и на горький конец пути, его имя легко и хорошо произносить, будто это лучшие слова сердечной песни.



ГОДЫ ВДОХНОВЕНИЯ

1

Е

го я люблю с тех пор, как стал читать книги. За эти годы менялись мои вкусы и отношение ко многим поэтам — к одним охладел, других отверг. Было всякое, как сказал Маяковский. А моя привязанность к поэзии Николая Тихонова осталась неизменной. Давно я хотел написать о нем статью, в которой были бы размешаны все краски. Мне хотелось сделать это в горах. Но получилось так, что пишу свои заметки в номере московской гостиницы. За окном ни гор, ни безлизы хребтов. А хотелось бы писать о Тихонове, видя рядом снега вершин и облака над скалами, писать, беседуя с ними. И не только потому, что облик Кавказа вошел в тихоновскую поэзию, но и потому, что в привычной обстановке, вблизи гор, работаете лучше. Мне ведь хотелось бы о Николае Семеновиче написать хорошо, насколько это в моих силах. Кроме всего прочего, я многим ему обязан. Он был внимателен ко мне, оставался опорой и поддержкой в трудные дни и годы моей жизни, проявил много заботы о молодом литераторе из Чегемского ущелья. Такое не забывается.

Хочется подчеркнуть, что своим безупречным отношением ко мне в тяжелые для меня времена Тихонов лишний раз доказал свою верность Кавказу, его горам и людям, о которых поэт писал влюбленно и мужественно. Не зря он много лет назад сказал:

Я не изгнанник, не влекомый
Чужую радость перенести,

Мне в этом крае все знакомо;
Как будто я родился здесь.

Первым чувством, которое всегда вызывала у меня поэзия Николая Тихонова, была праздничность. Он говорил мне, что в этом мире стоит жить и стоит работать. Такая праздничность вовсе не была ни бездумной, ни легковесной. Ведь настоящие праздники люди высекают из своего сердца в трудной борьбе. Это хорошо знает Тихонов — участник нескольких войн, боец революции, художник эпохи великих потрясений, трудных лет, озаренных трагическим светом невиданных до того сражений. А все же меня не покидает чувство праздничности, когда я читаю его книги. Весны без грозы не бывает, но приход ее всегда праздничен. Совсем молодой Тихонов в 1920 году, еще не успев снять шинель бойца гражданской войны, заявил:

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем,
Каждое желание простое
Осветить неповторимым днем.

Это было сказано человеком, у которого быт не был устроен, человеком, который ел кусок черного хлеба и запивал его водой. Но художник должен видеть не только тучи, а и знать, что за ними есть солнце. Боже мой! Сколько раз цитировались «марсианские» строки Тихонова, которые я приводил выше. Сколько бы их ни повторяли в течение десятилетий, они не потеряли ни своей свежести, ни света вложенного в них жизнелюбия.

В самом начале своего пути поэт утверждал, что стоит породниться с землей и глину замешать с огнем. Вот это волевое, действенное начало в стихах Тихонова дорого мне, как и миллионам его читателей. В этот мир мы приходим не для того, чтобы жить сложа руки. Такое существование было бы бессмысленным. Вот с чем я столкнулся, впервые раскрыв книгу стихов Николая Тихонова. Он предлагал мне «каждое желание простое осветить неповторимым днем». И я дышал высотным воздухом его мужественных, жизнеутверждающих, полных буйства красок стихов. Это поэзия восходителя, открытая большому миру, всем ветрам и лив-

ням, степным равнинам и вершинам гор, поэзия, славящая стремительность жизни, светлые деяния человека, его мужество и гуманизм, сердце бойца и мудрость мыслителя. Такая поэзия с самого начала не могла не покорить меня, жителя гор. Я вырос в том краю, где одновременно видел сверкающую белизну вечных снегов и багровение кизила, где упорство и мужество человека, мудрость слова и святость хлеба ценятся высоко. Поэзия Тихонова дорога мне не только потому, что он горячо любит Кавказ и так блистательно писал о нем и о его людях. Она близка моей душе всей жизненной сутью, мощным светом, которым она освещена изнутри, упорством восходителя и убежденностью жизнелюба. Мне кажется, что жизнелюбие является одной из основных черт, может быть, главной сущностью его творчества. Отсюда же идут все другие качества.

2

Думаю, что сегодня есть необходимость особенно подчеркивать силу жизнелюбия в творчестве выдающегося советского поэта. В наши дни мир тревожен, действительность становится все сложнее, а ответственность художника перед жизнью все большей. Может быть, она сейчас еще более серьезная, чем в те годы, когда Тихонов писал свои баллады, мужественные ритмы которых так соответствовали действительности. Считаю, что в наше время нужно с особым упорством отмечать преданность поэта живой жизни, ее дальним целям, его любовь ко всему светлому в мире и, наконец, его веру в непобедимость жизни. В атомный век человек нуждается в уверенности, что колос останется колосом, хлеб — хлебом и вода — водой. Художник, как никто, обязан сейчас быть поддержкой и опорой для человека. Такое отношение к жизни в наши дни мне представляется одной из главных задач поэта. Жизнелюбие художника никогда не будет отменено и навсегда останется сердцевиной творчества, ибо выше жизни нет ничего. И любовь к ней неизменно будет священной. В этом отношении уроки Николая Тихонова значительны для всех нас. Вот почему я и начал свои заметки с чувства праздничности в восприятии его поэзии. Возможность жить на земле поэт считает самым большим благом. Но он хочет жить творцом и воином. Вот почему он, будучи еще совсем молодым, заявил:

Я сердце свое, как боксер — кулак,
Для боя в степях берегу.

Жизнь не является дорожкой, ведущей по розам. А потому мужество не должно покидать ни хлебороба, ни художника. И в этом отношении урок жизни и творчества Тихонова имеет для нас большое значение.

Николая Семеновича я увидел впервые в горах Кавказа четыре десятилетия назад. К тому времени он уже успел сказать о себе:

Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над седою, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Сразу было видно, что он создан ладным и крепким, готовым перенести все, что жизнь ни пошлет ему. Я видел его таким. Он смотрел на вершины, вскинувшие снега к облакам, благословляя все высокое и прекрасное на свете. С тех пор прошло много времени. Мы пережили жесточайшую войну с фашизмом, знали горечь поражений и радость победы. Было много сложного и трудного в нашей жизни. Но каждый из нас трудился, делал свое дело. Николай Семенович все так же оставался большим поэтом и крупным общественным деятелем, возглавляющим движение советских борцов за мир. Он, старый испытанный солдат, всю свою жизнь отдавал свои силы и талант великому делу мира. Мы не в силах спорить с неумолимостью времени. На такое способна только поэзия. Это еще раз доказывается на примере лучших стихов Николая Тихонова. Они остаются молодыми и сегодня, когда прошли десятилетия после их создания. Такова участь всего значительного в искусстве. Годы, прожитые поэтом, явились значительными, как и его творчество, они были полны высокого смысла, напряжения, подлинной жизни, творческой энергии. Тихонов всегда жил, как восходитель, и дышал высотным воздухом деятельной жизни.

Молодой Тихонов принес в советскую поэзию, как один из ее лучших зачинателей и создателей, собственные ритмы и краски. Читатели сразу же почувствовали, что автор «Орды» и «Браги» шутить с жизнью и поэзией не намерен. Он был резок и определен. Радостные и горькие силы жили в его стихах бок о бок, что являлось верностью жизни. Он писал:

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,

И дети не пугались мертвецов...
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

Он был правдив с самого начала, как подобает таланту.
Утверждал: «Длинный путь. Он много крови выпил».
В нем слились воедино твердость бойца и нежность крестьянского парня, вдали от дома вспомнившего мать. (Это так, хотя я знаю, что Тихонов происходит не из крестьян.)

Вот строки, свидетельствующие о такой слитности, вот чистый человеческий голос, донесшийся к нам из тех далеких и суровых дней:

Когда уйду — совсем согнется мать,
Но говорить и слушать так же будет,
Хотя и трудно старой понимать,
Что обо мне рассказывают люди.

Из рук уронит скользкую иглу,
И на щеках заволоknются пятна,—
Ведь тот, что не придет уже обратно,
Играл у ног когда-то на полу.

Последние две строки каждый раз вызывают у меня слезы и делают Тихонова в моих глазах одним из тонких лириков века. Для своей молодой книги «Брага» Николай Семенович взял эпиграфом знаменитую строку Александра Блока: «...И вечный бой! Покой нам только снится...» К тому времени он уже знал, что значит бой, знал его цвет и запах. Поэт понял, что вечное движение жизни связано с вечным боем света с тьмой. Эту трагическую мудрость каждый постигает заново. Она не старится, как и сама жизнь и ее вечное движение. Такого трагического света и в то же время мужественной энергии полна «Брага» — одна из лучших книг советской поэзии, одно из замечательных поэтических созданий века. Как прекрасны и правдивы ее откровенные строки:

За море, за горы, за звезды спор,
Каждый шаг — наш и не наш,
Волкодавы крылатые бросились с гор,
Живыми мостами мостят Сиваш!

3

Тогда же высказал Тихонов и вот эту поэтическую истину:

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед...

Эти замечательные строки я взял из знаменитого «Перекопа». Соблазн все время толкает процитировать все стихотворение. Но это невозможно. Как мне нравится горькая энергия тихоновского шедевра! Я всю свою довоенную молодость знал и обожал стихи моего старшего собрата о Перекопе и Сиваше. Но я не мог тогда знать и предвидеть, что судьбе будет угодно бросить меня также в грозные бои на Сиваше и Перекопе, может быть, еще более жестокие, чем те, которые когда-то видел Тихонов. Я тоже стал свидетелем как бы повторения сказанного в знаменитых балладах русского поэта. Ноябрьской ночью в воде по грудь переходил я через Сиваш, а также не раз лежал под артиллерийским огнем на Перекопе. Видел, как снова «живыми мостами мостят Сиваш». Признаться, я как-то гордился тогда, что иду по следам Тихонова. Даже попытался выразить это в стихах, открывавших мой цикл «Перекоп». И сегодня, когда в ноябрьской Москве пишу эти строки в честь Николая Семеновича, я позволю себе вспомнить собственные стихи, рожденные в те далекие и суровые дни на Перекопе:

По следу героев гражданской войны
Идем мы под рокот сивашской волны,
И ветер, гудящий в ночах боевых,
Над нами звучит, как легенда о них.

И Тихонов другом приходит ко мне
В балладе своей о гражданской войне.
Подковы заржавели — времени след.
Поэзии, подвигам ржавчины нет!

Нам тоже Турецкий прославленный вал
В бою острой пылью гортань забивал,
И тоже от раны мы падали вдруг,
Оружия не выпуская из рук.

Приводя эти давние свои строчки, мне хочется сказать не только о своей многолетней любви к большому поэту, но и о том, что в жизни все преемственно, все доброе переходит от отцов к детям, как умение печь хлеб и разжигать огонь. В этом-то и заключено бессмертие мастерства в любой области, в малом и большом. В дни боев на Сиваше и Перекопе мне казалось странным и в то же время очень значительным, что я шел по следам Тихонова и видел не менее отважных и твердых бойцов, чем герои его баллад. Тут же хотел бы отметить, что все новое является продолжением сделанного прежде. Орленок учится полету у орли-

цы. Кто не имеет уважения к тому, что было сделано до него, не может уважать и то, что делается с ним рядом. Творчество идет путями преемственности и учебы. И так всегда. Этого не может отрицать ни один умный художник, каким бы новатором он ни был. Все подлинное вырастает из подлинного. Дочь может иначе выводить узоры на вышивке, чем мать, но она обязательно учитывает мастерство матери, которая учила ее своему искусству. Так и в поэзии. Многие из нас учились и учатся до сих пор у Николая Тихонова. И в данном случае его уроки остаются одними из значительных для нас. Хочу признаться, что я многим обязан его музе.

Какой точный стих у тихоновских баллад! Ни мишуры, ни украшательства. Ничего лишнего. Замечательный лаконизм. Каждая строка — словно удар клинка. Эти стихи просты, как камень и дерево. Вспомним хотя бы первые две строки знаменитой «Баллады о синем пакете»:

Локти резали ветер, за полем — лог,
Человек добежал, почернел, лег.

А драматичнейший ее конец:

Письмо в грязи и в крови запеклось,
И человек разорвал его вкось.

Прочел — о френч руки обтер,
Скомкал и бросил за ковер:

«Оно опоздало на полчаса,
Не нужно — я все уже знаю сам».

Какую из баллад мы ни возьмем, в любой из них заключена суровая, драматичная, мужественная сила, в них образная художественная мощь. Они освещены светом высокой трагедии. Их воздействие на читателя до сих пор неотразимо. Меня каждый раз охватывает дрожь, когда я повторяю стихи из «Баллады о гвоздях»:

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.

«Не все ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».

Мы должны знать и понимать, какие замечательные произведения создавала советская поэзия еще на заре своего рождения. Таковы и ранние стихи славного мастера,

большого художника Николая Тихонова. Его баллады составляют честь и славу многонациональной и многоцветной нашей литературы.

4

Мне хочется остановиться на одной характерной черте советской поэзии. Это ее интернационализм, интерес к жизни других народов, уважение к их судьбам, истории, настоящему и будущему. Такой же была издавна великая русская муза. И одним из крупнейших продолжателей этой благородной традиции является Тихонов. Сын петроградского ремесленника, еще мальчиком, погружаясь в чтение книг, был пленен Востоком. Потом пришло время, когда советский поэт мог встретиться с настоящим Востоком лицом к лицу. И свою книгу стихов «Юрга» он создал одним широким дыханием, наполнив ее знойным воздухом Средней Азии, в частности Туркмении. Объясняясь в любви к подлинной трудовой жизни народов страны, поэт уже опровергал ложь и выдумки посредственных книг о Востоке:

Ананасы и тигры, султаны в кирасе,
Ожерелья из трупов, дворцы миража,—
Это ты наплодила нам басен —
Кабинетная выдумка, дохлая ржа.

Нет в пустыне такого Востока,
И не стоишь ты, как ни ворчи,
Полотняных сапог Куперштока
И Гуссейнова желтой камчи.

Проходя по оазисам и пескам, поэт видит прошлое и настоящее страны, хочет понять ее будущее, становится свидетелем обновления и возрождения удивительного древнего края. Он размахисто размещивает все краски. В его стихи входят верблюды и тракторы, лихие скакуны и машины. Он всматривается в узоры ковра, стараясь постичь и понять чудо мастерства. И когда читаешь эти стихи, как бы пересыхает в горле. Приведем хотя бы несколько строк из стихотворения «Старый ковер», чтобы снова почувствовать мудрую и знующую образную силу тихоновской книги:

Читай ковер: верблюжьих ног тростины,
Печальных юрт печати и набег,
Как будто видишь всадников пустыни
И шашки их в таинственной резьбе.

Прими ковер за песню, и тотчас же
Густая шерсть тягуче зазвенит.
И нить шелков струной скльзнувшей ляжет,
Как бубенец, скользнувший вдоль ступни.

В книге Тихонова нашли свое поэтическое выражение драматизм борьбы за будущее, трудный уход прошлого. Тут я могу сослаться на превосходное стихотворение «Прощание с омачом». Древний плуг нелегко покидает жизнь, уступая место машинному плугу. Тут мы снова, как и в тихоновских балладах, встречаемся с верностью действительности, снова видим отсутствие всякого подслащивания. Все сурово и правдиво, радость остается радостью, боль — болью. Жизнь врывается в стихи со всей сложностью, трудностями, трагедией. Так поэт проникновенно, одним из первых, воспел землю и небо Туркмении, ее мастеров и строителей, прокладывая новые пути в нашей поэзии, расширяя ее горизонты и возможности. Он, неутомимый мастер и землепроходец, влюблялся в краски новых для него краев и отлично умел переносить их в прекрасные русские стихи.

Радостным откровением явились «Стихи о Кахетии». В них читатель встретил ликующую силу настоящей поэтической зрелости Тихонова. Любовь к Грузии, к ее людям и неповторимой природе, к ее истории, винограду и камню, любовь к величию Кавказа нашла в этих стихах вершинное выражение.

Я, как лезгин, смотрел с заветной кручи
На Алазани белый ремешок,
И подо мной раскачивались тучи,
Сквозь эти тучи самолет прошел.

Следили горы за гуденья силой,
Как птицы за полетом стрекозы,
И предков кровь, что лица заострила,
На мир смотреть учила сверху вниз...

Мы знаем, чем был Кавказ для русской поэзии. И Николай Тихонов всю жизнь нес свою большую любовь к Кавказу, став одним из лучших его певцов. Кавказ также отвечал ему полной взаимностью. Преданной любовью к горским народам дышат стихи превосходного цикла «Горы», написанного перед Великой Отечественной войной. То же самое надо сказать и о поэме «Серго в горах» и книге «Грузинская весна».

Николай Тихонов являлся одним из тех, кто служил делу братства людей и народов. Он хорошо знал объединяющую человеческие сердца силу поэзии, и ей он отдал весь свой талант и опыт. Если бы даже я был специалистом, не смог бы в одной статье сколько-нибудь полно сказать о творчестве такого крупного писателя, каким является Тихонов. Я пытаюсь просто как бы передать мое собственное восприятие его поэзии, совершенно не касаясь блестящих рассказов и всей его прозы. Но все же не могу не коснуться переводческой работы Николая Семеновича. Еще на Первом съезде писателей СССР он высказал благородную мысль о том, что необходимо убрать стену между поэтами всех народов страны и начать широко переводить на русский язык лучшие поэтические произведения всех народов. И сам стал одним из пионеров в осуществлении этой идеи. Разве можно забыть, какие замечательные переводы были сделаны Тихоновым с языков народов Советского Союза? Тут достаточно вспомнить хотя бы стихи выдающихся поэтов Леонидзе и Чиковани. Николай Семенович использовал все ему доступные средства для сближения сердец и культур народов. Прекрасная его переводческая деятельность также является одним из таких могучих средств.

Поэзия Николая Тихонова брала барьер за барьером, оставляя позади большие вехи, как бы заново открывая Россию, Среднюю Азию, Кавказ и весь мир. Раздвигались горизонты, масштабы, и ложились на полотна новые краски. В предвоенные годы он написал книгу стихов «Тень друга», полную тревоги за судьбы мира и предчувствия военной катастрофы. Он видел на улицах западных городов тень от ружей, которая ложилась на играющих детей. Он предвидел ужасную судьбу погибающих под ударами бомб городов, когда писал о ночном европейском городе:

Такой горластый — он немеет,
Такой пропащий — не сберечь,
Такой в ту ночь была Помпея,
Пред тем как утром пеплом лечь.

К тревоге военной опасности в те годы поэт возвращается снова и снова. Едва ли было написано тогда что-либо равное стихам Тихонова о предчувствии предстоящей трагедии невиданной войны. Очень глубоки и драматичны эти стихи. Тихонов писал с горечью и тревогой:

Противогаз!

Твоей резиной липкой
Обтянута Европы голова,
И больше нет ни смеха, ни улыбки,
Лес не шумит, и не шуршит трава.

Война пришла неумолимо, как предчувствовал поэт. Николай Тихонов снова надел привычную военную шинель. Он много месяцев провел в осажденном Ленинграде. Страна читала его стихи и рассказы о ленинградцах, переживавших неслыханные страдания и показавших небывалую стойкость. Знаменитый поэт был достоин своего великого города. Им была тогда же написана поэма «Киров с нами!». Ее ритм суров и трагичен, как жизнь страны тех лет. Она напоена горьким воздухом времени. Снова прислушаемся к голосу самого поэта, ощутим мощь поэмы:

Домов затемненных громады
В зловещем подобии сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина.
Но тишь разрывается воем —
Сирены зовут на посты,
И бомбы свистят над Невоею,
Огнем обжигая мосты.
Под грохот полночных снарядов,
В полночный воздушный налет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.

Когда обращаешься к железным строфам этой поэмы, вновь понимаешь, что город, в котором поэт сумел создать произведение, полное такого мужества, такой веры и энергии, не мог взять враг.



НАРОДНЫЙ ПОЭТ

Мне не давно хотелось написать об Александре Твардовском, но все не решался, зная, как сам он строг и суров в оценках и суждениях о литературе. Он ведь сказал:

Я как козунства — краснословья
Остерегаюсь, как беды.

Общаясь с Твардовским, беседуя с ним или говоря о нем, я тоже каждый раз боялся краснословья. Боюсь и сейчас, когда сел за эти заметки о нем — поэте народном в истинном значении слова. Многим из нас официально присвоено это звание, но первым народным поэтом страны является Твардовский — лучший из нас. Глубина, с какой его поэзия выразила народную жизнь и наше время, простота и естественность этой поэзии, ее правдивость и серьезность, точность языка и речевая свобода кажутся мне несравненными. Редкостная содержательность, не мнимая, а подлинная народность, оригинальность без оригинальничания, новаторство, а не игра в новаторство, новизна по глубине и значительности сказанного — вот главные, по моему мнению, качества, которые его творчество сделали достоянием не узкой группы любителей стихов, а всей читающей массы, всего народа. Поэзия Твардовского отмечена теми чертами большого искусства, которые делают искусство необходимым для людей. Она освещена светом сердца крупной, очень крупной личности.

Все это вместе взятое позволило ему стать не только выдающимся, как о нем обычно пишут, а великим поэтом современности, живым классиком волшебной русской поэзии, занять место в одном ряду с ее чародеями. Его поэзия, проникнутая мощью и целомудрием народной души, освещенная ее светом, мужеством и совестью, ее радостью и болью, редкостной силой и чистотой русского языка, так сильно и честно выразила нашу эпоху с ее небывалыми потрясениями, всемирно-историческими событиями и принесла ему не дешевую популярность, на которую так падка посредственность, а всеобщее признание и настоящую славу, которая с годами будет не убывать, а возрастать и останется за ним так же, как она осталась за его великими предшественниками.

2

...Так я начал статью об Александре Твардовском за два месяца до его смерти — такой безвременной, такой горестной для всей нашей культуры, для всех нас. Теперь, после того, когда мне пришлось стоять холодным декабрьским днем у его свежей могилы на Новодевичьем кладбище, еще труднее писать о нем — боль, сжимающая сердце, велит молчать. Я не считаю себя самым слабым из людей, но мне трудно. Так больно и трудно от сознания того, что я больше никогда не узнаю счастья общения с таким крупным Человеком-художником, каким был Твардовский. Смерть великого поэта — всегда всенародное горе. А боль тех, кто пользовался его признанием или добрым отношением, просто невыразима. Потому-то горе велит молчать и все слова о нем кажутся мне сейчас бессмысленными. Только мое восхищение им, борясь с горем и болью утраты, диктует мне эти строки. И я не боюсь, что мое слово восхищения смутит кого-нибудь, я не стану стесняться больших слов. Когда он был еще здоров, я почти не подписывал ему своих книг и редко давал волю чувствам, когда говорил с ним или писал ему. Мне всегда хотелось сказать Александру Трифоновичу очень большие слова, но считал не ловким говорить их именно ему, так строго относящемуся к слову.

Теперь я попытаюсь сказать о нем то, что при его жизни не осмеливался говорить ему или писать. Я не буду смущаться тона своего разговора, каким бы высоким он ни оказался. Так поступали не раз литераторы гораздо выше

меня. Я помню, как писал, например, Стефан Цвейг о Верхарне, которого обожал.

Мне посчастливилось в течение многих лет пользоваться хорошим отношением Александра Трифоновича, его дружеским расположением ко мне. Заслуженно или нет — не об этом сейчас речь. Бывает и так, что выдающиеся художники хорошо относятся и к таким собратьям, которые не заслужили того своим дарованием. Это нам известно из истории культуры. Ряд лет я часто печатался в журнале «Новый мир», который он редактировал и которому отдал столько драгоценного времени, таланта, ума, сил и энергии. Об этом я говорю не как о своей заслуге, а потому, что считал для себя благом и радостью одобрительное отношение Твардовского к моей работе и то, что мои вещи проходили через его руки и печатались под его редакцией. Ничего подобного мне больше не приходится ждать. Такого в моей жизни больше не будет.

Чем старше я становился, тем больше постигал могучую силу, значение и кажущуюся мне непостижимой художественную мощь его поэзии. Он из тех поэтов, для которых родной язык становится таким же священным, как земля отцов, ее хлеб и материнское молоко, сделавшие из нас людей. Кто не дорожит словом в самой высшей степени, относится к нему без самозабвенной любви и готов, как говорится, бросать его на ветер, тот, конечно, не может быть художником слова. Мы знаем, что речь — одно из чудес, дарованных нам жизнью, а язык каждого народа — это его бесценное сокровище, ничем не заменимое богатство. Уважение к языку и безоглядная преданность ему — первая заповедь для писателя. На горячей любви к родной речи, на чуткости к ней держится работа литератора, с любви к ней и необыкновенной привязанности, плененности ею начинается жизнь поэта. Он должен не только лучше всех знать язык, чувствовать его стихию, как хороший конь дорогу, но на всю жизнь оставаться замороженным его красотой и силой, его неповторимым звучанием, как голосом матери и цветением дерева в отцовском дворе или шумом речки, протекающей ночью мимо родительского дома. Для поэта в родном языке постоянно живет созревание пшеницы, зелень дерева, желтизна подсолнуха, сияние звезд над родным жилищем, радость рассвета и грусть об ушедшем дне, который уносит с собой гомон птиц и шум игравших во дворе детей. Среди нас не было поэта, который бы так знал свой язык, так ценил слово, был так пронзен до конца

красотой родной речи, так заботился о точности и естественности поэтического слова, как Твардовский. Иного мнения не может быть у тех, кому дорога литература, кто следил с интересом или с любовью за его работой — такой обширной, за всей его деятельностью — такой подвижнической и мужественной.

Мне помнится, что Михаил Исаковский свою статью к пятидесятилетию Твардовского озаглавил: «Наш самый лучший поэт». А Ярослав Смеляков, не только человек большого таланта, но и острого ума, в течение многих лет неоднократно возвращаясь в наших разговорах к Твардовскому, постоянно называл его первым поэтом Советской России. Так было и за несколько дней до кончины Александра Трифоновича, когда я заехал к Ярославу Васильевичу в Переделкино. А подозревать Смелякова в том, что он не знает себе цену, или в неискренности я никак не могу. Его мнение ценно еще и тем, что он тоже скуп и жестко правдив в своих оценках. Кроме того, мне кажется очень важным, что один крупный художник говорит о другом. Ведь посредственность чаще всего самым значительным явлением считает себя. Потому в свое время Бунин с неприязнью говорил о стихотворцах, кричащих на весь кабак о своей гениальности.

Сказанным я вовсе не стараюсь убедить читателей в том, что Твардовский большой поэт. В этом нет надобности: это давно доказано его творчеством и всем известно. Я хорошо знаю, что он при жизни не нуждался ни в моем, ни в чьем бы то ни было славословии. В этом также не нуждается его поэзия и после смерти Твардовского. Она дошла до сердца народа и закрепилась в его сознании, вошла в сокровищницу его культуры. Я знаю, что ему было противно всякое фальшивое слово, он не выносил его. А потому хочется сказать о нем правдиво, насколько это доступно мне, понимая при этом, о каком большом человеке и художнике идет речь, и сознавая свою ответственность перед его памятью. Я хочу сказать слова любви и восхищения о том поэте, о том человеке, память которого свята для меня. Она дорога для всех, кто ценит поэзию, высшие духовные достижения советского народа, его культуру, а также человеческое мужество и совесть. Я хочу сказать свое слово любви и прощания о человеке, одним знакомством с которым я должен был бы гордиться всю жизнь, если бы даже не было большего, потому что он был из тех редких людей, которые не так часто появляются на земле, а появившись,

живут так, делают свое дело так, что каждый из них еще больше оправдывает существование человеческого рода, еще и еще раз доказывает, как прекрасны и сильны творческие, созидательные возможности человека, как бесценны ум, талант, благородство, как бы в течение столетий враги культуры ни старались растоптать их, как бы ни наступало на них человеконенавистничество реакции всех времен, самым жутким выражением которой стал фашизм. Александр Твардовский, как коммунист, как советский писатель-гуманист, был среди борцов против фашизма в годы войны и в годы мира.

3

Мое слово гордости тем, что он сделал, и мое слово горя от утраты о поэте и человеке, который за два дня до смерти одной ослабевшей левой рукой обнимал меня и так горестно смотрел на меня похожими на небо России глазами, которые я знал зоркими и в которых видел его необыкновенный ум. Этих глаз я больше не увижу и не пожму по-крестьянски крепкую руку, написавшую «Василия Теркина», «Дом у дороги», «За далью — даль» — шедевры нашей поэзии, чудесный эпос века. Я человек, знавший много потерь. Утрата Твардовского — одна из тягчайших моих утрат.

О ком бы из творческих людей мы ни писали, важнее всего быть верным истине. Только тогда и стоит писать. А в данном случае истиной является то, что творчество Александра Твардовского — это эпоха в поэзии, он был выдающимся нашим современником, одним из редких сынов своей родины. Преувеличить значение его работы и личности невозможно. Он принадлежит к тем, именами которых будет отмечен наш век. Гору полагается называть горой. Ей самой жизнью навсегда дарована высота.

Давайте вспомним стихотворение «Слово о словах». Из него я процитировал две строки в самом начале моих заметок. Оно, по-моему, уникальное. Мне хочется остановиться на нем. И вовсе не с целью школьного разбора. Это стихотворение — кредо Твардовского-поэта. Не только возможность, но и право написать подобное стихотворение имел только такой поэт, каким был Твардовский, — художник с мудрым сердцем и чистой совестью, до последнего дыхания преданный поэзии, человек большого гражданского мужества и честности, писатель, обожавший свою землю,

родной язык, без остатка преданный им, точно и мудро знавший цену слову, непримиримый враг лжи, позы и фальши, литератор, умевший дорожить словом — народным достоянием и сокровищем, как жизнью, поэт, для которого слово неотделимо от его совести художника и гражданина.

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь — до дна,
Но их подмена словесами
Измене может быть равна.

Те, кому все равно, по какому поводу рифмовать слова, не только не могут написать такое — куда там! — но и не имеют права. Это право надо завоевывать талантом и своим трудом, всей своей жизнью, верностью художнической чести и достоинству. Речь прежде всего идет, конечно, о таланте. Без него не выручат ни знания, ни старания, ни опыт. Мастерство без таланта — мертвое дело. Да и бывает ли такое мастерство? Таланту, как известно, свойственны острое чутье и пронзительная искренность. Бывают ли исключения — не знаю. Но едва ли. Борис Пастернак, например, утверждал, что талант учит чести. Он же писал, что шекспировский Яго так бесчестен потому, что бездарен. И завистлив потому же. Не то же ли самое и с пушкинским Сальери? Хотя и настоящий Сальери так же сильно завидовал настоящему Моцарту, даже не прощал своим ученикам любовь к нему и после смерти Моцарта. Так было у него, к примеру, с Шубертом. А вот Пушкин никому не завидовал. Думаю, что так же было и с Моцартом. Только у очень крупных людей не бывает черной зависти. Один раз Твардовский при мне говорил одному из наших товарищей, что мы должны иметь возле себя только достойных людей-поэтов, не бояться, что они нас могут опередить. Пушкина радовала каждая хорошая строка. Найдя какую-нибудь замечательную строчку, он выводил на полях книги свое любимое слово «прелесть». Это щедрость гения. На такое, мне кажется, способен и крупный талант. Талант нельзя заменить ничем — ни умом, ни мудростью, ни образованием, хотя они, наверное, очень полезны таланту и являются подспорьем для него. Мы знаем, что Пушкин был, как верно сказала Марина Цветаева, умнейшим мужем России. Одним из умнейших людей, каких мне приходилось видеть, был и Твардовский. Но все же только талант дает право поэту носить его прекрасное от века звание.

А сколько людей без права на это печатают стихи, — да не только стихи! — издают книги, даже много книг. Что поделаешь, на земле растут не только розы. Когда пишет недаровитый человек, мучимый тщеславием и желанием известности, но лишенный чутья и чувства достоинства, ему все равно о чем трезвонить, лишь бы слушали его, только бы всегда быть на виду, не упустить возможности показать себя, не проморгать даже те жизненные блага, на которые нет у него прав. У чегемских крестьян есть поговорка: «Тот, у кого нет совести, съедает и то, что было приготовлено не для него». А у крупного художника, горячо любящего не только себя, но и свою родину, ее создателей и их труд, родную культуру и родную речь, совесть всегда на первом месте. Вот почему, мне думается, Твардовский — поэт, в высшей степени верный совестливости и целомудрию великой русской поэзии, — обращается к своей Родине точными искренними словами:

Не белоручка и не лодырь,
Своим кичащийся пером,
Стыжусь торчать с дежурной одой
Перед твоим календарем.

Это говорит поэт, который весь свой громадный талант отдал Советской Родине, в самые трудные для страны годы войны находился на фронте, был в строю, чей Теркин стал близким и дорогим для всех нас, а Книга про бойца — одной из самых замечательных, которой зачитывались на фронте и в тылу. Огромный талант, редкий ум, большое сердце Твардовского до конца принадлежали горячо любимой стране, ее пахарям и воинам, ее строителям, ее культуре. Всем нам известно, что он создал самые крупные и глубокие поэтические произведения о самых сложных периодах в жизни советского народа. Его поэмы — это шедевры поэзии и подлинный эпос нашего времени. И этому эпосу суждена долгая жизнь. Я убежден в том, что поэмы Твардовского остаются одним из самых высоких духовных достижений нашего времени, всей советской культуры — такая в них художественная мощь, глубокое содержание, они так правдиво и сильно выразили эпоху, судьбы и душевный мир советских людей с их страданиями и победами.

Как перед миром потрясенным
Величьем подвигов твоих,
Они, слова, дурным трезвоном
Смушают мертвых и живых.

Мы обычно говорим, что поэзия учит людей всему хорошему. Если это так, то цитируемое стихотворение учит поэта уважению к слову, тому, что он не имеет права бросать его на ветер, говорить слова, у которых «дурной трезвон», учит самому высшему в человеке и художнике — чести и совести, целомудрию и благородству, чуткости и достоинству, без которых нет творчества и большого искусства, а есть только их видимость, их тень. Без этих драгоценных черт не бывает крупной личности и большой судьбы. А нам известно, что выдающийся художник — это всегда характер и значительная личность. Разве не об этом говорит нам история культуры?

Больно и стыдно, когда мертворожденный суррогат выдается за произведение поэзии, а словами, рожденными «без божества, без вдохновенья», мы пытаемся сказать о живой жизни, полной потрясений, поражений и побед, о человеческой радости и горе, о жизни наших людей, несших и несущих на своих плечах весь гигантский груз времени, о сказочных былях страны.

Все мы, кто причастен к художественному творчеству, обязаны понять одну суровую истину: искусством надо называть только то, что действительно является им. И еще: безжизненные и фальшивые сочинения никогда и никому не делали чести, не возвеличили перед человечеством и потомством ни одну эпоху, ни одного героя. Это делали только произведения искусства, рожденные талантом и вдохновением, озаренные их светом. Живут и будут жить, принеся честь и славу их Родине, только те произведения, которые отмечены печатью вдохновения и бескорыстия, верные правде времени, самым передовым его идеям, верные человеку, его радостям и страданиям, его мужеству и надеждам. Вот почему Твардовский, творчеству которого свойственны именно эти черты, написал:

Как, обольщая нас окраской,
Слова-труха, слова-утиль
В иных устах до пошлой сказки
Низводят сказочную быль.

По праву настоящего поэта Твардовский забил тревогу, видя, как часто недаровитые, но тщеславные стихослагатели безответственно относятся к словам, унижая поэзию и родной язык. Дурно и фальшиво сказанное слово — будь оно о великом явлении или герое — звучит всегда как оскорбление, «до пошлой сказки низводит сказочную быль».

С этим, к несчастью, часто приходится сталкиваться. Это очень тревожило Твардовского, должно тревожить и нас. Почему становится нормой считать поэтом всякого, кто рифмует слова? Их щедро печатают, издают. И они гордо именуют себя поэтами, обожают говорить — «моя поэзия», «мое творчество», «я поэт». Они в силу отсутствия чутья не могут понять, что поэт не называет себя вслух этим именем, понимая, как трудно нести это бремя. Для того чтобы понять это, надо иметь дарование, ум и скромность. Последняя, кстати, никому не мешала стать крупным или великим писателем. Чехову, например. В скромности заключено не только обаяние. Она также заставляет быть строгим к себе и ведет к совершенству. В этой связи всем нам полезно почаще вспоминать Чехова. Вот на каких примерах нам бы хорошо учиться. Их много. Но часто, к сожалению, лучшие уроки не идут нам впрок, и мало мы о них думаем. Учеба, как известно, вещь серьезная, она требует многого. Говоря так, я вовсе не утверждаю, что сам я такой скромный, умный и умею хорошо учиться у больших мастеров, а только говорю о своем идеале и горько сожалею о том, что не всегда это понимал.

Почитайте внимательно автобиографию, статьи и речи Твардовского. Там вы ни разу не встретите слов: «я как поэт», «моя поэзия», «мое творчество». Он говорил о себе: «моя работа», «я как литератор». Вот кусочек из его автобиографии: «Со «Страны Муравии», встретившей одобрителный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут охарактеризовать меня как литератора». И в этом опять-таки я вижу верность лучшим традициям классической русской литературы, человеческой скромности ее крупнейших деятелей. Будучи таким писателем, сделавшим в литературе столь много, человек, создавший образцовые произведения советской поэзии, имел право написать и такие вот строки:

И я, чей хлеб насущный — слово,
Основа всех моих основ,
Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов;

Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал,
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал!

Чтоб не мешать зерно с половой,
Самим себе в глаза пыля;

Чтоб шло в расчет любое слово
По курсу твердого рубля.

Оно не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял,—
Нет, слово — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

Как хочется, чтобы каждый поэт с самого начала учился относиться к своей работе с таким же чувством ответственности, с такою же серьезностью. Я хорошо сознаю, что «Слово о словах» не нуждается в моем толковании. А остановился я на этом стихотворении, считая, что в нем кредо Твардовского-поэта, суть его поэзии и его отношения к творчеству, выраженные сжато и сурово.

4

Александр Трифонович любил слово «достоинство». Свою небольшую, но замечательную статью, написанную в дни смерти Анны Ахматовой и обращенную к ее памяти, Твардовский озаглавил «Достоинство таланта». Едва ли можно было найти лучшее название в данном случае. Эта статья кажется мне шедевром, ее хочется выучить наизусть, как стихи, пленившие нас. Ничего лучшего об Ахматовой мне не приходилось читать. Оно и понятно. Статьи и речи Твардовского — это особый разговор. Пятый том его последнего прижизненного собрания сочинений каждый из нас, пишущих, должен изучить внимательно и кропотливо, как говорится, от корки до корки. И статьи его — явление редкое — такая в них самобытная глубина мысли, присущий одному только Твардовскому тон разговора. И тут соединились громадный талант, большой ум, культура и прозорливость. В них сильно ощутима печать неповторимости его крупной индивидуальности, удивляет тот богатый, обворожительно чистый, сильный язык, каким написаны его статьи о Пушкине, Бунине, Маршаке, Исаковском.

Вернусь к разговору о достоинстве человека и художника. Когда об этом говорил Твардовский, это каждый раз мне было особенно понятно и дорого еще и потому, что на земле моих отцов, где я рос среди хлеборобов, пастухов и каменотесов, слово «достоинство» являлось одним из самых первых и драгоценных. Достоинство для жителей гор всегда оставалось дорогим, как родная земля, которую они так старательно пахали каждой весной. Это было у них в крови, всасывалось с молоком матери, людей в горах с детства

учили чести и достоинству. Кто их терял, тот в глазах земляков как бы терял и жизнь, перестав быть человеком. Так жили крестьяне в наших горах.

Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле.

А Пушкина разве не честь и достоинство призвали к поединку, в котором была оборвана пулей жизнь гения? Кто бы из мыслящих людей мог осудить Пушкина, одного из умнейших людей века, за то, что он вышел на этот поединок? Другого решения у него не могло быть. Он жил и умер с достоинством. Так велела ему честь великого художника. Бесчестье — удел бездарных. Моцарт у Пушкина говорит, что гений и злодейство несовместны. И это больше всего тревожит пушкинского Сальери, так хотевшего быть гением.

Все прекрасное, что так трудно дается, связано с честью и достоинством. От них также неотделимы преданность Родине, подвиг и творчество. Еще одним подтверждением верности этой мысли являются личность и творчество Твардовского. Наряду с крупнейшими предшественниками он стал примером для нас потому, что, обладая выдающимся талантом, прожил свою жизнь с большим достоинством, благородно и мужественно, до конца остался верным совести русской классической литературы, удивившей мир своим величием. Большой поэт и жил как крупный человек. Потому так горестна его безвременная смерть. Пока еще нам трудно в полной мере осознать значение этой невосполнимой утраты. Неповторим каждый человек, а такой поэт и человек, каким был Твардовский, — тем более. В чем мы можем найти утешение в эти горькие дни, когда он ушел от нас навсегда? Только в том, думается мне, что его поэзия, все им сделанное за его недолгий и нелегкий век, останутся на земле, останутся с людьми надолго, мы уверены в том, что его создания не перестанут читать, пока будет звучать русская речь, которую он обожал, которой так блистательно и бескорыстно служил. Будем верить, что еще вырастут у нас великие поэты, для которых пример и уроки Твардовского станут такой же школой, какой были для него самого творения Пушкина и Некрасова.

Мне кажется, что у большого художника обязательно должен быть большой характер. Таким мы знали и Твар-

довского. Пусть он сам подтвердит то, что я пытаюсь сказать:

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых,— знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

И еще:

С тропы своей ни в чем не отступая,
Не отступая — быть самим собой,
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

В этих глубоких и упрямых строках выражено очень важное и трудное для поэта, что и делает его самостоятельным и до конца определенным. Такое отношение к своему делу дает ему возможность работать без оглядки, самозабвенно, сказать то, что никем, кроме него, не может быть сказано. Без такого убеждения, без подобной определенности и значительности характера невозможно стать большим писателем, сказать свое индивидуальное слово в литературе. А такое дается далеко не каждому из пишущих, вернее — не многим. Счастье быть в числе тех немногих имел Александр Твардовский.

Мы часто говорим о новаторстве в поэзии. Многие, по моим наблюдениям, понимают под этим словом чисто внешние признаки. Маяковский стал новатором не просто внешней структурой стиха, а сущностью и значимостью сказанного, новым революционным содержанием своей поэзии, той, что сделало его крупнейшим поэтом Октябрьской революции. Очень важна, конечно, форма, но, думается, даже самая прекрасная форма без содержания — дело пустое. Значительность сказанного, глубина содержания — вот главное. Новизна формы в серьезном смысле слова имеет огромное значение, но еще большее значение имеет новизна содержания. Не надо заниматься пустяками, мишурой и игрой

в рифмы. Годы работы и размышлений, опыт привели меня к такому убеждению. А потому я считаю Твардовского выдающимся новатором, несмотря на то, что он пользовался так называемым традиционным стихом. О традиционном стихе говорят часто, путая все, как будто в каждое десятилетие создается новый стих! Это несерьезно. Посмотрите повнимательнее, какие новые, своеобразные, неповторимые оттенки приобрел этот стих у Твардовского! Все идет от его индивидуальности, все у него своеобразно, самобытно, пропущено через его большое сердце, все выношено, пережито, освещено светом его могучей души, во всем сказывается его крупная индивидуальность. Перед нами встает мощный, монолитный и цельный образ редкого художника, волшебного мастера слова. Мир его поэзии особый, как облик большой горы, похожей только на самое себя. Мне за мою жизнь приходилось слышать чтение многих поэтов — больших и малых. Знаю, как подвывают и декламируют многие из них. В чтении Твардовского не было ни подвывания, ни декламации, он читал так же точно, как писал, так же просто в лучшем значении слова и естественно, проникновенно и чисто. Он пел народные песни так же. Те, кому не пришлось слушать его при жизни, могут проверить мою правоту или неправоту в суждении о манере чтения Твардовского. Пластинки, к счастью, остались. Давно сказано, что о вкусах не спорят. Поверим этому. Но манеру чтения Твардовского я считаю замечательной. Тут я также должен отметить глубочайшее чувство языка, убедительность интонации, их пронзительную силу при всей естественности. И в этом он не походил ни на кого. Его чтение точно соответствовало его стихам.

Сказать, что автор «Василия Теркина» был крупнейшим новатором, не будет открытием. Теркин встал в один ряд с крупнейшими образами русской классической литературы, это незабываемый литературный тип, всеми любимый, всем понятный. Не зря автор, заключая Книгу про бойца, писал:

Пусть в какой-нибудь каптерке
У кухонного крыльца
Скажут в шутку: «Эй ты, Теркин!»
Про какого-то бойца...

Таким именно стал сразу же в суровые годы войны Теркин. Твардовский писал о своей книге:

Мне она всех прочих боле
Дорога, родна до слез,

Как тот сын, что рос не в холе,
А в годину бед и гроз...

Мы, бывшие фронтовики, помним, что Книга про бойца была нам «всех прочих боле дорога». Такую жизнь и все-народную славу приобретают только книги, которые являются новым словом в литературе, значительнейшим словом, а потому и новаторским.

В заключительной главе «Василия Теркина» читаем:

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкой в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...

Мне известно, что эти строки цитировались в очень многих случаях. Я привожу их еще раз для подтверждения того, что Твардовский имел право сказать так о всех своих произведениях. Простота, естественность, точность — вот его стиль, которому он оставался верен всю свою творческую жизнь до конца. Речь идет, конечно, о той трудной и мудрой простоте, к которой стремится в конце концов всякий крупный талант, как это было, к примеру, с Пастернаком, а не о неуклюжей простоватости и примитивности. Я говорю о прекрасной и завидной простоте, так трудно дающейся даже крупнейшим поэтам.

Много лет тому назад Твардовский в одной из бесед с нами сказал, что надо писать так, чтобы тебя понимали и академик и доярка. Это было его убеждением.

Очень любопытно высказывание Бунина о Твардовском. Один из волшебных мастеров русского слова, строгий ценитель произведений художественной литературы и суровый судья писал Телешову из Парижа: «Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за Теркина». Как замечательно, что такой суровый мастер, очень скупой на похвалы, так лестно отзывался о

другом суровом, молодом еще тогда мастере. Редко Бунин позволял себе такие эмоции в своих оценках произведений поэзии, а оценил он Твардовского прозорливо-безошибочно, сказал о нем главное. Читая это письмо, я наслаждался. Как хорошо, что опасение Бунина в отношении того, что Твардовский может остаться автором только одной книги такого уровня не оправдалось. Это хорошо известно нам, читавшим «Дом у дороги», «За далью — даль» и другие вещи крупнейшего советского поэта. Письмо Бунина, по моему, мало известно широкому кругу читателей, поэтому я и решил привести его полностью. Такие документы заслуживают того, чтобы их узнало как можно большее число людей.

5

С большой щедростью и очень своеобразно изобразил Твардовский русскую природу. К ней обращено и это позднее его стихотворение — такое проникновенное и нежное:

Спасибо за утро такое,
За чудные эти часы
Лесного — не сна, а покоя,
Безмолвной морозной красоты

Когда над изгибом тропинки
С разлтых недвижных ветвей
Снежинки, одной порошинки
Страхнуть опасается ель.

За тихое, легкое счастье —
Не знаю, чему иль кому —
Спасибо, но, может, отчасти
Сегодня — себе самому.

Поэт как будто не написал, а легко выдохнул эти строки, ошастливленный чудесным, ничем не заменимым днем родной земли и бесконечно дорогой его сердцу картиной русской природы. С естественностью этой природы была слита естественность поэзии Твардовского, во многом шла от нее, была порождена ею.

Лирика Твардовского последнего десятилетия приобрела новые краски и грани, стала еще глубже и драматичней. Это легко ощутить и понять, прочитав хотя бы стихотворения «Памяти матери» и «Памяти Гагарина». Нельзя читать без настоящего волнения такие строки о матери:

И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справами,

А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под берегами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
— Проснись, проснись,— рассказывала
мать,—
А за стеною — кладбище таежное...

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедадьнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.

На той же высоте поэзии и стихотворение о перевозчике-водогребщике, хотя оно и написано совсем в другом ключе, с его хватающим за сердце рефреном:

Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Подобные вещи создаются на земле не часто. Час, когда рождаются произведения такой силы, становится редким и счастливым часом. И в этих стихах Твардовского больше всего потрясают правда жизни, бесстрашная правда чувств, подлинность, образность, богатство и чистота языка, его глубинная поэтическая мощь. В своей речи о Пушкине Твардовский сказал, что у великого русского поэта не мастерство, а волшебство. Волшебство присутствует и в поэзии самого Твардовского.

Эти заметки не воспоминания о поэте. Избавим его память от скороспелых литературных воспоминаний, на которые часто бывает падок наш брат. Но все же я не могу не сказать о некоторых человеческих чертах Александра Трифоновича. Даже в обстановке обыкновенного застолья чаще получалось так, что все сказанное до него становилось незначительным, мелким украшательством, после того, как начинал говорить Твардовский. И за обычным дружеским столом удивляли его проникновенность, значительность его слов и его ум. Редкой силой таланта и ума было проникнуто все, что говорил он — большой человек, необыкновенный художник. В так трудно доступной правдивости, во всем заключалась одна из сильнейших сторон его характера и обаяния. Только потому он имел право сказать:

Больше б мог, да было к спеху,
Тем, однако, дорожи,
Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не лгал для лжи.

Ах, как это трудно дается! Я не знаю, как другие воспринимали Твардовского, а по мне значительность во всем — вот одна из главных его черт. Он, крестьянский сын, достиг высокой культуры, так знал литературу и искусство, что слушать его каждый раз было наслаждением. Все это, однако, совсем не значит, что я пытаюсь сделать из Твардовского святого. Не дай бог! Это было бы пустым и неблагодарным занятием. Он был не ангелом, а живым человеком среди живых. Он мощно трудился, радовался, ошибался, страдал, делал свое дело мастера, как говорится, на грешной земле. Я вообще против того, чтобы художника превращали в икону. Это фальшиво и отвратительно. Ангелами не были ни Гёте, ни Лев Толстой. Даже очень светлые Моцарт и Пушкин не могли быть такими. Хорошо, что пушкинский Сальери называет Моцарта гулякой праздным. При всей моей любви к Твардовскому я не хочу делать из него икону. Он был человек, но крупный человек, носивший в груди тот священный огонь, которым отмечены редкие творцы и созидатели у каждого народа.

6

Порой приходилось слышать разговоры о том, что Твардовский равнодушен к литературам других народов нашей страны. Считаю своим долгом категорически отвести такое неверное и недостойное мнение. Судить о крупном писателе только с позиции того, как он относился к тебе и к твоей работе, непозволительно и необъективно. Постоянный интерес Твардовского к работе ряда литераторов из республик нашей родины, его внимание к ним полностью опровергают пустые разговоры и сплетни, искажающие истину. Вспомним, как он относился к таким национальным писателям, как Аркадий Кулешов, Микола Бажан, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кугультинов, Василь Быков. В этой связи я мог бы сказать еще о многом, но выше я предупредил, что пишу не воспоминания. Он умел хорошо относиться к людям, которые заслуживали этого. Одной из замечательных черт порядочного человека, по моему мнению, является свойство помнить то добро, которое сделали ему другие. Это очень человеческая черта. Она была

в высшей степени присуща Александру Трифоновичу. Тут достаточно вспомнить, как он относился к М. В. Исаковскому. Я могу назвать его отношение любовным и нежным. Он был признателен своему земляку не только как замечательному поэту, а помнил то внимание и поддержку, которые оказал Исаковский младшему собрату в начале его пути. Это еще один поучительный урок для всех нас и для всех тех, кто придет после нас, ибо всегда будут зрелые мастера литературы и начинающие писатели.

Вот еще один факт, подтверждающий то, как Твардовский относился ко всему талантливому. Один автор, не очень избалованный жизнью и успехом, передал Твардовскому свою рукопись о Пушкине. Прошло некоторое время, и молодой пушкинист попросил меня узнать, читал ли его рукопись Александр Трифонович и какое у него сложилось мнение. Я пришел к нему в редакцию. Когда я зашел в кабинет, он говорил по телефону. По содержанию разговора я понял, что он говорит с автором рукописи о Пушкине. Работа молодого литератора взволновала Твардовского своей талантливостью, он нашел его телефон и позвонил ему. Мое посредничество оказалось ненужным. Легко себе представить радость молодого литературоведа — он услышал похвалу Твардовского! Все мы, кто пользовался его благосклонным отношением, каждый раз нетерпеливо ждали его мнения о наших скромных вещах. Так было и не только в отношении наших писаний, но во всех наших поступках, во всем нашем поведении. Мы думали: «А что скажет Твардовский?» Он был нашей творческой совестью.

При его жизни я никогда не осмеливался называть себя учеником Твардовского, а когда его не стало, тем более не могу. Быть учеником такого человека — слишком большое дело. Кто бы осмелился, например, назвать себя учеником Гёте или Пушкина? Я также никогда не старался писать под Твардовского, понимая бессмысленность подобных стараний. Но тут же хочу подчеркнуть, что его уроки и его пример стали для меня большой, неоценимой школой. Учиться — совсем не значит повторять учителя, быть похожим на него. Ученики, похожие на учителей, но не на самих себя, обычно огорчают мастеров. Одно только то, что он жил среди нас, мы имели счастье общаться с ним, слушать его, — было школой и благом для нас. А о той радости, которую испытывали мы от того, что многие наши вещи проходили через его руки и печатались под его редакцией, и говорить нечего.

Я лично считал это таким счастьем для себя, которого больше у меня уже не будет.

Александр Твардовский был крепко скроен, и нам всегда казалось, что он создан для долгой жизни. Но эти наши впечатления и надежды обманули нас. Он ушел слишком рано. Он жил с достоинством и с достоинством встретил болезнь — свою роковую, неотвратимую беду, и до конца сохранил это достоинство. Для этого требуется большое мужество. Как это трудно! Но человеку положено стараться быть таким. Каждый раз, приезжая к нему, больному, я видел, с какой тоской он смотрел на заснеженные березы и сосны за окном своей дачи зимой, на черную собаку, которая ходила по снегу, на зелень тех же берез летом. Несмотря на все муки и боль, все равно в его глазах оставался все тот же огромный ум и проникновенность, оставались все те же воля и мужество. В те трагические дни он действительно был похож на орла с перебитым крылом, который жаждет взлететь в небо, но не может. И такая была боль, такая тоска в его прозорливых глазах! И что мне сейчас до того — банально это сравнение или нет! Я помню его великую боль, неотвратимую беду, пришедшую к нему так рано!

Была большая гора. Мы долгие годы с любовью смотрели на нее. И не стало этой горы. «Мы все уходим понемногу...» Что делать! «Чарка выпита до дна». Что делать? Да, милый Александр Трифонович, «чарка выпита до дна»! «Мы умираем, а искусство остается», — сказал Александр Блок. С людьми остается и поэзия Твардовского, как высокое искусство, как редкое и неповторимое явление великой русской литературы. С живыми остаются его пример, его уроки.

Кому память, кому слава,
Кому темная вода...

Судьба одарила его большой славой при жизни. Она не потускнеет и после смерти того, кто с достоинством нес ее бремя на своих крепких плечах. Он был из породы редких людей. Другим и не мог быть человек, создавший великие поэмы — эпос эпохи и свою драгоценную лирику. Он в полную меру узнал счастье быть истинно народным поэтом, быть нужным для людей. Что мои рассуждения! Он сам об этом сказал так хорошо:

Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...

С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Сколько душам я был нужен,
Без которых нет меня.

Невыразимо глубокую привязанность к жизни, к природе мы в полную меру ощущаем и в последних его стихах. Вместе с вами мне хочется перечитать одно потрясающее стихотворение, написанное в 1967 году.

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думаю свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:

Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметил галочкой.

В последние дни жизни ему не пришлось «посидеть на солнышке». Но свет своего сердца и ума, мужества и благородства, тепло своей великой поэзии он оставил людям навсегда.

Эти заметки — мое прощание с Александром Твардовским, мой горький реквием ему, мое слово в честь и во славу великого поэта великой России — хочу заключить словами его любимого Теркина:

Я не то еще сказал бы,
Про себя поберегу,
Я не так еще сыграл бы,
Жаль, что лучше не могу.

ПАМЯТИ ДРУГА

1



Дмитрии Кедрине я думаю часто, ибо он был истинным художником и в том, что сделал, и в тех замыслах, что не успел осуществить. Судьба лишила его многого, чего он мог бы достичь. Тут дело не только в ранней гибели. О нем я думаю часто потому, что в высшей степени были присущи ему порядочность, чистота и честность, так же необходимые для поэта, как зелень для дерева каждой весной. О нем я думаю потому, что любил его. Потому, что он был подлинным художником.

Стремление быть правдивым и искренним, оставаться самим собой, белое называть белым, а черное — черным — естественное желание таланта, его прирожденное свойство. Таким я запомнил Дмитрия Кедрина. Не скажу, что это самый крупный из тех поэтов, с которыми мне приходилось общаться, но он настоящий и один из самых чистых и благородных. Я не пишу эти заметки по тому принципу, что об умерших полагается говорить только хорошо. Важнее всего — быть верным истине. Платан должен оставаться платаном, а ольха — ольхой. Оттого, что мы не будем преувеличивать или же скажем о недостатках крупного человека — от этого он нисколько не станет меньше. Наоборот, когда людей с живой кровью и плотью, ходивших, как говорится, по грешной земле, мы пытаемся превратить в иконы или ангелов, вот тогда-то и делаем дурное дело. Такое иконизирование им, живым, было противно. Почему забываем об этом? Об иных ушедших писателях говорят и пишут так,

будто бы каждая их строчка являлась шедевром и открытием, а любой их поступок — мудрым. Какая слащавость. Таких писателей не было на свете и нет.

При обращении к памяти любого деятеля преувеличивать так же нехорошо, как и умалять его значение. А истинный художник и после смерти хочет оставаться таким, каким он был при жизни. Ему этого достаточно. Он не нуждается в ложной славе даже посмертно. Ужасно неприятная вещь сюсюкающая слащавость дурных воспоминаний, где стираются резкие черты живого человека. Я не хочу, чтобы мой живой, красивый своей собственной красотой Кедрин был превращен в замазанную икону. Его совесть и бескорыстие, скромность и требовательность мастера к себе были действительно прекрасны. Таким людям обычно живется нелегко. Талант всегда ведет своих обладателей по крутым дорогам. Кедрин жил трудно. Но он в маленькой деревенской комнатке высек из своего сердца сильные трагические поэмы «Зодчие», «Рембрандт», «Приданое», «Конь». Должно быть, я в молодости не до конца понимал все значение этих замечательных созданий поэта, их серьезность и актуальность.

Если Кедрин по-настоящему ценил поэта, то говорил о нем: «Мастер без дураков!» И сам он был таким.

2

Вкус у Кедрина был замечательный. Мне нравилась манера чтения Кедрина. Он не так сильно подвывал, как это делали иные из моих знакомых стихотворцев, а читал, не пел стихи. В его мягком баритоне было много обаяния. Выводя эти строки, я слышу его, не спеша читающего любимые им бунинские строки:

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.

И еще:

Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин...

Бунин оставался одним из любимых его поэтов.

У него были тонкие руки и легкая походка. Изящество — вот основная черта его облика. Он был изящен во всем. Одинаково любил и жизнь и искусство, был одинаково пре-дан им. Лучшим свидетельством тому — его произведения.

Характер всякого художника остается в его созданиях. Кедрин был человеком, привязанным к бытию со всем великим в нем и милыми мелочами. Он жил бедно, но любил хорошо сделанные вещи, обожал мастерство и мастеров. У него были хрустальные бокалы. Он радовался им. Они чудесно звенели. Мы каждый раз долго чокались ими. О них сказано в стихотворении, обращенном ко мне:

И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал.

Дмитрия Кедрина нельзя представить себе замкнутым, аскетичным и книжным. Не было ничего подобного при всей его привязанности к книгам и начитанности. Я знал его общительным, любящим бражничание, застольную беседу, поездки, веселый смех, настоящее остроумие, радость. В нем было много от хорошего гусарства. Недаром он писал:

Гусары влюблялись в цыганок,
И седенький поп их венчал.

И сам он, конечно, был не прочь влюбляться. Понимал женщин. Поэт не может не любить радость. Он ведь работает во имя радости. Это его конечная цель. Кедрин, обожавший певчих птиц, одно время держал их у себя дома в клетках, заботился, кормил. Потом отказался от своей затеи. Видимо, ему не по душе стало держать птиц в неволе.

Дмитрий Кедрин любил снег на деревьях, на крышах домов и в своем маленьком дворике с низенькой деревянной оградой, багровую луну над ними. В такие ночи мы бродили с ним. Я и сейчас вижу его в белой короткой шубе, слышу его скрипучие легкие шаги на снегу...

3

В подмосковном селъце Черкизово, что по Северной дороге, я бывал у друга часто. А однажды довольно долго жил у него. Кедрин называл меня единственным абреком Подмоскovie. Его сынишка лет четырех, конечно, не понимал смысла странного для него слова, но тоже стал звать меня Абреком. Маленький Олег часто играл возле дома. Увидев меня, идущего к ним, бежал к отцу, громко и радостно крича:

— Папа! Абек идет! Абек идет!

С ним переживали мы много забавных минут. Отец сильно любил его, единственного сына. Дочь, Светлана, очень похо-

жая лицом на папу, была старше. Если Кедрину в годы войны удавалось достать немного конфет или печенья, он прятал их на ночь под подушкой мальчика, который находил их там, как только просыпался.

— Вот опять Дед Мороз принес тебе подарочек! Какой он хороший! — говорил отец.

— Хооший! — повторял мальчик с удовольствием.

Ясно, Дед Мороз был для Олега самым любимым из гостей.

Я тешил себя надеждой занять второе место.

Мы часто читали вслух Блока. Мальчик обычно крутился возле нас, играл. И однажды, когда мы с Кедринным сидели за столом, малыш бодро прошагал мимо нас, повторяя: «Милый друг, мы с тобой старики». У него это выходило замечательно еще и потому, что он не выговаривал «р», как часто бывает с детьми. Наблюдая за ним, я думал: «Вот будет умницей и талантливым человеком». Так и вышло бы, наверно, если бы не неожиданная беда: вскоре после трагической гибели отца мальчик утонул. Я никак не мог думать о таком конце их обоих. Я бывал счастлив с ними даже в самые несчастливые для меня дни. Тогда я не мог предполагать, что мне придется писать воспоминания о Дмитрие Кедрине, одарившем меня и обогатившем своей замечательной по бескорыстной чистоте дружбой. Такова неизбежность. Хотя бы поэтому трагическая поэзия всегда будет иметь место на земле.

4

Дмитрий Кедрин в отношениях с семьей был тонок и справедлив, как и с товарищами, которых любил. Думаю, что тонкость была его природной чертой. Но и воспитан был хорошо. Жена его, Людмила Ивановна, постоянно заботилась о нем. Трудности военных лет известны. Кедрина не щадила сил, чтобы муж и дети не голодали. Я был свидетелем ее стараний и трудов. Могу сказать, что она из ничего делала все. Сам я не раз ел из ее рук. Она была упорной, находчивой и рачительной хозяйкой. Я как-то спросил ее:

— Как живешь, Людмила Ивановна?

— Кручусь между Кедринным и печкой!

И это «кручение» выручало поэта, давало возможность писать. Все мы, кому дорога поэзия Кедрина, многим обязаны Людмиле Ивановне. Терпеливое, внимательное отношение жены — это большое благо для художника. Балкарские

горцы говорят: «Если на площади буря, пойду домой, а если и дома буря, куда я тогда пойду?!» Хорошая, понимающая жена — мудрый соавтор поэта. Они творят вместе. Людмила Ивановна заслужила наше уважение еще и тем, что приложила большие усилия, чтобы наследие Дмитрия Кедрина заняло заслуженное им место, дошло до массы читателей. Не каждый поэт оставляет после себя такого преданного друга. Пример Людмилы Ивановны лишний раз доказывает ту истину, что женщина терпеливее и самоотверженнее мужчины.

5

Дмитрий Кедрин оказал мне большую честь, посвятив мне одно из лучших своих стихотворений. Хочу рассказать, как оно родилось. Мое желание продиктовано не чувством тщеславия. Любителям поэзии, думаю, будет интересно почувствовать ту атмосферу, что ли, в которой родилась одна из замечательных вещей поэта. Мы воскресим в памяти неизвестные читателям черточки его характера, его отношения к людям.

В самом начале 1945 года я приехал с Кавказа в Москву. Собирался ехать в Среднюю Азию. Уже год находились там моя мать и все близкие. Это история длинная и мало-приятная. Подробно останавливаться на ней не стану. Из госпиталя я выписался еще в октябре, но рана все еще не зажила, ходил я, опираясь на палочку. Первое время жил в Мамонтовке. Часто приезжал на электричке в Черкизово. Нас как-то пригласил на именины дочери черкизовский приятель Кедрина. Был февральский метельный вечер. За кружащимся снегом не видно стало соснового бора и старой церкви, стоявшей наискосок от дома Кедриных. В гости мы шли с удовольствием. Признаться, и выпить были не прочь, и человек, пригласивший нас, был нам приятен. Галина Зубарева часто приходила к Кедриным. По-моему, она готовилась тогда стать артисткой. Хорошо читала стихи. В ее молодом, горячем исполнении мы однажды слушали даже лермонтовского «Мцыри» целиком. Не думаю, чтобы я был равнодушен к ней.

Итак, мы пошли на именины Гали. Двери открыл ее отец. Из натопленного дома вырвался густой пар, смешался с метелью.

— Добро пожаловать! — весело встретил нас хозяин, шутливо добавил: — Я уже пьян, господа генералы от литературы! Что вы опаздываете?

В доме было тепло, а стол даже богат для того времени. Присутствовало, думаю, человек пятнадцать. Мы с Митей сели друг против друга. Поздравили молодую именинницу. Выпили. Пока все закусывали, я сказал Кедрину:

— Знаешь, я мог бы быть офицером Шамиля!

Он ответил:

— Ты уже был им!

Через несколько дней я снова приехал к нему. Он протянул мне лист нелинованной бумаги. Это были стихи, обращенные ко мне! С тех пор прошло много лет. Было всякое. А автограф я сохранил. Еще бы! Вот он и сейчас лежит передо мной. На листе сверху три звездочки, а с отступом влево тонким почерком выведено: «Кайсыну Кулиеву». Внизу подпись «Дм. Кедрин». В книгах же поэта стихотворение печатается под названием «Другу-поэту». Название не отличается оригинальностью, банально. На такое Дмитрий Кедрин не согласился бы! Впервые эти стихи опубликованы в «Избранном» поэта, выпущенном издательством «Советский писатель» в 1947 году.

В том издании была еще изъята строфа, позже восстановленная:

И, как Байрон хромя,
Проходил к очагу.
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу...

Видимо, мудрый редактор решил, что для раненого Кулиева слишком велика честь хромать, как Байрон! А вот Кедрин по простоте душевной не понимал этого. У автора сказано: «Я не знаю, как пишут по-балкарски «поэт». Это заменили словом «по-кавказски», хотя вышло и нелепо: как известно, Кавказ многоязычен. Я забыл предупредить составителей, и до сих пор стихотворение перепечатывается с таким досадным искажением.

Как я обрадовался этим стихам в тот зимний день! Если бы мой друг мне, молодому горцу, в те дни подарил коня, я не был бы так рад. Благородство поступка Кедрина станет особенно очевидным для читателей после того, как я рассказал, в какое положение судьба поставила меня тогда. Его добрый шаг явился продолжением прекрасной традиции великой русской поэзии, лучшей части интеллигенции России, их уважения к другим народам. Я понимал это и тогда. В стихах, подаренных мне, кроме их высокой художественности я увидел замечательное осязаемо-тонкое чувство истории.

Мне хочется привести стихотворение точно в таком виде, каким я принял его из рук Дмитрия Кедрина.

Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе: «Здравствуй!»
Офицер Шамяля.

Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.

Искры святочной ваты
Блещут в тьме голубой...
Верно, в дни газавата
Мы встречались с тобой.

Тлела ярость былая,
Нас враждой разделя:
Я — солдат Николая,
Ты — мюрид Шамяля.

Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски «поэт».

Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас
Кабардинцу — Россию,
Славянину — Кавказ?

Эта сила не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведем,
Заходил ты, как в саклю,
В крепкий северный дом.

И, как Байрон хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу,—

В очаге, не померкнув,
Пламя льнет к уголькам,
И, как колокол в церкви,—
Звонок тонкий бокал...

К утру иней налипнет
На сосновых стенах.
Мы за лирику выпьем
И за дружбу, кунак!

Случайный, незначительный, казалось бы, разговор побудил Дмитрия Кедрина написать такие тонкие, благородные стихи. Его человеческая и художественная честность была безупречной. Таким он и остался в памяти товарищей и читателей.

Эти беглые заметки мне хочется закончить стихотворением, написанным мною в Средней Азии.

Памяти Дмитрия Кедрина

В заснеженном поселке Подмосковья
Мы сживали часто, коротая
Досуг в домишке из сосновых бревен,
И вслушивались в завыванье вьюги.
Его густые волосы сбегали,
Пересекая лоб открытый слева.
Как были тонки и подвижны пальцы!
Он голову откидывал при чтенье,
Он отличался легкою походкой,
Он радовался, как дитя, пороше.
Я помню — он любил смотреть подолгу
На снег, свалившийся на плечи леса.
Когда читал он вечером метельным,
России сердце в тех строках стучало,
Я видел битвы на равнинах снежных
И ощущал себя их очевидцем...

Смерть меднохвостой огненной лисицей
Выглядывала из леса и снова
Скрывалась.
Мы же не подозревали
(Хотя сосновый бор так близко, близко!),
Что на снегу нетронутым, конечно,
Она следы незримо оставляла.
В те дни глядели мы не на лисицу,
А в песен чистые глаза гляделись.
Какое дело было нам до смерти!
Ушел вослед лисице меднохвостой
Мой друг с безоблачным и добрым сердцем.
Что делать! Уходящий за лисицей
Уже не возвращается обратно.
Его пути заносит снег глубокий,
А расстоянья поглощают голос.

Вступают смерть и память в поединок,
Да друга память уступить не хочет!
Поэзия спешит на бой со смертью,
Поэзия бросает смерти вызов,
Стихи говорят: не отдадим поэта!
Когда из жизни он ушел, планета
Мне показалась холодней, суровой.
Обычно это происходит с нами,
Когда теряем близких безвозвратно.
Всю силу дружбы — крепости алмаза —
Оставьте мне, Поэзия и Память!..

1945—1948

МУЖЕСТВО И СОБРАННОСТЬ

Встречи, беседы, общение с Константином Михайловичем Симоновым были для меня интересны, приятны и очень полезны. Наши дружеские отношения установились давно, когда мы оба были молоды. Еще в те годы я привязался к нему, привык к общению с ним, меня всегда тянуло к нему. А потом на долгие годы это стало моей потребностью. Боже мой! Мне и в голову не приходило, что буду писать об умершем Симонове! Мне казалось, что ему отпущен долгий срок. Да, никто не мог предвидеть его преждевременного горького ухода. О Твардовском мы также думали, что ему, судя по его облику, предстоит долгая жизнь. А оказалось... Что и говорить — печально!

Вскоре после смерти Симонова мне звонила Софья Григорьевна Караганова и просила написать статью для книги воспоминаний о Константине Михайловиче. Я не смог. Мне было слишком горько, и все слова о человеке, которого я любил, казались мне бессмысленными, ненужными. И теперь я засел за эти страницы не с целью писать воспоминания. Мне просто хочется, чтобы Константин Михайлович присутствовал в книге, где сошлись мои друзья — живые и ушедшие. Его присутствие для меня необходимо. Он входил в мой дом походкой человека, знающего цену человеческому достоинству, человека, вызывавшего чувство уважения даже у тех, которые видели его впервые. Пусть вот так же войдет он и в мою книгу о тех, кого люблю. Да, эта книга о моих друзьях, от Пушкина до Дудина, от Руставели до Шукрулло.

Пусть будет всего несколько страниц, но все равно я должен написать о нем слова уважения, любви и признательности. Пусть в моих заметках будет хотя бы несколько строк скорби, вызванных преждевременной смертью друга, чтобы я горестно склонил в них голову перед его памятью. Мы были почти ровесники — всего два года разницы. Мы не знали, кому из нас выпадет горевать об уходе товарища. Он ушел раньше. Мне суждено скорбеть о нем и чтить его память. Годы идут. А я продолжаю неотвязно думать о нем, о его преждевременной смерти так же, как о несправедливом уходе Пастернака, Твардовского, Кулешова, Леонидзе, Чиковани и Вургуна. Все они ушли, не дожив до должного срока. Симонов, Луконин, Кугультинов и я стояли вместе в почетном карауле у гроба Ярослава Смелякова. После этого Константин Михайлович сказал:

— Стоять, как сегодня, приходится так часто, что самому уже хочется полежать!

Не так уж долго, к несчастью, пришлось ему ждать этого — тоже лег! Симонов был из тех, кто умеет ценить дружбу, дорожить ею. Ему также нравилось писать о дружбе. Мы помним его стихи, обращенные к Самеду Вургуну, Евгению Петрову. Не все знали, что он был добр. Мы с Давидом Кугультиновым видели, как Константин Михайлович плакал на похоронах Аркадия Кулешова. Он тогда, разумеется, и не думал о том, что так близок конец его пути, что смерть уже «посматривает на него с ближнего холма». Он плакал о раннем уходе одного из лучших поэтов страны и редкого человека, каким он и мы знали Кулешова. Жизнь Симонова оказалась такой же короткой, как и жизнь его белорусского собрата, оплаканного им ненастным днем в Минске. Будучи мужественным человеком, он был и добрым, хорошим товарищем. Кстати, все это без мужественности и невозможно.

Константин Симонов, ладно скроенный, имевший прекрасную внешность, был крепок, смел, любил мужество и смелых людей. До конца своей жизни он оставался человеком исключительной собранности, работоспособности, воли. Симонов писал в любых условиях — в поезде, самолете, не считаясь с неудобствами, трудился вообще с редким упорством. В нем не было и тени той расхлябанности и неярashливости, отсутствия рабочего режима и дисциплины, что бывает порой среди писателей. Такая дисциплинированность и организованность у Симонова были при всей его любви к поэзии независимо от того, что он в данный момент писал — прозу или пьесу. В душе он постоянно оставался предан-

ным поэзии. Константин Михайлович был труженик в самом серьезном смысле этого слова. Мне, в частности, это очень нравилось в нем.

Вскоре после его смерти мне привелось лежать в той же больнице, где лечился и он, смертельно больной. Врачи и медсестры рассказывали, что, заходя к нему, каждый раз заставляли его за работой. Ему говорили, что он переутомляет себя. Константин Михайлович отвечал, что иначе не может, так привык, это ритм его жизни. Посещая его в больнице, я видел это сам. Симонов должен был поехать с нами в Монголию на празднование годовщины победы над японскими захватчиками на Халхин-Голе. Он лежал в больнице, ехать не мог, жить ему оставалось совсем мало — считанные дни, но все равно написал большое письмо товарищу Цеденбалу, которое мы повезли и вручили адресату. Да, Симонов был человеком-бойцом, художником-созидателем, певцом мужества волевых, смелых людей. Можно было позавидовать его трудолюбию и воле к жизни. Он опрокинул, опроверг своей жизнью и работой мнение, что поэты живут беспорядочно. Оказалось, что это относится не ко всем поэтам. В войну его стихи читались всеми на фронте и в тылу, переписывали бойцы и посылали родным, любимым девушкам и женам. Особенно большой успех выпал на стихотворение «Жди меня», которое стало невероятно популярным. Едва ли стихи пользовались у нас подобной известностью со времен необыкновенной славы Есенина. «Жди меня» положил на музыку не один из композиторов. Его пели все и всюду. Да, Симонов имел громадную известность, был знаменит. Несмотря на это, он остался верен себе — в нем не появилось никакой расхлябанности, которая настигает многих из художественной интеллигенции как придаток известности, популярности. Правильно понять, оценить как раз известность и популярность и отнестись к ним должным образом — мудро и спокойно, может быть, и с некоторой иронией — умеют, к сожалению, не все из тех, к кому они приходят. И в этом смысле Константин Михайлович составлял приятное исключение, оставался мудрым работником в литературе.

Так было. Мы это помним. Нам также памятна и наша трудная, но славная боевая молодость, когда мы сражались против озверевшего фашизма, проходя испытания огнем и сталью. Тогда же Константин Симонов, наш ровесник и сверстник, стал любимым поэтом поколения. С войной он встретился еще на Халхин-Голе, в Отечественную, вновь в

качестве военного корреспондента, исколесил многие фронты, хорошо узнал войну и людей на войне. Ему была по душе храбрость. Но он также хорошо знал и понимал тяготы фронтовой жизни, каждодневные опасность и гибель. Поэтому в стихах и прозе старался быть верным правде войны, говорил не только о мужестве и воле к победе, но и о тех лишениях и страданиях, через которые люди на войне шли к победе над фашизмом. Он не избегал в своих книгах разговора о смерти бойцов, очень хотевших жить, но сражавшихся отважно и погибавших за родную землю. Тот, кто с полным пониманием относится к тяжкому труду воюющих, уважает их как людей, ежечасно лицом к лицу встречающихся со смертью, тот не может позволить себе солгать о них ни в жизни, ни в книгах. Лгать не позволяют понимание и совесть, без которых нельзя писать о таких серьезных и святых вещах. Но в жизни бывает всякое... Ясно одно: книга, в которой автор прошел мимо тягот и страданий, преодоления горя, бед, страха, стать произведением искусства не может — в ней нет настоящей жизни с ее мужеством, горем и болью, через которые человек в своей тяжелой борьбе, грозящей ему гибелью, идет к победе и радости. В действительности бывает только так. А в плохих книгах несовестливых и бездарных авторов — наоборот. Это хорошо знал Симонов — настоящий и мужественный художник. Он не позволил себе сказать неправду о фронтовиках, об их тяжелой жизни и часто трагической судьбе. Этим и нравится всем нам его военная трилогия. Мне хотелось бы выделить ее первую книгу — «Живые и мертвые», книгу о самом начальном, самом трагическом и тяжелом для нас периоде войны.

Это читателям известно и без меня, но мне нужно подчеркнуть добросовестность, совесть и смелость Симонова в изображении войны и людей, сражающихся с врагом, преодолевающих все невероятные трудности и лишения. Не во всех книгах о войне присутствует правда жизни. Этого избег Константин Симонов, как крупный человек и писатель. Тем ценнее его книги о войне. Его книги читают во многих странах мира. Можно сказать, что он имел мировую известность. Мне вспоминается отношение Твардовского к этой стороне писательской судьбы Константина Симонова. Александр Трифонович возвратился из Италии после первой, кажется, поездки туда. Он тогда нам сказал, что Симонова знают и переводят на Западе. Великий поэт говорил это с явной симпатией и уважением к Константину Михайловичу,

с признанием значительности его работы, его роли в советской литературе. А это очень важно, ибо это мнение Твардовского, так строго относившегося к делу писателя.

Мне хочется отметить, что в этот период между Твардовским и Симоновым, насколько мне известно, завязались более тесные дружеские отношения. Так случилось, разумеется, не потому, что Александр Трифонович узнал, что Симонова много переводят на языки мира и воочию убедился в этом сам, так сказать, на месте. Думать так было бы наивно и неверно. К тому времени он просто лучше узнал своего младшего собрата и в большей, чем прежде, степени признал его как художника, как мастера слова. А все же и то обстоятельство, что Симонова признавали в других странах и переводили, его международный авторитет также говорили Твардовскому о серьезности творчества писателя. Что касается отношения Константина Симонова к Александру Твардовскому как поэту, то автор «Василия Теркина» для него давно был великим советским поэтом. Об этом он говорил в наших беседах неоднократно. Теперь это уже известно — Симонов успел написать о Твардовском.

Он был скромного мнения о своих стихотворных произведениях. Иначе как понять его собственные слова: «Не существует понятия — «поэзия Симонова». Это ведь он сам говорил. О прозе своей писатель был другого мнения. От него мы слышали: «Смею думать, что понятие «проза Симонова» существует...» Я не могу, не смею сомневаться в искренности его слов. Ведь не было никаких причин быть неискренним, когда давалась такая самооценка. Такой разговор имел место в последние годы жизни Константина Михайловича. Должно быть, в то время он так и думал. А в молодости, видимо, был иного мнения о своей поэзии. Как известно, Симонов долгие годы почти не писал стихов. Возможно, мешала работа над военной трилогией, а может быть, имелись другие причины. Кроме прочего, он придерживался мнения, что поэзия — дело молодости. Верно это или нет — речь сейчас не об этом. Остается фактом, что Константин Симонов не однажды высказывался о поэзии в таком смысле. Я, например, в этом не был согласен с ним. Мы помним Гёте, Тютчева, Фета, Рабиндраната Тагора. Тут, по-моему, нужно сделать такой вывод: если не пишется — не надо писать. Стихи ли, проза ли — все равно. Это будет самое верное. От себя мне еще хочется сказать: Константин Симонов, как мне представляется, остался в советской поэзии одним из крупных ее создателей и мастеров. Цитировать и таким путем стараться

убеждать кого бы то ни было нет нужды — поэта Симонова знают все. Понимая это, я отказал себе в удовольствии цитировать его стихи.

В начале этих заметок я предупредил читателей, что сел не воспоминания писать, хотя их у меня достаточно. Как бы то ни было, все же и в этих беглых записках тоже должны быть хоть какие-то крохи воспоминаний о Константине Михайловиче и о том, чем я ему был обязан лично. Ведь человека в большой степени характеризует его отношение к людям — товарищам, друзьям, коллегам. Ничем, кроме своего дружеского к нему отношения, быть полезным Симонову я не мог. Поэтому для меня имело особую цену его дружеское расположение ко мне и то, что он даже в самых серьезных обстоятельствах приходил мне на помощь, поддерживал, выручал, притом без моей просьбы. Я не только в отношениях с ним, но и со всеми друзьями и товарищами всегда старался не быть назойливым, что считал противным в людях. Симонов по своей воле проявлял не только великодушие, но выказывал смелость и решительность. Не сказать об этом, не подтвердить это мне, конечно, нельзя. Иначе я окажусь неблагодарным человеком, которому и помогать бы не стоило.

У балкарских крестьян бытовало старинное и горькое присловье: «У бедняка родственников не бывает». Что греха таить, люди часто хорошо относятся к тому или другому человеку, когда это полезно и выгодно в каком-нибудь смысле, то есть имеет корысть. Так и бывает в жизни, и не очень редко. Это начисто исключалось в наших с Симоновым отношениях. Практически, повторяю, ничем не мог я быть ему полезным. А он продолжал поддерживать меня (я уже писал об этом), как поддерживал всех тех, кто нуждался в его помощи.

При жизни Константина Симонова я был ему признателен. Теперь, когда он ушел от нас, я кланяюсь его имени и памяти, свято берегу это имя в своем сердце. После его смерти многие лучше, чем раньше, поняли, какой большой писатель и значительный человек так преждевременно ушел из жизни. Да, он был значителен во всем. Горько думать о его смерти, но долг живых — учиться и на его примере, стараться не забывать и его уроков. С нами остаются замечательные книги Симонова, его мужественное отношение к жизни, благородство и прекрасный облик. До нас как бы издалека, из-за деревьев, доносится его милый голос с трогательной, как бы детской, картавостью речи.

Мы с любовью помним его внимательное отношение к

культуре и литературе республик страны. У него было много друзей среди национальных писателей. Сам он являлся крупным деятелем великой русской литературы, истинным сыном России. Поэтому с уважением и интересом относился к другим народам, к их культуре, как и Николай Семенович Тихонов. Это была черта подлинного интернационалиста-ленинца.

Мы, кавказцы, рады, что он интересовался Кавказом, как и многие из выдающихся деятелей русской культуры, был привязан к Кавказу, любил его. Свой самый серьезный труд — военную трилогию — в основном писал в Кабардино-Балкарии — под Эльбрусом и в Абхазии. Он приезжал к нам то зимой, то летом. Я отвозил его под Эльбрус, и он спокойно трудился там в тишине, писал, глядя на снега вершин, — зимой ли, летом ли — все равно они здесь не тают, их белизна постоянно перед глазами. Константин Михайлович просыпался утром, а в его окно смотрела белая гора! Он в горах катался на лыжах, загорал даже зимой — сила ультрафиолетовых лучей высокогорья! Бывало, от нас он уезжал загорелый, черный, здоровый и бодрый. Мы бывали рады. Снова ждали его к себе — и горы, и мы.

Я рад не только тому, что Константин Михайлович общался, дружил со мной, но еще и тому, что он был на коротке и с нашими горами, общался, беседовал с ними, как и со мной. Они давали ему творческое настроение, бодрость, он дышал их высотным воздухом, им радовались его душа и его глаза.

Горы Приэльбрусья снова молчат в раздумьях, как и в те дни, когда на них смотрел Константин Симонов. Мне показалось, что они так же, как и мы, помнят нашего друга и, прервав свои раздумья о вечности и бурях, прошумевших над ними в бесчисленных веках, думают о нем. Я опять смотрю на Эльбрус с той маленькой зеленой полянки, где мы стояли с Константином Михайловичем в первый наш приезд в Приэльбрусье. Я думаю о нем, незабываемом для меня человеке. А над горами проходят облака, как тысячи лет назад...



ВЛАСТЬ ТАЛАНТА

не, немусыканту, гово-
рить или писать о Георгии Свиридове дает право только
моя любовь к его могучей музыке. Кажется, я нашел под-
ходящее определение — она именно могучая. В этой музыке
заклучена огромная сила, ее мощь действует неотразимо.
Свиридов — выдающийся художник и неутомимый мастер.
В этом невозможно сомневаться, если ты знаешь хотя бы
«Патетическую ораторию» или «Поэму памяти Сергея Есе-
нина». Так думаю о нем не я один. Мне приходилось быть
свидетелем, как в больших городах Европы слушают музыку
Георгия Свиридова, как сильно она действует на слушате-
лей.

Думаю, что невозможно не удивляться тому, каким обра-
зом композитор постигает дух таких разных поэтов — и по
времени и по стилю, — как Шекспир и Есенин, Беранже и
Маяковский, Блок и Пастернак. Даже романсы на стихи
Пушкина совсем молодого Свиридова замечательны — ори-
гинальны, своеобразны, глубоки. К примеру, возьмем «Зим-
нюю дорогу». На эти стихи и до Свиридова писали музыку,
но он нашел совершенно другой, новый язык для музыкаль-
ного воплощения стихотворения, хорошо знакомого всем нам
с детства. Слушаешь — и тебе кажется, что другой мелодии,
другого музыкального решения темы тут не могло быть.
Это — от чудотворства таланта.

А как хороша музыка на стихи Бернса! Все это так же
просто и сильно, как и лирика самого прославленного шот-

ландца, находится в полном соответствии со стихами поэта. И так всякий раз — на чьи бы тексты ни писал композитор. Для каждого автора он находит особый, неповторимый, необыкновенно выразительный музыкальный язык и стиль, кажущиеся единственно верными, точными и возможными, будто музыка иного звучания и характера здесь не подойдет. А какие напевы им найдены для стихов Аветика Исаакяна, как он проникся его лирикой! «Легенду», «Камень», «Изгнанника» смело можно назвать шедеврами — такая потрясающе сосредоточенная музыкальная мысль, просветленная, трагическая музыка. Композитор снова нашел единственно верные ритмы, самые нужные интонации и краски для трагических стихов мудрого армянина. Исаакян — и впрямь дивный поэт. Здесь сошлись два моих любимца — два превосходных мастера. Георгий Свиридов замечательно чутко постиг дух и глубину лирики поэта. Вечер. Мать произносит молитву о сыне-скитальце («Изгнанник»). Вся боль, вся тревога сердца матери, вся материнская тоска, страдание, которому нет имени, мольба не только о своем сыне, но и за всех бездомных, стон доброты и благожелательства в отношении всех гонимых сыновей слышим мы в этой мелодии, именно светом доброты пронизана вся она, а еще — светом сострадания. Поразительное по силе лиризма погружение в мир матери, ждущей сына-изгнанника, постижение горьких ее раздумий и надежд.

Сочинения, о которых я пытаюсь сказать, относятся в моем представлении к самым глубоким достижениям, высшим созданиям вокальной музыки. Все интересующиеся творчеством композитора понимают, видимо, то, что его искусство — явление редкое, что у него — мировое звучание, а также особый характер, стиль и язык. Выдающийся мастер открыл собственный мир в музыке. Свиридов — отважный новатор. И в то же время прост той высшей простотой, присущей крупным явлениям, таким, скажем, как Твардовский, памяти которого композитор посвятил сильную поэму, как Исаакян и Пастернак, на стихи которых он писал музыку.

Мне хочется подчеркнуть, что сила искусства Свиридова — в ее глубине и народности, мощи чувств, новизне языка и выразительных средств. И в то же время такая новизна не имеет отношения к надуманной труднодоступности. Такому художнику не нужны ребусы в искусстве, ему некогда заниматься пустяками, он не делает новизну самоцелью, у него все в высшей степени естественно. Так диктуют большому мастеру жизнь и талант.

Слушая музыку Свиридова, мы радуемся и думаем: «Как хорошо, что рядом с нами живет такой художник!» Давно известно, что талант — это каждый раз редкость. Поэтому встреча с ним — также радость всегда. Мне повезло. Я не только знаю изумительную музыку моего любимого композитора, но приходилось встречаться с ним не раз, делиться с ним мыслями, заботами, планами, слушать его оригинальные высказывания о жизни, о музыке и поэзии, о художественном творчестве вообще, о долге и месте художника в человеческом обществе и особенно в наше время, в наш сложный век. Из этих бесед я вынес многое для себя. Сказанное Георгием Васильевичем каждый раз заставляет меня задумываться, стараться лучше понять жизнь и сущность искусства. На свете ведь ни для кого, даже для гениев, нет ничего готового. Всякий сам для себя должен каждый день заново открывать и жизнь, и искусство, секреты творчества, их суть и форму.

Мне дорого то серьезное и углубленное отношение к творчеству, которое я встречаю всякий раз, беседуя со Свиридовым. Это касается философии творчества и практики художника. Георгий Васильевич относится к себе не только строго, но и без пощады. Он строг и суров во всем, только очень мил, добр и обходителен в отношении друзей, которых любит. И живет он и трудится как великий мастер, всего себя отдающий своему труду — творчеству, музыке, считая это счастьем для себя. Иначе и не создаются настоящие художественные ценности. Большой художник не может работать вполсилы. Георгий Свиридов одержим, как ему и велено самой его природой. Он мастер, весь проникнутый энергией и строгостью творчества.

Я люблю видеть, когда Георгий Свиридов аккомпанирует. И тут он прекрасен, как и тогда, когда создает свои блестящие произведения. Дело и здесь не только в мастерстве, а еще — во вдохновении, в горячей отдаче всего себя творчеству, порыву, беспредельной преданности своему делу, в одержимости. И это искусство Свиридова доставляет нам громадную радость, вызывает восхищение. Я не мог продолжать жить, не высказав своего мнения об этом истинно выдающемся художнике, великом музыканте, жить в одно время с которым для меня большая радость. Поэтому я и дерзнул написать о нем эти скромные строки. Мне было необходимо высказаться и освободиться.

Людьми всегда было трудно жить. Поэтому они и придумали искусство, как и молитвы. Когда рядом с тобой люди,

которых ты любишь, которым веришь, тебе легче жить и делать свое дело, переносить тяготы и испытания, выпадающие на твою долю. Любимые же музыканты, поэты — вообще художники — становятся незаменимой опорой и поддержкой, утешением в боли, дают надежду, вливают в твою душу энергию, когда ты устал и тебе трудно идти дальше, они становятся твоей силой и твоей радостью, вселяя в тебя веру в непобедимость жизни, человеческой совести. Таким другом для меня давно стал Георгий Свиридов. Сказать так, наверное, могут очень многие. А не это ли счастье для художника? Он ведь ради этого живет и трудится.

Снова я говорю слова моей любви к блистательному художнику, одному из крупнейших музыкантов мира. И мне хорошо от этого. Ему я посвятил два стихотворения, этим стараясь выразить мое уважение к нему, мое восхищение им. Он давно и щедро одаривает меня. И его дары с моими не сравнить — он богач, чародей! К сказанному о Георгии Васильевиче мне хочется присоединить и стихи, знак моей признательности любимому композитору.

Музыка

Георгию Свиридову

Печальна и чиста,
Как жизнь, людьми любима,
Как жизнь, ты не проста,
Как жизнь, непостижима,
Музыка.

Везде, в любом краю,
Летишь ты с губ и клавиш.
Свистящую змею —
И ту застыть заставишь,
Музыка.

Ты даришь камню гор
Язык твой чудотворный,
Тюремный тесен двор, —
С тобою он просторный,
Музыка.

На свете каждый миг
Мелодия рождается.
Ты — сладостный язык
Дождя, ручья и птицы,
Музыка.

Ты — и весенний гром,

И хлябь ночей ненастных,
Ты стала языком
Счастливых и несчастных,
Музыка.

Ты — немота светил,
Молчание тумана,
Боль тех, кто долго жил,
И тех, кто умер рано,
Музыка.

Пусть в мире прижилась
Лишь часть твоих мелодий,
Твоя безмерна власть
Над теми, кто свободен,
Музыка!

(Перевод Н. Гребнева)

Мы слушали музыку

Геorgию Свиридову

Мы слушали музыку. Вечер и сад,
Так верили ей, так мысли парили,
Как будто и музыка, и снегопад —
И все это с нами случилось впервые.

Впервые, давно, до всего, до судьбы,
До участи хлеба, постигшей колосья,
До тяжести, обременившей сады,
До встречи кувшина с водою колодца.

Казалось, что пуля не знает ствола,
Петух не приходит заре на подмогу,
Рука человека огня не зажгла
И жернов еще не учился помолу.

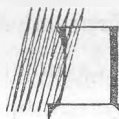
Нет времени позже, чем ранняя рань,
Нет опыта утра у мглы предрассветной,
Не ведает тело премудрости ран,
И нет ничего, кроме музыки этой.

Мы слушали музыку в мире пустом,
Уже существуя, еще не печалась,
Страданья — потом и несчастья — потом,
Пока только музыки первоначальность!..

(Перевод Б. Ахмадулиной)

НААПЕТ КУЧАК — ВЕЛИКИЙ ЛИРИК

1



Даже знатоки армянской поэзии и ее истории мало знают о жизни Наапета Кучака. Неизвестен и год его рождения, считают, что он умер в 1592 году. Значит, жил в XVI веке. И все же я могу сказать, что мы знаем о Кучаке много, знаем главное — его лирику, которая живет уже четыре века. Конечно, интересно знать все подробности жизни крупного художника, но сутью его бытия и главным в нем являются его создания, они и есть его жизнь, его сердце, его мысль, тревоги и надежды. Мы благодарны безымянным создателям сокровищ народной поэзии, не зная ни их имен, ни их жизни. А потомки автора знаменитых айренов — крупнейшего поэта армянского средневековья — знают, кому быть благодарным за одно из лучших выражений своего национального духа: Наапету Кучаку — великому лирику. Я прочел его стихи в точном подстрочном воспроизведении и поэтических переводах. От них повеяло на меня душевной мощью большого художника и светом сердца мудреца. Мудрыми были и Пушкин, и Исаакян, и Блок, и Лорка. Мудрость художника особая, это мудрость сердца. Ее не надо путать с умением жить благополучно и хорошо устроиться в жизни. Последнее плохо удавалось поэтам.

Прозорливость художника тоже особая, ибо его сердце — сердце народа, его глаза — глаза народа, иначе художник не знал бы, куда направить свои силы, не видел бы света будущего. Стойкость и мужество придают ему особую художническую мудрость и прозорливость.

Вот таким я вижу и сегодня армянского лирика. Я вижу его таким и оглядываясь на четыре столетия назад. Только человек, наделенный выдающимся талантом, высокой мудростью и большой прозорливостью, мог писать в эпоху средневековья стихи, прославляющие жизнь и любовь. А верить в жизнь и человеческое сердце — значит верить в будущее своего народа и человечества. Стихи Кучака вызывают горячий интерес не только армянских читателей, но и всех, кто интересуется поэзией, любит ее.

Валерий Брюсов, приступая к подготовке и изданию Антологии армянской поэзии, которая вышла в 1916 году, изучил историю Армении, ее литературу. Вот что он писал о Наапете Кучаке: «...стихи его остаются прекраснейшими жемчужинами армянской поэзии. Среди всех средневековых лириков Кучак выделяется непосредственностью и безыскусственностью своих вдохновений». И дальше: «Он независим в выражении своих чувств, он ближе к уличной толпе, нежели к дворцовым ступеням, его голос звучал не для «сильных мира сего», а в народных собраниях». И не будучи таким знатоком армянской культуры, каким был Брюсов, я сегодня воспринимаю Кучака так же горячо и такого же высокого мнения о нем. В высказывании Брюсова о Наапете Кучаке особенно метким и точным мне кажется замечание, что «его голос звучал не для сильных мира сего»... Дело в том, что на старом Востоке, да и не только там, даже талантливые поэты часто отдавали свой дар властителям, дворцовой знати, став придворными, восхваляя деспотов, воспевая мнимые подвиги жесточайших тиранов, несших народам разорение и гибель. Такие поэты проходили мимо судьбы народа, мимо труда, ума, радости и страданий человека. Губили себя, свой талант, лишали себя совести, достоинства, чести — драгоценнейших качеств человека и поэта, душили в себе искренность, без которой не может быть поэзии. А Наапет Кучак стал поэтом жизни, поэтом людей.

2

Говорят, что Наапет Кучак родился в селении Харакопис недалеко от города Ван и похоронен там же. О популярности и значительности поэта свидетельствует то, что могила его стала местом поклонения. Не всякому поэту выпадают такая посмертная честь и слава.

Брюсов считал главным в творчестве армянского лирика его айрены — четверостишия о любви. Он подчеркивал:

«Единственный султан, перед которым Кучак склонял голову, была его вечная и властная повелительница — любовь». Тема любви была и остается одной из самых высоких и неисчерпаемых тем мировой лирики. Какой из поэтов всех народов не припадал к вечно живому роднику любви! Они делали это отважно, как Кучак, и в те времена, когда любовь к женщине и жизни считались грехом, запретным плодом, а женщина и ее красота — не достойными поклонения.

Бесстрашие — самое прекрасное в человеке и самое труднодоступное. И для художника оно большое благо наряду с талантом. Бесстрашие так же прекрасно, как совесть и талант. Кучак обладал не только выдающимся талантом, но и бесстрашием, иначе он не смог бы оставить потомству свои песни, спетые во славу человека и его любви, и бросить свое сердце в будущее, как раскрывшийся на рассвете цветок.

Где женщина — основа жизни — закреплена, притеснена, забита и убога, там неблагополучна вся жизнь и несчастен народ. Женщина не только вскормила человечество, но и светом сердца, светом доброты, материнского чувства осветила жизнь. Кто не любит женщину, тот не может любить жизнь. Красотой женщины озарено все наше бытие. Женская красота — великий дар живущим, ничем не заменимое благо и счастье. Так думали все большие поэты на свете, так думал и Наапет Кучак. Вот его строки, дышащие вдохновением и страстью:

Ты в мире — перстень золотой, а я — алмаз на нем,
Ты — зелень, нежащая пруд, а я росинка днем,
Ты — яблоко, что берегут, я — лист в венце твоём,
И я, когда тебя сорвут, иссохну под лучом.

Поэт, охваченный страстью, ради любви готов прыгнуть в пропасть, как тур во имя своей свободы. Только благодаря силе самозабвенного чувства, пронзившего его стихи, благодаря такой безоглядности создания Наапета Кучака обрели долговечность, стали прекрасными, как сама любовь, как сама женская красота. Армянский лирик знал не только радость и восторг любви, но и ее горечь:

Мы пылали с тобой огнем,
Мы сгорали с тобой живьем.
Все прошло, ты узнать захотела,
Что со мною стало потом?
Все случилось, как ты хотела,
Что могло, все давно сгорело,
На костях моих нету тела,
Есть лишь пепел в сердце моем.

Признание, потрясающее глубиной боли, пронзительностью. Эти стихи относятся к редчайшим и сильнейшим в мировой трагической лирике.

Не меньшая драматическая сила заключена и в следующем стихотворении:

Я в любви, как ребенок малый,
Силой отнятый от груди.
Погляди, что со мною случилось,
Погоди уходить, пощади!
Ничего у меня не осталось,
Только тьма теперь впереди.
Сделай мне хоть малую малость:
Дай воды, мой огонь остуди!

Это голос человека, который жил четыре столетия назад! Он обжигает и потрясает нас и сегодня. Вот какую силу, какой негасимый огонь несет в себе поэзия! Слова, сказанные четыреста лет назад, живы и ныне, волнуют и удивляют нас, возвышают и осчастливливают. Великие поэты — вечные спутники живущих, как рассвет и сумерки, как облака над полем и лунный свет на дороге.

Наапет Кучак, сказавший горчайшие слова о любви, знал, однако, что роза не перестает быть прекрасной оттого, что у нее имеются шипы. Так же и женщина, но все равно она прекрасна. И благословенны ее красота, ее сердце! Разве не об этом говорят вот такие стихи, сказанные как бы на рассвете, в счастливый час, когда женщина озарила душу поэта ни с чем не сравнимым светом красоты и любви, светом высшего блага для человека:

О, царица, пусть будет воспета
Мать, что в муках тебя родила,
Ни луна, ни другая планета
Не светлей твоего чела.
Ты — звезда, что лишь в пору рассвета
Блещет где-то во тьме облаков,
Темноту отделяя от света
Там — у греческих берегов.

3

Поэты всегда знали, что на свете нет ничего прекраснее женщины, что она самоотверженнее мужчины, даже сильнее его; они знали, что несравненны и ничем не заменимы красота ее лица, глаз, рук, свет ее души. Они понимали, как прекрасна мать, склоненная над колыбелью ребенка, или женщина, разжигающая огонь в очаге на заре, или латающая одежду

своего мужа зимним вечером, или месящая тесто, чтобы испечь хлеб своим детям. Поэтому женщина и любовь к ней так мощно, так бессмертно воспеты всеми поэтами мира. Лирика любви — одно из величайших достижений мировой поэзии и культуры, и среди тех, кого мы должны благодарить за нее, сверкает имя армянского поэта Наапета Кучака.

Но Кучак был не только поэтом любви. Через его сердце прошли беды его времени, его многострадальной страны, родного народа. Честное сердце большого художника не могло не быть раненным тяжелой жизнью простых людей:

Цари, князья, врата закона, властители земли,
Вы, злых начальников поставив, скрываетесь вдали.
Пришли к вам те, кого на горе, на смерть вы обrekli.
Подумайте, они не к богу — к вам с жалобой пришли!

Поэт говорит здесь от имени обездоленных тружеников. Кучак был поэтом неимущих, народным поэтом. Каждый истинный художник живет и трудится на благо народа, он не на стороне тех, кто угнетает, а — угнетенных, тех, кто нуждается в опоре и поддержке. О бедах Армении, которую терзали бесчисленные враги, Кучак пишет:

Если б стало чернилами все бесконечное море,
Тростники всех болот стали перьями б,
с лучшими споря,—
Все монахи Стамбула и Рима и наших нагорий,
Мудрецы Хоросана, Мугри — будь хоть все они
в сборе,—
Не могли бы прочесть эту длинную летопись горя.

В эпоху, когда жил Кучак, опустошали Армению чужеземные захватчики, страна на время теряла государственную самостоятельность. Историк пишет: «Армения превратилась в отчизну скорби». Вот чем порождены приведенные выше горчайшие строки. В них слышится сквозь века голос горя и протеста армянских пахарей, каменотесов, мыслителей. Кучак дал нам возможность ощутить боль и страдания, которые терпел народ в те мрачные годы, с болью и горечью он писал о харибах-скитальцах, изгнанниках, лишившихся родной страны и очага.

Удивительны судьба, душевная мощь и жизнестойкость народа, выдвинувшего большого поэта, сделавшего его выразителем своих чаяний и надежд, своей стойкости и мудрости. Не думаю, чтобы на свете был народ, который прошел бы легкий путь, каждый народ жил трудно. Но думается, что судьба Армении и ее история полны особого драматизма. Это легко

может увидеть, ощутить, почувствовать каждый, кто проходил по долинам и нагорьям древней страны, приглядываясь к ее горам, холмам, развалинам древних храмов — творениям замечательных зодчих, — читал книги ее поэтов и мыслителей. Поэт Геворг Эмин пишет: «Армяне свою страну называют «страной армян», Айастаном. Но есть и другое, созвучное этому слово — Карасан, «страна камней». Я тоже, не раз бывая в Армении, думал о том, что на армянской земле так много камней, потому что убить камень невозможно. Но враги, как они ни старались веками, не могли убить и армянский народ, его трудолюбие, его мысль, талант, надежды и упорство. Народ, так много вынесший на своем веку и перенявший стойкость камня, принес в дар миру неповторимые творения художников и поэтов, обогатив ими культуру человечества. Армянский народ один из самых мудрых и жизнестойких на свете. И его родина — его библейская земля — одна из удивительнейших.

Рокуэлл Кент сказал: «Если бы меня спросили, где на планете Земля больше всего можно встретить чудес, — я назвал бы в первую очередь Армению». Армения не только страна камня. Я видел Араратскую долину в пору созревания персиков и абрикосов. Глаза мои были счастливы. Это одна из самых прекрасных долин из виденных мною. Я смотрел на леса Лорийских гор и на вечно синий простор озера Севан, видел Арарат. Поразительны контрасты Армении. Такая страна не могла не стать родиной великих поэтов и художников, народ такой судьбы и стойкости не мог не породить выдающихся людей. Саят-Нова, Кучак, Комитас, Туманян, Исаакян, Сарьян подняли искусство своей родины до мировых высот. Я назвал несколько любимых мною имен, а сколько их еще у Армении!

4

Интересно, кем был Кучак? Я могу представить себе его ученым, склонившимся над древними книгами и рукописями, видящим, как возвышались и рушились царства, а народы оставались трудолюбивыми созидателями, и человеческая мысль сияла, как звезды над пашней. Я могу представить себе Кучака каменотесом-философом, понявшим язык камня, который он тесал, полюбив его неподатливость и вечность. Могу представить себе его и монахом, который на старости лет за монастырскими стенами коротал вечера и проводил бессонные ночи, думая о горькой судьбе своего народа, сла-

гавшим глубокие стихи, полные боли и веры в бессмертие армянской мысли, а когда он выходил на рассвете из своей кельи, радовался, видя синее небо над полями, видя горы, белым чудом высящиеся над родной страной. Но главное для нас — он был поэтом. Поэзия Наапета Кучака — доказательство того, как прекрасен талант, какое чудо — человеческое упорство и мысль. Каждое крупное явление человеческого духа — урок не только современникам, но и потомкам. Таким уроком остается и Наапет Кучак.

Мы должны доказать свою любовь к культуре других народов не только застольными тостами и речами с трибуны на совещаниях. Прекрасное в каждой культуре принадлежит всем людям. Замечательные создания армянского народа, его великих поэтов и художников дороги, близки мне, стали неотъемлемой частью моего духовного мира.

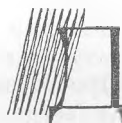
Я читал и перечитывал стихи Наапета Кучака, проникался их светом и горечью. Я беседовал с крупным человеком и проникновеннейшим лириком. Мне было хорошо, как тому, кто зимой запоздал в дороге и, добравшись до дома, сидит у горящего очага, и хотя он уже дремлет, но не хочет лечь спать: так блаженно у огня. Рукопись айрендов Кучака еще лежит раскрытая на моем столе. Я смотрю на нее с нежностью и думаю о долговечности настоящего слова и хрупкости жизни человека, о силе его духа, величии созданий его рук, ума, фантазии, о том, ценой каких страданий заслужили многие большие художники и мыслители признательность потомков.

Наапет Кучак! Длиннен путь твоего слова. И я, твой скромный собрат в потомстве, благодарен тебе за твое мудрое, чуткое сердце, неувядающее слово.



ТАК РАСТЕТ И ДЕРЕВО

1



Долго я думал об этих заметках. Все не решался взяться за них. Мне кажется, так боится человек впервые запеть при большом количестве людей. Кроме того, я боялся, что читатели подумают, будто я выдаю себя за знатока и ценителя живописи, когда таковым не являюсь и не имею права на это. Мои строки продиктованы только моей любовью к живописи и к одному из редких ее мастеров, моим восхищением его великим искусством, волнением, которое я испытывал при встречах с художником и его изумительными созданиями. Я тешу себя только тем, что буду говорить о нем несколько другими словами, чем искусствоведы-специалисты. Мне хочется выразить лишь свои ощущения, сказать о той радости, которую дала мне необыкновенная живопись Мартироса Сарьяна. Только мое такое отношение к нему дает мне право писать о моем любимце. Он — один из самых родственных мне, а может быть, самый близкий моей душе художник.

Каждой весной я вижу цветение абрикоса. Каждой весной хочу выразить стихами это вечное чудо жизни. Но не удается. И в душе моей остается только сожаление. Как горько, что можешь выразить словом не все, что чувствуешь. Потому я так благоговею перед музыкой и люблю живопись. В то же время я бесконечно благодарен слову за все пленительные шедевры поэзии. Без них я был бы беден. Все сущее на свете несет свою службу. Слово остается словом, крас-

ки — красками, звук — звуком, дерево — деревом, гора — горой. Навеки благословенно разнообразие мира!

Да, я не сумел выразить чуда цветения абрикоса. И никогда не сумею. Но это сделал Мартирос Сарьян. И как сделал! Ему до конца удалось то, о чем я только мечтаю. Этим он и дорог мне. Встреча с его искусством каждый раз для меня праздник. Быть таким художником — удел редких счастливых. Я говорю о своем удивлении и счастье видеть чудо — живопись Сарьяна. Это одна из высоких радостей, какие мне посылала судьба. Она не скупилась на беды и страдания, но не всегда жалела и щедрот. Такова жизнь. Я не исключение. Я не мог бы умереть, ничего не сказав о великом кавказце, живущем рядом со мной, видящем одну со мною землю, одно небо, один снег, один дождь и одно цветение дерева.

2

Что же такое Сарьян? Просто крупный живописец? Нет, не только. Он великий поэт, мудрец-философ, неутомимый землепроходец, открыватель неведомых стран и тайн искусства. Его творчество — это невыразимое цветение абрикоса, колдовскую силу которого никто не в силах растолковать, это вечно старая печаль и вечно новый праздник Армении и всей земли. Искусство Мартироса Сарьяна непосредственно, как народная детская песенка, и серьезно, как раздумья мудреца, который много видел, много пережил, знает цену всему — труду и хлебу, жизни и смерти, беседует с звездами и вечностью. У искусства свои законы. Сила его воздействия прежде всего в эмоциональности, в чувственном и предметном выражении жизни, пронзительность оно сочетает с глубокой мыслью. Мне кажется, что художнику ум и сердце служат в одинаковой мере. Таким творцом и является Сарьян. Он для меня — живая гора, которая изумляет глаза и навсегда покоряет сердце, осчастливливая высотой и могуществом, гора, причастная к долговечности или бессмертию. И я стою перед этой горой, от удивления раскрыв рот, как ребенок, беспомощный и счастливый. Может быть, моим словам не хватает спокойствия и сдержанности? Кто же умеет говорить спокойно о своей любви? Такое невозможно. Говоря о Мартиросе Сарьяне, я говорю о Кавказе, о его славе, говорю о величии искусства и таланта.

Я пожимал руку Сарьяна, смотрел в его глаза. И в них я видел то же, что и в его картинах, — библейскую Армению

с ее древней культурой, с праздниками и бедами, всю землю и все века. Эти глаза смотрели на меня именно сквозь столетия, в них я как бы видел все их радости, муки, вершины и бездны.

Я бы не мог быть исследователем созданий искусства, если бы даже имел достаточные для этого знания и был хорошо подготовлен. Я могу только стараться передать свои ощущения. Я никогда не взялся бы толковать живопись Сарьяна, если бы даже знал ее лучше всех и были бы мне известны все секреты творчества. Лунный свет я вижу не для того, чтобы объяснять, почему он существует, а просто счастлив, что вижу его, когда он ложится на мой балкон или на созревающие арбузы бахчи, на деревья в моем дворе и на колыбель спящего ребенка. Не так ли будет думать художник и через тысячу лет?

Человеческая жизнь коротка, а вечность беспредельна. Потому так дорого человеку все сущее, все милое и прекрасное на свете. Разлука со всем, что мы любим, чем одаривает нас жизнь, неизбежна, каждый из нас осужден расстаться с матерью, с отцом, с детьми, с любимой женщиной. Оттого-то художник так привязан к земле и жизни, так остро чувствует радость и боль. Это вечная тема искусства. И Сарьяна тоже. Без этого не может быть творчества. Я не могу не думать о таких вещах, когда говорю о Мартиросе Сарьяне. Он будит во мне именно подобные мысли и раздумья о жизни и земле, обо всем дорогом и милом для людей. Меня навсегда пленили необъяснимые сарьяновские краски, как лунный свет, падающий на подсолнух во дворе, выращенный моей матерью, как рассвет или закат над моим селением в ущелье, как сумерки, спускающиеся летом на каменистые дороги, по которым прошло столько копыт, ног, колес...

-3-

Искусство каждого народа говорит языком своей земли, языком ее истории, ее радостей и бед, языком ее камня и дерева, снега и дождя, языком всего пережитого народом, языком его векового опыта. Только овладев языком родной земли, поняв шум ее подземных вод, художник сможет освоить и язык человечества, иначе его работа окажется подобной космической пыли. Разве так поразительно выраженная и обожаемая им Армения заслонила от Сарьяна остальной мир? Нет, конечно. Он, как никто другой, увидел

краски своей земли, услышал шум ее подземных вод, понял ее язык, ее историю и судьбу, праздники и бедствия, освоил язык ее камня и дерева, гор и долин и, навеки плененный ее неповторимым обликом, ее бессмертной красотой, стал мировым художником. Поняв прелесть своей земли, он понял, что прекрасна любая земля, что она дорога тем, кто на ней родился, так же, как ему родина его предков. Красота всюду остается красотой, радость — радостью, горе — горем, добро — добром и зло — злом. Вишня, алыча и персик везде цветут пленительно, хотя в каждом краю имеют свои оттенки. Все на каждой земле, у каждого народа, конечно, выражается своеобразно. В этом своеобразии заключена сила искусства любого народа — великого или малого.

Говоря о Райнисе, Горький сказал, что нет такой маленькой страны, которая не выдвинула бы великих поэтов. Уровень дарования, конечно, не зависит от численности населения страны, но проявление возможностей таланта нередко зависит как раз от нее. И это явление горестное, роковое. То, что я говорю, относится особенно к поэзии. В этом смысле музыка и живопись имеют более выгодную и счастливую участь — у них международный язык, они не связаны с переводом. Искусство любой нации прорастает из родной почвы, как зерно. Так растет и дерево. Дуб и ольха не растут рядом. Каждому из них необходима своя почва. В этой связи мне хочется сослаться еще на книгу «Листья травы» Уолта Уитмена. Можно быть уверенным в том, что она могла родиться только в Америке. Ее почвой могла быть только эта страна, так же как почвой для дуба чаще всего является каменистая местность. Я не говорю о подражателях великого американского поэта. Их хватает во всех странах и в наше время. Подражатели всегда набрасываются на чужие открытия, как голодные на хлеб. В творчестве же сильно и подлинно лишь то, что выросло на родной почве. Интернационально только подлинно национальное, ибо оно вливается в общее море творчества всех народов, неся с собой цвет воды своей родины. Оно приносит краски, опыт и мудрость родного народа, его особенности, этим обогащая культуру человечества. Все искусственное, нарочитое или насильственно навязываемое ничего не в силах дать ни одному народу, а потому не может обогатить и мировую культуру. У подобных вещей нет неповторимых черт, необходимых для всеобщей культуры, они подражательны, безлики. И в силу этого убоги, как нищенская сума.

Живопись Мартироса Сарьяна отмечена всеми теми чер-

тами, которые делают искусство любого большого художника национальным и в то же время общечеловеческим. Они, не отрывая его от родной земли и почвы, одновременно приводят ко всему человечеству. Это, конечно, удел выдающихся и великих творцов. Таким предстал перед миром и Сарьян. Вопрос национального и универсального в творчестве существует давно. Он и в наше время возникает снова и снова. Его, видимо, невозможно решить раз и навсегда, как и любой вопрос, имеющий жизненное значение. Почему, к примеру, все мы считаем поэму литовца Ю. Марцинкявичюса значительным произведением наших дней? Мне думается, потому, что она всеми корнями ушла в национальную почву, как корни дерева — в землю. В то же время эта поэма выразила бедствия, пережитые не одним литовским народом. Ведь фашизм принес горе, разорение и несчастья многим народам мира. Поэтому поэма Марцинкявичюса понятна всем нам и говорит о многом. Она выразила народную трагедию мощными средствами, в ней нет ничего нарочитого, надуманного, нет позы, есть боль и мужество, человеческое горе и стойкость.

Все прекрасное прекрасно по-своему. Этой же чертой отлична и живопись Сарьяна. Теперь мы не можем себе представить, чтобы на свете не было пленительной песни Есенина! Так и во всем. Все настоящее представляет собой особый мир и становится неотъемлемой частью жизни. Горы и моря не могут заменить друг друга, хотя одинаково прекрасны. Их сила в непохожести. Все крупное похоже только на себя. Как много мы потеряли бы, если бы Сарьян стал, скажем, похож на Пикассо! Даже Эльбрус и Казбек не похожи друг на друга, хотя их разделяет небольшое расстояние и обе горы составляют две высочайшие вершины одного Главного Кавказского хребта. Речь идет о подлинности, дающей каждому явлению собственный облик и самобытность.

Я помню давнюю картину Сарьяна «Горы». Разноцветные горы высятся над землей. Во всем разлита весенняя свежесть. Дыхание вечности. Бессмертие земной красоты. Цвета: темные, почти черные, лиловые, коричневые, желтые, белые, зеленые. Не перечислить и не объяснить! Да зачем объяснять? Разве в этом нуждается облако, проходящее над домом крестьянина, или снег, идущий над улицей? Только надо

смотреть. Видеть и радоваться. Мне кажется так. Но вернемся к картине Сарьяна. В предгорьях по пашне идут буйволы и волы разной масти. Они тянут плуги. Крестьяне на пахоте.

Землю пашут всюду. Но здесь, у подножья Арарата, это выглядит по-своему. Даже недалеко отсюда, под Эльбрусом, пашут крестьяне-горцы как-то иначе. И в то же время земля и хлеб всюду остаются землей и хлебом, буйволы — буйволами, волы — волами, жизнь — жизнью. Поэтому картина Сарьяна понятна и близка всем, кто любит землю. Она скажет многое сердцу каждого, кто дорожит жизнью и трудом людей, добывающих хлеб, поливая пашню потом.

Я так осязаемо чувствую эту картину Сарьяна, будто трогаю рукой и снег на вершинах, и зелень на склонах, и сухое ярмо на шее буйвола, и зеленеющее дерево, будто по пашне идут волы моего деда или отца в Чегеме и я в теплый весенний день шагаю за медлительными волами, как бы несущими на рогах вечность, утреннюю зарю и вечерние сумерки. Искусствоведы могут не согласиться со мной, но для меня, неспециалиста, нет разрыва между ранним и поздним Сарьяном. Прежние и теперешние его произведения кажутся мне главами одной поэмы, они цельно сливаются в одну прекрасную симфонию красок. Мне очень близка картина «Константинополь. Улица. Полдень», написанная в 1910 году. Она говорит моему сердцу так много, будто художник изобразил улочку Чегема, где я родился. Это от подлинности вещи. А еще оттого, что в ней я вижу любимых мною осликов, которых в моем детстве в Чегеме было так много. Повторяю, жизнь всюду остается жизнью. Так же дорога мне и картина «Армения», созданная в 1957 году. Вот почему я говорю, что нет для меня разрыва между ранним и поздним Сарьяном.

Много лет я наслаждаюсь горами, долинами, дорогами, деревьями, улочками старых восточных городов, изображенных художником. Особенно же я благодарен ему за мулов, осликов и волов. Мне кажется, что никто во всем мире не изображал их, как это сделал Мартирос Сарьян. Я видел его пасущихся на траве и тянущих арбу или плуг буйволов и волов, видел его осликов, бредущих по узким улочкам или везущих на спине тяжелый груз. Как извечны и терпеливы эти животные — постоянные спутники жизни восточного крестьянина, без которых он не мог существовать. В них есть какая-то вечная мудрость жизни, ее древность и бессмертие. Все это в картинах Сарьяна остается для меня равным воспоминаниям о детстве — сладчайшим моим вос-

поминаниям. Во всем этом заключена для меня большая поэзия. Я издавна любил ослика Санчо Пансы, как тех, на каких ездил мальчиком в родном ауле. Испанцы тоже, как мне кажется, умели писать осликов и мулов (я говорю в данном случае о живописцах). Но сарьяновские — особые. У него, как у великого художника, все особое — горы, деревья, пашня, фрукты, пахари, увиденные его глазами, созданные только его воображением, его гением.

Сарьян во всем особенный. Это и понятно, иначе он не был бы Сарьяном и не стал бы мировым художником. Его картины кажутся мне сновидениями, приснившимися счастливым днем, именно днем, а не ночью, а еще вернее — на рассвете.

5

Думаю, что я знаю все известные портреты, созданные Сарьяном. И должен признаться, что для меня главным и самым пленительным является не эта сторона его творчества. Притом я понимаю, какой он крупный портретист. Чтобы понять это, достаточно было бы знать портреты поэтов Цатуряна и Ахматовой, академиков Таманяна и Орбели. Мне просто больше по душе его пахари на пашне и сборщики фруктов. Но я знаю один портрет, который очень дорог мне. Это Аветик Исаакян, изображенный художником в 1940 году. Поэт сидит, как царь мысли, великий и простой, это мудрость и воля, горечь и человечность Армении.

Особые воспоминания у меня связаны с одним изображением Исаакяна. В Средней Азии вскоре после войны я купил книгу армянского поэта. В ней был рисунок — портрет автора книги работы Сарьяна. Исаакян сидел, опустив подбородок на руки. За его спиной по пустыне шли верблюды. Этот портрет был мне очень хорошо понятен. Он не только доставлял мне удовольствие, но и давал утешение. Исаакян был из тех поэтов, которые спасали меня в тяжкие для меня дни. Иначе и не могло быть. Гуманный и простой, как пахарь, всем существом привязанный к своей земле, к ее бедам и праздникам, скиталец, долгие годы тосковавший по огню родного очага, он был мне очень близок, будто делил со мной трудности моего существования, став снова, как я, изгнанником. Он был для меня опорой и поддержкой так же, как Шевченко, Мицкевич, Петефи, Лорка, Бараташвили, Пшавела, как и многие трагические поэты во главе с Пушкиным и Лермонтовым, как и лучший поэт моей Балкарии

Кязим. Для меня Аветик Исаакян стоит в одном ряду с крупнейшими лириками мира. Поэтому портрет армянского поэта работы Мартироса Сарьяна я с благодарностью пронес через все испытания и привез на родной Кавказ. Тут же хочу признаться, что многим обязан я армянской культуре, древней и мудрой, как сама родная земля, прошедшей через все испытания, уцелевшей под всеми бурями и жестокими ударами судьбы.

Большому художнику чаще всего приходится отстаивать свои принципы, порой преодолевать боль одиночества, непонимание его искусства людьми, обязанными понять, как говорил Блок. Мы знаем, что путь Мартироса Сарьяна, ныне всеми признанного, несшего на плечах груз всемирной славы, далеко не всегда был устлан цветами. Но от этого становятся еще более прекрасными плоды одержанной победы. Большому художнику никогда легко не живется: трудное дело всегда требует много труда и самоотверженности. Только посредственность идет по протоптанной дорожке. Хочет легко прожить. И искусство для таких — только способ существования. Я далек от утверждения, что крупные таланты не должны есть, одеваться, иметь жилье. Да, конечно, должны, ибо они тоже люди, а не боги. Но, кроме того, они еще умеют отстаивать свое искусство и, когда необходимо, страдать за него. А малодаровитому человеку это не дано, у него нет для этого достаточного мужества. Чем значительнее талант, тем больше он ищет и меньше всего доволен собой. Но это и приводит его в конце концов к победе.

Нам же нередко кажется, что художнику всегда было легко и хорошо, будто постоянно жил он празднично. К такому заблуждению приводит то обстоятельство, что результаты работы выдающихся творцов всегда прекрасны и праздничны: не все понимают, что они добились этого в тяжелой борьбе не только со всем внешним, что мешало художнику работать, не только с косностью, непониманием, но и с самим собой, со своими сомнениями. Так жил, трудился и шел к своей победе и Мартирос Сарьян, опираясь на свое мудрое упорство и убежденность.

Мне известно, что о молодом Сарьяне писал Максимилиан Волошин. Я давно читал его статью. Мне трудно вспомнить сейчас подробности, но помню, что она понравилась мне. Если я не путаю, то Волошин делал большой акцент на «восточность» армянского художника. Мне тоже хочется коснуться «восточного колорита» в творчестве Мартироса Сарьяна. Арарат его смотрит на нас, как сама вечность;

тропинки армянских предгорий и нагорий, долины, сады на рассвете или в сумерках, узкие улочки древних восточных городов, загорелые сборщики и сборщицы персиков; женщины, несущие кувшины на плечах; девушки в разноцветных шальных, задумчивое шествие верблюдов по бесконечным дорогам, сбор фруктов и нагруженные ими ослики; арбы, которые тянут буйволы с вытянутыми шеями — все напоено воздухом Востока и согрето его солнцем. Тут его вековые самобытные краски, его история, быт, мудрость, поэзия, философия, сила и слабость, вечная радость и горе.

К Востоку обращались многие художники мира, но я не знаю живописца, воплотившего Восток с такой оригинальной мощью, так поэтично, как Мартирос Сарьян. Но только ли восточный он художник? Убежден, что нет. Ни один великий талант не может быть только восточным или западным, только армянским или только испанским. Большой талант ломает все рамки, все барьеры и становится мировым, общечеловеческим. Это случилось и с Сарьяном. А разве не то же самое произошло с Федерико Гарсиа Лоркой, самым национальным из испанских поэтов нового времени?! Он впервые после Лопе де Вега возродил народный дух Испании, много писал, используя темы, приемы и образы фольклора, и стал одним из любимейших во всем мире поэтов.

Пусть никому это не покажется странным, но я нахожу много общего в поэзии испанского поэта и в живописи армянского художника. Их роднит темперамент, любовь к родной земле, пронзительность, эмоциональность в самом высшем смысле слова, умение видеть и остро чувствовать краски, плодородие и горечь земли. Вот строки Лорки:

Деревья! Вы, наверно, стрелы,
Упавшие с голубизны.

Или:

У неба пепельный цвет,
А у деревьев — белый,
Черные, черные угли —
Жнивье сгорело,
Покрыта засохшей кровью
Рана заката.

Я говорю о двух своих любимцах, о двух выдающихся людях современной культуры. Я уверен, что моя мысль, сближающая их, не искусственна. Я так их воспринимаю. И мне кажется, что это не должно смущать никого — даже самых строгих специалистов. Мне понятно, что поэзия и живопись —

не одно и то же, у них разные средства, но они не так далеки друг от друга, как кажется на поверхностный взгляд. К тому же я веду речь о родстве испанского поэта и армянского художника, о родстве душ, их близости в восприятии мира.

6

Одновременно думал я о двух картинах. Это «Аракатская долина» и «Сбор персиков в колхозе». В первой снова гора Арарат — снег и сумерки. Ниже — темный склон. Еще ниже — желтизна долины и темно-зеленые деревья. Лицо женщины. Сарьян видит земную красоту, знает ее бессмертие и то, что сам он уйдет, а эта земная прелесть останется. И живые снова будут удивляться ей. Художник вновь беседует с вечностью, как это делали все великие поэты от Данте до Исаакяна. На второй картине — склоненные к земле персиковые деревья. Женщина и мужчина с полными корзинами. Гора золотых плодов. Опять нагруженный ослик, смирный и задумчивый. И тут Сарьян с силой, полной поэтического очарования, выразил непобедимое плодоношение земли, ее материнскую сущность, хорошо поняв, что она никогда не оскудеет, какие бы беды на нее ни обрушивались! Я смотрю на картину и осязаемо чувствую эту силу земли, трудолюбие людей, их извечную терпеливость, мудрость — ту силу, которая одолела все тяготы, все бедствия на свете и будет побеждать всегда; вижу гармонию природы и людей, их нерасторжимую слитность. Здесь снова выражена несокрушимая вера художника в жизнь, в ее созидательные истоки, ее мудрый смысл.

Отсюда же, мне думается, идет и оптимизм живописи Сарьяна — его волшебной поэзии. Его дала художнику связь с землей, с жизнью народа, его трудом, которому нет конца. Это в самой крови великого мастера, в сущности и характере его дарования. Его живопись жизнерадостна в самом глубоком смысле этого понятия. Насколько полезна людям настоящая, через все испытания прошедшая жизнерадостность, которую я бы назвал мудрой, насреддиновской, настолько же вредно нарочитое и бездумное бодрячество, вянувшее при первых же испытаниях и трудностях. Это мы видели и хорошо поняли на войне с фашизмом.

В непобедимых красках выразил Сарьян свою проникновенную и великую любовь к жизни, к земле, к ее работающим людям, к животным, к траве, плодам, рассветам, закатам, сумеркам, к хлебу и воде. Все ликует или грустит, поет, дума-

ет, звенит. И мы становимся счастливыми, соприкоснувшись с таким искусством, становимся богаче и чище, лучше чувствуем и ощущаем красоту и прелесть жизни, величие земли — нашей матери. Мартирос Сарьян своими красками завоорожил нас, как волшебник. Такое выпадает только на долю великанов. Мне кажется, что даже тропинка, воспетая Сарьяном, чувствует себя счастливой. Какая радость, что были и есть такие певцы земной красоты!

7

Так случилось, что с Мартиросом Сарьяном меня познакомил Анна Андреевна Ахматова снежным декабрьским днем в Москве. Тогда я был молод, а художник — в полной силе. Позже я бывал у него в Ереване. Дружелюбное отношение великого мастера, разумеется, явилось для меня большой радостью. Я получил от него два письма. Одно касалось в основном моей книги «Раненый камень», другое — моих заметок о нем самом, напечатанных в «Литературной России». Я понял, что моя книга чем-то оказалась близкой Мартиросу Сергеевичу, что-то сказала его душе. И вполне естественно, что я был рад — одобрение твоей скромной работы художником, которого ты обожаешь, — огромное дело. В данном случае я пишу не воспоминания о любимом художнике. Позже, может быть, мне удастся это сделать. А пока хочу сказать, хотя бы вскользь, о последней моей встрече с ним.

Когда я приехал к Мартиросу Сергеевичу в новый его дом в Ереване, он был у себя вместе с женой, Люсик Лазаревной. Узнав, что я у отца, сразу же подъехал сын Мартироса Сергеевича, Лазарь Мартиросович, ректор консерватории. Он хотел пройти со мной по дому, показать картины, чтобы избавить отца от лишних хлопот, чтобы престарелый художник не утомил себя. С этой целью и подъехал Лазарь, но Мартирос Сергеевич и слышать не хотел, несмотря на мои уговоры. Мы пошли втроем. Сарьян показал мне все свои картины, всю свою великую работу за долгую жизнь. Я попал в мир сказки и поэзии. Когда мы поднялись на второй этаж, я спросил у хозяина:

— Мартирос Сергеевич, а почему не видно Арарата?

— А потому, что между Араратом и мной поставили дом гораздо выше моего. Стало быть, есть люди, которые думают, что мне не надобно видеть Арарат! Вот взяли и закрыли его от меня! Очень обидно!

Он сказал это с такой горечью, что у меня сжалось сердце. Как могло случиться, что от всемирно известного художника закрыли самое любимое им на свете? Невероятно! Перед глазами тех, кто впервые приезжает в Ереван, Арарат возникает вдруг таким белым чудом, что человек, увидев его однажды, запоминает на всю жизнь. А ереванские строители лишили великого певца великой горы, постоянного, ежечасного общения с ней! Арарат и Сарьян — высочайшие вершины Армении, видные всему миру. Они никогда не расстанутся, потому что бессмертный художник бессмертно воспел обожаемую им библейскую гору — белое чудо древней земли. Вся живопись Мартироса Сарьяна освещена светом Арарата. Так они и останутся вместе, радуя живущих высотой и величием.

В тот день Мартирос Сергеевич за обедом даже выпил со мной две рюмочки коньяку, не посчитавшись со своим возрастом. Он, видимо, этим хотел выразить свое отношение ко мне. Когда мы вышли в садик перед домом, Сарьян сказал мне:

— Здесь есть и Ваше дерево!

Это было сказано очень ласково, даже с нежностью. Разве Сарьян мог говорить иначе о деревьях, которые он писал с такой необыкновенной любовью? Сначала я не понял его. «Почему,— подумал я,— мое дерево?» Когда же художник повел меня к молодому кизилу, мне все стало ясно: он имел в виду, что родина кизила — наши горы. Тот сентябрьский день 1967 года стал одним из счастливых в моей жизни.

Эти строки — гимн и ода моей души волшебному живописцу-поэту. Окончив мои размышления о нем, я снова стою перед его необыкновенными полотнами, как перед Араратом или Эльбрусом.

Мартирос Сарьян прекрасен, как наш родной Кавказ.



ВЕСЬ МИР В ЕГО СЕРДЦЕ



С любовью беру с книжной полки небольшой томик. Он издан в Москве в 1945 году и внешне выглядит довольно скромно, но для того времени издан он хорошо. На титульном листе читаю: «Аветик Исаакян. Избранные стихи». Все так просто. А сколько я испытал радости, читая и перечитывая эту книгу в течение долгих лет! Не могу сказать, что эти годы были для меня только легкими и радостными. Далеко не так. Да и такого вообще, видимо, не бывает ни с кем: ведь на свете есть горькие вещи — болезни, утраты, неудачи. Когда я, молодой еще человек, но уже прошедший через войну, купил только что изданную книгу Аветика Исаакяна, сразу почувствовал глубину и мощь его лирики, принял ее всем сердцем. Он покориł мою душу сразу и навсегда.

Так великий армянский лирик вошел в мою жизнь, обогатив меня, осветив мое сердце своим особым светом, и стал навсегда моим спутником. Я был молод и со всей страстью этой молодости воспринял всю чистую, высокую духовность этого художника. В душе моей он занял место рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Гёте, Лоркой, Блоком — художниками, чье творчество так дорого мне. Вот с тех пор я считаю его одним из мировых лириков, без которых мне просто нельзя жить.

В те годы я еще не знал высказывания Александра Блока об Исаакяне. А Блок сказал и верно, и замечательно: «Поэт Исаакян — первоклассный. Может быть, такого свежего и

непосредственного таланта теперь во всей Европе нет». Это было сказано в 1916 году. К своему высокому мнению о поэзии Аветика Исаакяна я пришел независимо ни от кого, подчиняясь только собственным ощущениям, своему восприятию его лирики, покоренный ею. Но мне было исключительно приятно узнать, как высоко ставил Александр Блок своего армянского собрата.

К поэзии Исаакяна я припал, как к чистому источнику мудрости, глубокой просветленности, стойкости. Я понял, что у него все выстрадано и подлинно. Я столкнулся еще с одним убедительным примером того, что поэзия — это не только слова, но радость и боль самой жизни, в ней облик и голос самого бытия, что она похожа на гору и ребенка, на облако и на огонь в очаге, у которого греются зимой дети. В книге армянского поэта все оказалось настоящим. Поэтому его боль, терпение, мудрость, надежды как бы стали моими.

Все эти годы мне казалось, что поэзия Аветика Исаакяна мне необходима так же, как горы с их белизной и высотой, деревья с их зеленью и мудрым молчанием, реки, сверкающие в своем беге под солнцем и при лунном свете, желтизна подсолнуха и шелест дождя... Творчество Аветика Исаакяна включает в себе целый неповторимый мир и своей строгой гармонией напоминает мне живопись Мартироса Сарьяна.

Аветик Саакович Исаакян родился 31 октября 1875 года в городе Александрополе (ныне Ленинакан). Раннее детство провел в селении. Писать начал лет с двенадцати. Он еще глазами ребенка видел горы Манташ и Арагац, о которых писал так хорошо, с такой простотой и нежностью. Вот что говорит сам поэт: «Я родился в историческом Ширакском районе Армении. Здесь воображение ребенка было окрылено идущим из глубины веков поэтическим фольклором, песнями ашугов и крестьян, благородными памятниками прошлого... Мать учила любви ко всему трудовому человечеству, любви к родной стране, к ее природе».

Это очень характерное признание. Известно, что виденное, воспринятое в детстве западает в душу, как зерно во влажную почву ранней весной. Хлеб родной земли, ласку матери, ее колыбельную песню, дерево под окном, свет звезды над родным селением не заменить ничем. Отсюда, от них начинается поэзия. Голос матери и шелест дождя на отчей земле становятся голосом поэта.

Аветик Исаакян учился в родном городе, а также в Эчмиадзинской духовной семинарии. Стихи его начали появляться в печати в 1892 году. В следующем году он поехал в Германию, решив продолжить образование. В Лейпцигском университете изучал историю, литературу, философию. Ездил по Италии и Греции. Жизнь семьи сложилась так, что Исаакян вынужден был прервать учение и вернуться домой. В 1896 году он был арестован царской охранкой за антиправительственную деятельность. В 1897 году, после выхода из тюрьмы, поэт выпустил свою первую книгу стихов «Песни и раны», которая принесла ему известность. Но преследования царской охраны продолжались, и в 1911 году Аветик Исаакян покидает родину и долгие годы скитается на чужбине. И только в 1936 году он навсегда возвращается на землю отцов. С этого времени и до конца жизни он активно участвует в социалистическом строительстве новой Армении, пишет замечательные стихи и поэмы, ведет большую общественную работу, живет, окруженный всенародной любовью, становится академиком, лауреатом Государственной премии СССР, депутатом Верховного Совета Армянской ССР. Умер Аветик Исаакян в 1957 году.

Вот краткие и, как говорится, сухие биографические сведения. Но за ними большая, порою трудная, сложная и мудрая жизнь великого поэта, каждый день и каждый час которого были полны раздумий, труда и творческого горения.

2

Аветик Исаакян с самого начала был поэтом гуманистического направления. Тот, кто желает радости людям, не может оставаться равнодушным к их несчастьям и страданиям. Этим великим принципам поэзии Исаакян остался верным на всю жизнь. Он понимал, что невнимание художника ко всей сложности бытия всегда мстит за себя. Поэт с честью нес нелегкую ношу, которую взваливает на плечи художника неумолимая повелительница — жизнь. Душа Исаакяна была освещена светом правды, и страницы его книг озарены ее священным пламенем. Исаакян не боялся в стихах говорить ни о горе, ни о бедах людей, ни о смерти. И это не сделало его пессимистом, наоборот, придавало его поэзии глубину, серьезность, правдивость, делало его поэтом широким, искренним. Не надо быть большим философом для того, чтобы понять, что без трудностей, без утрат не бывает

и радости, и достижения больших, благородных целей. Ведь только пройдя через огромные трудности, напрягая все силы, достигли мы революционных завоеваний, отстояли свое Отечество от фашистских захватчиков. Наш народ не смогли остановить на пути к победе никакие черные силы. Он побеждал, собрав всю свою энергию, все мужество. Потому он и называется великим советским народом.

Это известно всему миру. Вот почему мы не можем позволить себе изображать легкими те трудные пути борьбы, по которым шли наши люди. Верность правде — вот родная стихия художника, его заповедь и завет.

Поэзия Аветика Исаакяна досоветского периода была глубоко трагической. В те годы Исаакян являлся поэтом одного из самых гонимых и трагических народов, певцом угнетенной, истекающей кровью родины армян. И вполне естественно, что он не был настроен петь веселые и беспечные песни. Какова жизнь народа — пахарей и каменотесов, пастухов и рабочих, — такими и должны быть песни о них. Горька была жизнь на земле отцов. И поэт слагал горькие, порой полные отчаяния песни. Не случайно свою первую книгу он назвал «Песни и раны». Многие из армян становились харибами — изгнанниками, неся в душе горе и боль бесправных скитальцев. Печаль глубоких глаз армянских мужчин, женщин и детей люди видели во всем мире. Разве не о том говорит вот это изумительное стихотворение:

Душа перелетная — бедная птица
Со сломанным бурей крылом.
А дождь без конца, и в пути ни крупницы,
И тьма впереди и в былом.

Но где-то, усеявши неба покатость,
Не ведают звезды беды,
И ты — голубая хрустальная святость
Большой путеводной звезды.

Хоть раз меня взором мирящим порадуй
И верь мне: конец мятежу.
На дно твоего непорочного взгляда
Я сердце свое погружу.

Душа — перелетная бедная птица,
Без дома, без сил и без сна.
А дождь без конца, и в пути ни крупницы,
Дорога ночная темна.

Таких стихов, в которых с потрясающей художественной силой сказано о бедах Армении, о горе людей труда, угне-

тении, у Исаакяна очень много, они поражают своим трагизмом и болью, глубоки и пронзительны. Поэт вынужден был сказать:

Я болен, родная, истерзан душой,
Взгляни, как изранено сердце мое.

Разве поэту хотелось отказаться от песен радости или самой радости? Нет, конечно. Но действительность не давала права на это. Когда жизнь горька, поэты поют горькие песни, хотя всегда стремятся к радости и желают ее всем людям. В жизни, к несчастью, всегда было много горя, да и теперь его немало на земле. Аветик Исаакян, верный только самой правде, как всегда полагалось поэту и полагается, вырвал из своего сердца изгнанника и скитальца вот такие горестные шедевры, поражающие своим совершенством:

Караван мой бренчит и плетется
Средь чужих и безлюдных песков.
Погоди, караван! Мне сдается,
Что из родины слышу я зов...

Нет, тиха и безмолвна пустыня,
Солнцем выжжена дикая степь.
Далеко моя родина ныне,
И в объятьях чужих моя джан.

Поцелуям и ласкам не верю,
Слез она не запомнит моих.
Кто зовет? Караван, шевелися,—
Нет в подлунной обетов святых!

Уводи, караван, за собою
В неродную, безлюдную мглу.
Где устану — склонюсь головою
На шипы, на утес, на скалу...

И теперь леденит душу строка: «Нет в подлунной обетов святых», так она горестна, страшна, такая нечеловеческая боль и отчаяние заключены в ней. Какое горе должен был носить в душе армянский поэт, скитаясь по миру, чтобы сказать подобное! Этим стихотворением он выразил не только свою боль, скорбь и тоску по лучшему, но горе армянского народа, бездомных армянских скитальцев — харибов. Эта великая боль поэта — их боль. Над такими стихами можно плакать и сейчас — так много в них неподдельного человеческого горя, бездомности и страданий. А вот это стихотворение:

Никто не понял скорбных слез моих,
Рукою нежной ран не исцелил,
Никто не холил грустных роз моих,
Благоуханья песням не дарил.

Я за участие жизнь готов отдать.—
Ах, если б я был понят и любим,
На свете выше блага не сыскать,
Чем счастье служения другим.

Так много и любил, и плакал я,—
Никто не понял скорбных слез моих.
Так жаждала любви душа моя,
Никто не холил грустных роз моих.

В жестоком мире гнета, несправедливости и зверства хищников стремление человека и поэта к добру, свободе, любви, служению другим оборачивалось горем и трагедией, несло боль и гибель. Об этом сказал Исаакян с действительно потрясающей силой, честно и неповторимо. Его трагическая лирика несомненно относится к вершинным явлениям мировой лирической поэзии. В ней рыдает и кровоточит сердце великого поэта, до конца обнажена его душа, слившаяся с сердцем родного народа, шедшего через неимоверные трудности и беды и не согнувшегося во всех бедствиях, сохранившего свой очаг, не давшего навсегда погасить его огонь бесчисленным жестоким врагам. Чистая рука армянского поэта через все эти бедствия пронесла, не давая ей угаснуть, свечу армянской культуры и поэзии, родной речи и родного слова — свечу жизни.

Сказанное выше вовсе не означает, что Аветик Исаакян в досоветский период писал одни только скорбные стихи, говорил лишь о несчастьях народа, его неволе, горе и страданиях. Он был не только поэтом, но и философом, и понимал, что жизнь никогда не состоит только из одного дурного, из одного горя или печали, как и в природе: деревья не постоянно гнет ветер или бьет град. Исаакян знал, что радость в жизни есть и всегда будет. Он также понимал, разумеется, что народ его, как и любой из народов, не сгинет, а будет жить назло всем своим злобным врагам, побеждая нужду и беду. Поэтому великий поэт никогда не отрицал смысла жизни, протестуя против угнетения, жестокости, несправедливости, отрицая своими горчайшими стихами неправую власть хищников и неправедную действительность. Бывало, Исаакян порой поднимался до уровня революционного трибуна. Тут можно сослаться на стихотво-

рение «Колокол свободы», написанное в 1903 году. Вот несколько строк из него:

О колокол воли, гуди из лазури,
От горных высот, от кавказских громад,
Греми как гроза, как гудение бури,
Чтоб гордый тебя услышал Арарат!

...О колокол воли, греми же, буди же
От сна Арарат и верховный Казбек!
Проснитесь орлы, прилетите к нам ближе,
Свирипьте, о лвы, встряхнись, человек!

О колокол воли, наш колокол воли,
Да будет твой звук для сердец властелин,
Свободный Кавказ в возрождении доли
Весь вскрикнет в ответ перекличкой вершин...

Исаакян, таким образом, был певцом не только народного горя, но и свободы, которую он жаждал и тогда, когда слагал свои трагические стихи о народном горе и о своей боли. Выдающийся художник, истинно народный поэт, он был верен нестареющим заветам великих учителей. Эта любовь к родной земле и народу, вскормившим поэта, давшим ему язык, стремление к справедливости и к свету — всему хорошему и доброму, любовь и уважение к самой жизни.

Аветик Исаакян любил землю, политую кровью и потом многих поколений, древнюю землю отцов, любил само-забвенно, так, как только может любить ее преданный и признательный сын — деятельно, горячо, безоглядно. Только такая любовь могла дать ему слова и краски, чувства и образы, какие мы находим в его неотразимых стихах. Образ матери и Родины у него слиты воедино. Эти два образа ничем не заменимы для человека и поэта. Исаакян жил ими.

3

Аветик Исаакян воспел горы Армении, ее деревья, ее хлеб и цветы, весну и осень, лето и зиму, ее ущелья и долины, дожди и сумерки, рассветы и солнце, звезды над родной землей и облака, огонь и дым родного очага — все, что священно для человека на родине и дорого, как облик и голос матери. Послушаем самого поэта:

К чудесному, нагорному, зеленому,
В весенних розах склоню я прильну,

К дыханью материнскому, бездонному,
Что шевелит пшеничных нив волну.

Меня чаруешь речью ты прекрасной,
Меня влюбленным зовом кличешь ты.
Тебя я вижу — новую и ясную,
С чертами древней, вечной красоты.

О мать! Твое грядущее, как молния,
Могуче, ярко блещет предо мной.
Армения, сил вечно юных полная,
Звук гордый речи сладостной, родной!

Так проникновенно и сердечно обращался к своей рожденной родине, советской Армении, ее великий поэт и мудрый мыслитель, который шел по родной земле, вдумчиво и зорко присматриваясь к людям, пашням, колосьям, вершинам, долинам, дорогам, деревьям, цветам, камням, домам, шел как пахарь и каменотес, как пастух и мудрец. А как он писал о матери, с какой проникновенной любовью, нежностью, преданностью и благоговением! Когда я приезжаю в Ереван, я люблю бывать в домике Аветика Исаакяна — его двухэтажном тихом особняке с садиком. Мне каждый раз очень трогательно видеть спальню поэта. В ней все как при жизни Исаакяна. Здесь он тихо умер утром. Вот его кровать у стены, палка, чуваки, а главное — небольшая фотография матери на стене над кроватью. И ложась спать, и вставая утром, он смотрел на изображение матери, видел ее незабвенное лицо, навек дорогое, вспоминал ее живой облик, должно быть, слышал ее голос. Мы понимаем, что поэт никогда не расставался с матерью, с ее обликом. Мать вошла в поэзию сына и навсегда осталась там, в ней остались ее образ, лицо, походка, голос, а главное — ее сердце, ее любовь к сыну, к людям, к жизни, ее боль и печаль, ее тревога за сына и за всех сыновей, ее тоска, ее молитвы, тихий голос, как голос земли.

Мне кажется, что из всех стихов, когда-либо обращенных к матери, исаакяновские в числе самых лучших, в них какая-то особая глубина, особый свет, нежность и ласковость без слащавости, преклонение, мудрость без мудрствования, сердечность без слезливости, их обаяние действует неотразимо, в них есть какая-то непонятная сила, тепло и боль одновременно, как в колыбельной песне крестьянки. Мне думается, что о матери так мог писать только армянский поэт, рожденный народом, матери которого пережили очень много. Даже как-то неловко браться рассуждать об этих стихах —

так они необъяснимо человечны, добры, в них так разлита любовь сына к матери, любовь поэта ко всему родному и милому. Хочу целиком процитировать стихотворение «Моей матери».

От родимой страны удалился
Я, изгнанник, без крова и сна.
С милой матерью я разлучился,
Бедный странник, лишился я сна.

С гор вы, пестрые птицы, летите,
Не пришлось ли вам мать повстречать?
Ветерки, вы с морей шелестите,
Не послала ль привета мне мать?

Ветерки пролетели бесшумно,
Птицы мимо промчались на юг,
Мимо сердца, с тоскою безумной,
Улетели бесшумно на юг.

Родная сторона, ее птицы, ветерки, их шелест, бормотание воды — все слилось с обликом и сердцем матери, с тоской и беспокойством сына по ней. Как замечательно здесь выразил поэт любовь к матери и сыновнюю нежность, выразил почти невыразимое словом. Эти стихи кажутся мне совершенными, а армянский мастер становится в один ряд с величайшими лириками мира.

Я наслаждался стихотворением, приведенным выше. Читаю другое. И что же? Оно будто еще лучше, хотя минуту назад казалось, что лучше стихов не может быть. Прикроем глаза и, затаив дыхание, послушаем самого поэта. При звучании таких стихов нужно замереть! Прислушаемся, как будто слышим милый, тихий, глуховатый голос самого сутуловатого мастера, благородного, неторопливого и полно-го обаяния.

Мне грезится вечер: вечер мирен и тих,
Над домом стелется тонкий дым,
Чуть зыблются ветви родимых ив,
Сверчок трещит в щели, невидим.

У огня сидит моя старая мать,
Тихонько с ребенком моим грустит.
Сладко-сладко, спокойно дремлет дитя,
И мать моя молча молитву творит:

«Пусть прежде всех поможет господь
Всем дальним странникам, всем больным,
Пусть после всех поможет господь
Тебе, мой бедный изгнанник, мой сын».

Над мирным домом струится дым.
Мать над сыном молитву творит
Сверчок трещит в щели, невидим
Родная ива едва шелестит

Как объяснишь, что это такое, как растолкуешь? Да в этом и нет надобности. Надо читать эти поразительные строки, наслаждаться, удивляться и благодарить жизнь за то, что на земле были люди, могущие создавать подобные сокровища и не терять надежды, что у всех народов могут еще быть такие таланты-чудотворцы, каким был народный поэт Армении. В только что процитированном стихотворении поэт использовал совершенно другие образы, чем в первом. Но оба стихотворения могли быть написаны только одним и тем же поэтом — в них одно дыхание, один воздух, бьется одно и то же сердце. Как это прекрасно в своей подлинной образности, изумительной поэтичности, чистоте тона, интонации, сжатости, целомудрии и цельности! И как просто! Недаром говорят, что самые лучшие слова — самые простые. Целомудрие лирики Аветика Исаакяна должно быть отмечено и подчеркнуто особо. Он — один из самых целомудренных лириков. Так я думаю много лет, стараясь постичь, до конца понять силу и неотразимость лирики армянского поэта.

Оба шедевра, процитированные мною выше, переведены Александром Блоком. Великий русский лирик, как известно, восхитительно перевел целый ряд миниатюр Исаакяна. Не говоря уже о поэтической прелести, его переводы текстуально так близки к оригиналам, что знатоки удивляются, сопоставляя их. Думается, что мы не нарушим истину, если скажем, что переводы из Аветика Исаакяна являются лучшими из всех поэтических переводов Блока. В этом смысле очень повезло армянскому лирику. Еще бы! Таким переводам нет цены. Гениальный русский лирик своими переводами лишний раз доказал величие благородной миссии русской художественной интеллигенции, с высоким уважением относившейся к культурам других народов. Это было незабываемо хорошо и благородно

4

Аветик Исаакян, будучи великим лириком, не мог не быть поэтом любви, певцом женской красоты и женской самоотверженности. Красота женщины, ее сердечность и мировая лирика оставались в веках нерасторжимыми, шли вместе

Созданная поэтами всех народов, лирика любви остается одним из самых больших духовных сокровищ всей человеческой семьи, одним из высших духовных достижений человечества. Исаакян, как истинный лирик, разумеется, был поэтом любви. Им также созданы шедевры любовной лирики. Я не могу до сих пор читать спокойно стихотворение, написанное от имени женщины-крестьянки. Послушайте, и вы убедитесь, как это прелестно, сколько в этих стихах сердечности, человечности, женской ласковости, заботы, преданной любви, непосредственности и целомудрия.

Ты устал, любимый мой,
Кончи пахоту — я жду.
Льется пот с тебя рекой,
Распряги волов — я жду.

Сливки сняты для тебя
И стоят на холоду...
Для тебя надела я
Красный фартук свой и жду.

Посвежеет дотемна,
Постелила я в саду,
Светит в душу нам луна.
Приходи ко мне — я жду.

Горы в тучах грозových,
К своему лети гнезду...
За мозоли рук твоих
Жизнь отдам, спеши — я жду.

Мне, крестьянскому сыну, так много говорит непосредственность и красота этих строк, что я вижу самого себя юношей в горах. Исаакян сказал еще вот и такие счастливые, светлые строки любви:

Мне от любимой ветерок
Благоухание принес!

Известно, что любовь несет людям не только радость, но нередко и страдания. Это тоже поэты знают хорошо. Армянский лирик писал не только о радости любви, но и о страданиях, о горе, которые любовь приносит иногда влюбленным. Так бывало нередко в жизни, которая не считается с нашими желаниями. У нее свои неумолимые законы. Недаром на Востоке говорили, что розы без шипов не бывает. Так и любовь. Поэтому, как и у многих поэтов, у Исаакяна наряду с нежными и светлыми сторонами любви мы

находим и горестные сетования, и трагические жалобы влюбленных. Аветик Исаакян предупреждает:

Не глядись в черный взор,
В нем безбрежность ночей,
Ужас тьмы, духи гор,—
Бойся черных очей!

Это сказал влюбленный в минуты отчаяния, а поэт вовсе не призывает к отказу от любви. От любви нельзя отказаться. Сердце, не знающее любви, станет бесплодным, как смоковница. Любовью согрет весь мир и вся мировая поэзия. Поэт знает, что любовь порой бывает опасной. Об этом и говорит Исаакян. Правда и то, что влюбленные обычно любят выражать свои страдания, обнажать сердце перед любимыми, они бывают капризны, как дети, часто сетуют, что их недостаточно любят.

Находят подруг человек и зверь,
Лишь я бездомен, лишь я один.
Попробуй мученья мои измерь,
Они выше гор и глубже теснин.

А ты говоришь: «Убирайся прочь».
Куда, кому покажусь теперь?..
Ты боль моя, ты болезнь моя,
К какому лекарю стукнуть в дверь?

Что бы мы ни говорили, драматическая сторона любви у Исаакяна выражена очень сильно. Но тут же мне хочется вспомнить исключительно светлую и добрую лирику любви из поэмы «Песня Алагяза». Одно несомненно: Аветик Исаакян входит в число лучших певцов любви, женщины, земной красоты. Говоря об этом, хочу в подтверждение своей мысли процитировать стихотворение, в котором я вижу исключительную задушевность, преклонение поэта перед любимой женщиной, большую любовь и светлую мечту человека. Вот оно, это стихотворение, снова полное неизъяснимого обаяния и света:

Был бы на Аразе у меня баштан,
Посадил бы сливу, розы я да мак,
Под тенистой ивой сплел бы я шалаш,
В шалаше бы вечно пламенел очаг!

Чтоб сидела рядом милая Шушан,
Чтобы нам друг друга у огня ласкать!
Кабы на Аразе завести баштан,
Для Шушик лилейной отдыха не знать!

Аветик Исаакян писал поэмы, баллады, легенды, сказки, басни, новеллы. Диапазон его творчества был широк. Он использовал не только мотивы армянского фольклора, но и других народов мира. В замечательной трагической поэме «Абдул Ала Маари» говорится о драме знаменитого поэта из Багдада, который разочаровался в людях, в любви женщины, раздал свои богатства бедным, снарядил караван и ночью покинул Багдад, направляясь туда, где нет людей, где нет человеческой несправедливости и лжи. В самом начале поэмы сказано:

В землях разных народов бывал; смотря, наблюдал и людей, и законы —

и его пронзительный дух постиг человека, постиг и глубоко возненавидел.

Абдул Ала Маари говорит:

Иди, все иди ты, мой караван! шагай все вперед, остановок нам нет!
В пустыню иди, к безлюдным краям, свободным, святым, в изумрудную даль...

Поэма полна вдохновения и поэзии. Она, несомненно, направлена против лжи и оскудения морали буржуазного общества, где поэзия чахнет и поэты задыхаются.

Другая большая поэма Исаакяна, «Мгер из Сасуна», построена на материале знаменитого армянского эпоса «Давид Сасунский» и обращена к вековой мечте народа о свободе и лучшей доле. Она кончается так:

Грозно грянули враз,
Злой разрушили мир,
И строй трудовой утвердили в миру,
Строй труда простого, закона и прав,
Чтобы труженик стал бы хозяином сам
Труду своему и своим хлебам.

Поэма была завершена в 1937 году, когда Исаакян жил уже в Советской Армении, и даже по этим заключительным строкам видно, что эта вещь написана советским поэтом.

За годы жизни в Советской Армении Аветик Исаакян написал немало замечательных произведений в стихах и прозе. Все свое дарование, все свои силы он отдавал строительству новой жизни, трудился неутомимо, оставаясь примером

для художников более молодых поколений. На любовь народа он отвечал новыми произведениями, обогащавшими родную литературу. Он имел огромное влияние на развитие новой армянской литературы, был одним из крупнейших и авторитетнейших мастеров всей многонациональной советской поэзии. В годы Великой Отечественной войны Аветик Исаакян слагал мужественные стихи, звавшие на смертный бой с врагом, на разгром фашистских орд. Эти песни были полны молодой силы.

Тогда же были написаны и такие боевые патриотические стихотворения Исаакяна, как «Сердце мое на вершинах гор...», «Наша борьба» и ряд других, которые были отмечены Государственной премией СССР. Поэт трудился во имя победы и увидел ее прекрасное лицо, стал свидетелем великого торжества нашего народа. Это было счастьем для него, как и для всех советских художников.

Хорошо помню, с каким интересом я читал еще в молодые годы не только стихи Исаакяна, но и его новеллы. У меня была тонюсенькая книжечка его новелл и еще том армянских рассказов, где я нашел исаакяновскую новеллу «Последняя весна Саади». С тех пор я не возвращался к этой вещице, но она так понравилась мне своей мудрой и печальной поэтичностью, что я помню ее и сейчас. С любовью вспоминаю я рассказы «Трубка терпения», «Слуга Симон», «Гарибальдиец», «Знамя надежды», «Дым родного очага». В новеллах Исаакяна много поэзии, в них есть какая-то особая, я бы сказал, армянская грусть. Будто сидишь под ореховым деревом в Араратской долине и смотришь на вечерние горы в сумерках, на пожелтевшие деревья, на отдыхающую землю. Исаакян-прозаик рассказывает неторопливо, без суеты, с тонкой печалью, а порой и мягким юмором, с большой любовью к земле и людям. Мне всегда казалось, что рассказчик и путник похожи друг на друга. У великого поэта Армении начисто отсутствует суетность. Все, что он делал, остается для нас большим уроком.

6

Прекрасна земля Армении. На нее похожа и поэзия Аветика Исаакяна. Так всегда бывает с подлинными явлениями искусства. Как замечательно, с какой любовью, как преданно и самозабвенно воспел Исаакян Армению! Чтобы ощутить это, достаточно, по-моему, прочесть хотя бы два его удивительных цикла — «Песни ашуга» и «Песни Алагяза».

Какая изумительная здесь Армения, как пленительны ее трудолюбивые люди, как живо бьется в этих стихах сердце народа! Поэт сумел сказать не сказанное до него никем, пропеть никем не петое. У создателей древних храмов и каменотесов своей земли Аветик Исаакян учился немногословию. Один из самых обаятельных поэтов мира, он был похож одновременно и на мудреца-звездочета, и на пахаря. Он покорял людей не только своей поэзией, но и всем своим обликом — простым, очень естественным и в то же время благородным, отсутствием суетности. Таким он запомнился мне. В нем жила старая печаль и вечно молодые надежды Армении. Таким мог быть только армянский поэт. Великий поэт иного народа был бы велик по-другому, обаятелен тоже по-другому. Облик Родины и облик поэта здесь как бы слились воедино.

Армянский народ — носитель древней, большой и очень глубокой культуры. Аветик Исаакян — художник, весь проникнутый этой духовностью. Огромный дар и высокая культура позволили ему стать поэтом мирового значения, звездой на небосклоне мировой лирики. И в то же время он был прост и прямодушен, как ашуг-крестьянин. Его понимали и любили самые простые люди.

Рассказывают одну быль, похожую на легенду. Аветик Исаакян бродил как-то по окраине Еревана и натолкнулся на каменщика, который делал свое извечное дело и пел песню на слова Исаакяна.

Поэт спросил рабочего:

— Чью песню ты так хорошо поешь?

— Э-э, старина, нам с тобой не сложить такой песни!

— А ты знаешь, чья она?

— Наша! — ответил каменщик.

Поэт улыбнулся и пошел своей дорогой.

Сегодня я снова снял с книжной полки томик, с которым не расстанусь много-много лет.

Из моего окна видны горы, зеленые склоны их покрыты чинаровыми и ореховыми рощами, за ними — Хуламские вершины, белизна нетающих снегов... И мне кажется, что эти строки, как цветы моей земли, я тихо кладу на порог того домика, где родился гениальный поэт Армении, один из лучших учителей, мудрых и верных спутников — великий Аветик Исаакян.

В моем садике в Чегеме желтеют орех и кизил. Я смотрю на них, на синее небо над моим двориком и на осень. На улице раздаются веселые голоса играющих детей. Жива

жизнь, и жива поэзия. Мои раздумья — об этом осеннем дне, о хлебе, о воде, о земле, о мгновенном и вечном, о моих друзьях и учителях. Среди них мне видится покоряюще мудрый и обаятельный облик Аветика Исаакяна — рыцаря поэзии, неповторимого лирика, горячо любимого мною.

Настает вечер. На крыши домиков Чегема, на его улочки и дворики спускаются сумерки. Я снова думаю о жизни и о поэзии. И, поставив точку в конце заключительной строки моих заметок-раздумий об Аветике Исаакяне, я остаюсь с надеждой, что на земле всегда пребудут хлеб, вода, деревья, птицы, поэзия, рассветы и вечера, как и люди, как и их труд и разум, как боль и радость.

1975—1982

«ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЙ МОЛЧАНИЕ...»



мение молчать мне всегда казалось умением мыслить и слушать других. А умеющий слушать умеет и учиться. Это человеческое качество мне кажется завидным. Я люблю молчание камня и молчание дерева, и мне чудится, что они мыслят. Хорошо смотреть на деревья, молчащие в дождь и снегопад, на рассвете и в вечерних сумерках. А молчание гор и скал? В нем мне мнится мощь и поэзия, что-то большое, значительное, глубокое.

Пусть никому не покажется странным то, что разговор о поэте я начал с похвалы молчанию — ведь писатель имеет дело со словом. Да, конечно. Но авторы бывают разными. А потому художник слова — мастер — понимает, когда молчать и когда говорить, он знает цену слову и силу молчания, которое дает ему возможность думать, взвесить слово со всех сторон, пока оно скажется, а также отточить мысль прежде, чем высказать ее. Поэт сказал: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Уважительное отношение к речи, скупость на слова особенно прекрасны в поэзии. Чем больше человек дорожит словом, тем меньше и короче он говорит, тем чаще ему хочется помолчать. Мне бы очень хотелось быть таким. Я всегда мечтал об этом.

Амо Сагияна я чаще всего видел и помню молчаливым и сосредоточенным. Так бывало во время дружеских бесед и застолий, в часы прогулок по городу и в горах. Это его

характер, его природа. Так поэт постоянно остается самим собой. Я давно заметил, что молчаливость Сагияна очень идет его облику. Амо как бы целиком и ладно высечен из одного куска гранита и похож на собственную поэзию, которая в свою очередь также похожа на него. А вместе они похожи на родную землю — на Армению, мудрую и нестареющую. Над ней прошли века, освещенные светом народных праздников или окутанные туманами народных бедствий. Порой мне кажется, что те клубящиеся века со всеми их бурями и бедами прошли и над головой Амо Сагияна, и она, эта прекрасная голова поэта и мыслителя, поседела от раздумий в череде столетий.

Амо курит, красиво и изящно держа сигарету в пальцах, прищурив глаза, зорко, внимательно и с любовью глядящие на пашню в поле, снег на вершине, зелень листьев на дереве, тропинку на склоне, блеск ручейка в ущелье, светлячка в траве, морщины на лице старухи одетой в черное, и улыбку девушки, гордо идущей по улице. Он выглядит спокойным. Но это кажущееся спокойствие, то есть спокойствие поэта. Оно особое. Сердце этого поседевшего человека, который молча курит и со стороны кажется спокойным, пронзили все тревоги и все боли жизни и людей. «Покой нам только снится...» Может быть, молчащий поэт в этот час как раз думает о тех бедах, через которые шел его неутомимый народ, и сквозь табачный дымок Амо видятся пепелища сожженных жилищ, их остывающая зола? Возможно.

То, что нам кажется в Амо спокойствием, на самом деле является сдержанностью, спасающей его от многословия. Скупость на слова, выдержка, умение продумать свою мысль до конца, прежде чем сказать, — одна из завидных черт этого выдающегося поэта, похожего еще и на мудреца. Такое впечатление при встречах с Амо закрепляется в нашем сознании оттого, что в Сагияне совершенно отсутствуют суетливость и торопливость, опрометчивость в высказывании своих мыслей. А это придает всему его облику большое обаяние и создает цельный и весьма притягательный образ человека и поэта. Более того, это обаяние переходит в его лирику, создавая ее замечательную выразительность. И мы, общаясь с ним, убеждаемся в том, что такой человек слова на ветер не бросит. Ему и его слову веришь с первого раза, убеждаешься в том, что такой не сфальшивит, он создан из настоящего материала. Главное в нем — подлинность. Это именно и замечательно.

Каждый раз, внимательно глядя на Амо Сагияна, стараясь лучше понять его, я чувствую слитность поэта с родной землей. Вот стихи, которые подтвердят мое мнение:

Тоскуют по моим ногам
Отцовские тропинки
И по моим рукам — цветы
На материнском поле.

Он как бы врос в горы, слился с пашнями, виноградниками, дорогами, камнями, деревьями Армении, с ее рассветами, полднями, вечерами, сумерки которых неторопливо спускаются на вершины и долины, входят в ущелья и дворы вместе с волами. Ни в одном из поэтов, которых я знаю, не чувствую большей слитности с родной почвой, чем в Амо. Я заметил: он слушает землю так же внимательно, как и собеседника, смотрит на нее горячо любящими глазами, как в лицо матери, в ее глаза и на ее сухие морщины. Армянская земля — постоянная, лучшая и обожаемая им собеседница поэта, его высшая любовь и богатство.

Тоскуют по моим ушам
Птиц голоса в ущелье,
По песням юности моей
Тоскуют птицы в небе.

А вот еще:

Цветы в лугах ко мне спешили,
И я заплакал!..

Да, Амо любит пореже говорить и почаще молчать. В этом его сила. От этого сказанное им становится глубже, значительней, мудрей, неслучайным, взвешенным. Я завидую этой его замечательной черте и стараюсь учиться у него умению молчать, не боясь своего возраста, несколько не стесняюсь записаться к нему в ученики. Неторопливо сказанное слово каждый раз является выверенным, а потому имеющим особый вес и ценность. Ужасно, когда называют себя поэтами люди, совершенно не умеющие уважать слово и человеческую речь.

Видеть Сагияна, бывать с ним, беседовать, слушать и читать для меня стало радостью и необходимостью. Выше я попытался набросать портрет Амо. Я вижу его таким и люблю именно такого. Он один из крупных поэтов современности. Его поэзия давно стала для меня откровением. Она необходима мне. Без нее моя радость будет неполной. Я постоянно чувствую присутствие поэта Амо Сагияна в моей жизни, и мне хорошо думать о нем, знать, что под небом Армении живет и трудится мудрый человек, неутомимый мастер, которого я люблю и которому верю до конца.

Амо Сагиян из тех поэтов, на плечи которых лег весь груз радостей и бед Армении за долгие века. Он сказал:

Утесы и скалы стоят на постах
У вечности.

Поэт также всегда на посту у времени, у эпохи, перед историей, перед судьбой народа и перед вечностью, он всегда на виду у жизни.

Я снег увидел на вершине,—
И мой обрадовался взгляду.

Так пишет Амо Сагиян, подтверждая мое мнение о его слитности с родной землей. Он говорит, что увидел пустое гнездо и его светлый день вдруг стал темным. Такой поэт, разумеется, постоянно на часах у жизни и земной красоты. Сагиян пишет, что ручей, убегая, остается дома. Поэт также неразлучен с родной землей. Река веками уходит к морю, но не растает с той долиной, по которой протекает, среди ночи и на рассвете, оторвавшись от ледников.

Я не боюсь своей смерти,
Я боюсь смерти всего бессмертного мира,
Нашей, населенной гениями, планеты.

Эти строки свидетельствуют о том, что поэт, влюбленный в каждое дерево, цветок и былинку Армении, мыслит еще и глобально, думает о судьбе мира, всей земли, всех людей в наш суровый век. Иначе и не могло быть: большому кораблю — большое плавание. В наше время не может быть

крупного художника, скажем, только армянского или только французского. Советский же художник не должен позволять себе замкнуться в узконациональных рамках. Он — марксист и интернационалист. В этом нас лишний раз убеждает и поэзия Амо Сагияна, полная раздумий и тревог за мир, которому никогда не переставали и не перестают угрожать хищники. Поэт знает, что из мглы ночей постоянно слышится щелканье волчьих клыков. Крупный художник и мыслит крупно, масштабно и смело, постоянно чувствует свою ответственность перед людьми, ему дорога жизнь каждого ребенка и каждого цветка. Так завещано ему от века. Если он изменит этому завету, потеряет себя, изменив своему делу и назначению поэзии. Но такой поэт, как Амо Сагиян, всегда останется верным своему призванию. Все дело в том, что он — подлинный, а подлинность порождает преданность тому делу, которому служишь. Большой мастер Сагиян живет по большому счету. Он не станет мельчить, как любит говорить наш Мустай Карим. Талант и честность мне представляются близнецами.

4

Я рад, что мне приходилось делить с Амо Сагияном хлеб и вино, пользоваться его вниманием и заботой, беседовать с ним, слышать его голос, по-братски пожимать ему руку. Рука поэта всегда должна быть чистой, как и его душа, дела и совесть. Этого от него требует его доброе и великое дело, которому служили лучшие сыны человечества.

Все это я пишу не потому, что у меня слишком много времени и хочется порассуждать. Я люблю Амо. И мне необходимо сказать о нем то, что я попытался выразить на этих страницах. Да, это слова моей любви к поэту, который замечателен и необходим и жизни, и мне. Потому я и нуждаюсь в нем. Не имея людей, которые вызывают у тебя уважение, невозможно или очень трудно жить. Амо — мастер. А мастера — мои любимцы. Я повсюду в мире удивлялся творениям их ума, таланта и рук, кланялся им — живым и ушедшим. Я чувствую себя на земле гораздо лучше, когда думаю, что в мире жили не одни бездельники или грабители, деспоты или убийцы, но и мастера. Мне куда легче бороться с одиночеством, возрастом и выстоять, когда я думаю о моих друзьях и радуюсь, что они у меня есть. А Сагиян — один из них.

Я вижу Амо сидящим под желтеющим орехом перед вечерними сумерками. Он держит в руке сигарету, смотрит на горы, на их склоны, на долину. Молчит. И в этом молчании осенним вечером рождаются самые зрелые его строфы. Поэт и родная земля смотрят друг на друга, необходимые друг другу. Они мудры и слиты нерасторжимо. Горы высятся, как вечность, и небо смотрит на белые вершины, на колосья, дороги, дворы и улицы, убеждая поэта в том, что мир вечен, как издревле полагали люди, что земля, человек, колос, дерево, птица пребудут здесь вовеки. Этого-то хочет и жаждет поэт, молча сидящий под орехом и глядящий на вечер, на землю своей родины.

1983

Чегем



ПЕСНЬ ЗЕМНОЙ КРАСОТЕ

1

 альмонт впервые узнал о Шота Руставели в океане. Ему можно позавидовать. Океанская ширь и мощь очень подходят для такого знакомства.

Каждый счастлив по-своему. Я узнал о Руставели юношей в горах. Его Поэма открылась мне в моем родном Чегемском ущелье. Читая это мощное произведение, я как бы беседовал с горами, с самой вечностью. Тогда я не мог знать, какие трудные и трагические дни ждут нас впереди — дни тяжелой народной войны с фашизмом. Я говорю и о себе потому, что каждый лучше других знает себя, и потому, что должен сказать, чем была для меня поэзия Шота Руставели.

Для того чтобы с честью выдержать все выпавшее на нашу долю в годы Отечественной войны и победить, каждый из нас должен был быть подготовленным не только физически, но и нравственно. Наряду с революционными идеями марксизма-ленинизма перед войной и в годы битв с фашизмом у нас на вооружении была вся великая человеческая культура. И тут одно из почетных мест занимал Шота Руставели. Лично для меня было так. До войны я успел войти в его мир, полный красоты, мудрости и человеческой стойкости. Для того чтобы победить злого сильного врага, необходимо было мужество. А «Витязь в тигровой шкуре» — песнь мужеству. В годы неслыханно тяжелой войны подвиг был нам необходим, как хлеб.

Поэма Руставели — это прославление подвига, его неумирающей красоты. Нельзя было победить гитлеровские орды без дружбы — дружбы людей и народов. Поэма Руставели — песнь о братстве. Для нашей победы необходимыми являлись любовь и верность, благородство и преданность. Невозможно победить врага без любви и преданности родной земле, ее истории, языку, хлебу, ее камню и винограду, ее дереву и воде, без любви и преданности к родному очагу, где мать по утрам разжигает огонь, без любви ко всему живому и святому. «Витязь в тигровой шкуре» — песнь любви, преданности, верности и непреклонности. Мир благородства и больших чувств, крупных мыслей и чистых помыслов всегда учит нас достоинству и бесстрашию.

Все эти высокие понятия, без которых нет созидания, нет победы Добра над Злом, воплощены Руставели с чарующей красотой. И мы можем черпать из великой грузинской Поэмы очень многое не только для повседневной нашей жизни, но и для творчества. При ее чтении возникает множество мыслей, не только о жизни, судьбах народов, участии человека, его месте в мире, об отношениях между людьми, между властью и человеком, но и о смысле и назначении поэзии, о том, какой она должна быть, чтобы наилучшим образом служить людям, войти в их быт, стать им опорой и поддержкой. И все это сохранилось почти восемьсот лет! Такое долголетие и величие произведения поражают нас, как горы и море, когда мы их видим впервые. Вот так удивили толстовского Оленина Кавказские горы, когда они открылись ему в первый раз. Читаешь через восемь столетий Руставели и думаешь: как хорошо, что могут быть такими долговечными создания искусства! Еще и еще раз убеждаешься, что какие бы злые силы ни угрожали земле и людям, какие бы сети ни ставились, все равно конечная победа останется за прекрасным. Пусть в этом убедятся сегодня еще раз враги всего живого и на примере Шота Руставели! Восемьсот лет не молкнет среди живущих живой голос Руставели.

2

Все прекрасное на свете принадлежит тем, кто заслуживает имени Человека. И поэзия Руставели тоже является сокровищем и гордостью не только одних грузин, не только всех кавказцев, но всех, кому дороги мысль и по-

эзия, кому дорога сама жизнь. Верно сказал Есенин: «...большое видится на расстоянии».

Снова я возвращаюсь мыслью к трудным дням, когда Шота Руставели стал для меня опорой и поддержкой. Он протягивал мне руку помощи из невероятной дали веков! Не только трава под ногами, но и облака надо мной были в крови. Шли жесточайшие бои. И я в те дни не раз повторял могучие и мудрые слова: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор!»

Этот стих наполнял меня силой, как воздух родных нагорий, поддерживал и воодушевлял. Его я приводил и в письме к матери, чтобы поддержать ее.

Я считал большим благом для себя, что знаю эти стихи. «Витязь в тигровой шкуре» — песнь мужеству, человеческой дружбе, верности и мудрости. Но эта поэма также песнь справедливости и милосердия. Это необходимо особо подчеркнуть. Руставели знал: не будь на свете справедливости и милосердия, дерево жизни было бы срублено. Но он также понимал, что это не под силу врагам жизни. Недаром Автандил в своем завещании так горячо призывает царя Ростевана к справедливости.

Нам апостолы писали, что любовь живет сердца,
Расточали ей так щедро восхваленья без конца,
Но возвышенный их голос — как бречанье бубенца,
Если ты не разумеешь вечной правды мудреца.

Светом вечной правды, любовью ко всему прекрасному пронизана Поэма. Она завораживает стройной красотой. Прекрасны слова, которыми Руставели срамит ложь: «Ложь сначала смертной плоти, а потом душе вредна».

Хочется коснуться еще одной очень близкой мне стороны «Витязя в тигровой шкуре»: драматизма прославленной Поэмы. Мне ближе поэзия драматичная, искусство трагическое. В Поэме воедино слились мощь эпоса и драматичный лиризм, мудрость мыслителя и боль влюбленного человека, в ней одинаково почетное место отведено уму и сердцу. Лиричны, драматичны и эти стихи из Вступления:

Дай мне пыл Миджнура, чтобы он меня до смерти жег,
Облегчи грехи, что к небу мы уносим в твой чертог!

Или:

Воспоем Тамар-царицу, слезы с кровью проливая!

Должен признаться, что ни в одной эпической поэме, из всех мне известных, я не встречал такого пронзительного лиризма

3

Поэма Руставели дорога мне как великая книга жизни, книга разума и мудрости, книга любви и света

Хочу привести один факт, свидетелем которого был Факт, говорящий о громадной популярности Поэмы Руставели у разных народов. Мне приходилось бывать в горах Тянь-Шаня. Там во многих аулах я встречал мальчиков и девочек, носящих имена героев знаменитой грузинской поэмы. Она стала для киргизов настолько своей, что табунщики и чабаны называют своих детей Тариэлами, Автандами, Настанами, Тинатинами. Такая честь не часто выпадает на долю чужезычного произведения. С глубоким уважением хочу вспомнить имя замечательного и рано умершего поэта Алыкула Осмонова, который так прекрасно перевел на киргизский язык поэму Руставели. Когда же я был в Монголии, зная, что я кавказец, мне подарили иллюстрированное издание «Витязя в тигровой шкуре» на монгольском языке.

Всемирная слава Шота Руставели — это честь всего Кавказа. И мы, нынешние работники кавказских литератур, должны стараться быть достойными своих великих предшественников. Поэма Руставели обращена к разуму и свету. В этом одна из причин ее долговечности. Она — песнь земной красоте, безмерной и бессмертной.

4

Как я уже старался подчеркнуть, всякий, кто хочет понять до конца великую Поэму Руставели, неизбежно будет думать о той силе, которая дает ей возможность оставаться не литературным памятником, а живым произведением, и через восемь веков вызывающим восторг и слезы. В чем же секрет? Вот что нам, нынешним стихотворцам, прежде всего необходимо постичь. А как это нелегко сделать! Меня сразу обезоруживает Руставели, как бы ударив по рукам львиной лапой. Но все же я хочу понять эту гору, постичь, в чем ее мощь и красота, сила ее вечности.

Стараясь понять суть бессмертия поэзии Руставели, прежде всего хочется сказать, что мы имеем дело с гением

А гений всегда верен жизни. У него необыкновенное чутье. Поэтому он не знает фальши и лжи. Таким был Бетховен. Гениальность и верность жизни кажутся синонимами. Они два склона одной горы. Руставели был верен человеческой душе, ее глубочайшим переживаниям и движениям, ее потрясениям, любви, боли и радости и выразил их с необыкновенной силой. У меня, например, вызывает слезы обращение Автандила к звездам. Внешний мир бесконечно меняется. А радость человека остается радостью, боль — болью, смерть — смертью, жизнь — жизнью. Долговечность «Витязя в тигровой шкуре» дарована ему громадностью его содержания, без чего никакая виртуозность и чеканность стиха не могли бы быть спасением. Сколько чеканных стихов умерло за восемь веков во всем мире!

Самые изощренные рифмы и ритмические ходы никогда не заменят силу живой жизни, значительность идей, вложенных в произведение. В этом нас убеждает история поэзии всех времен и народов. И Поэма Руставели остается одним из убедительнейших примеров и образцов.

Подлинные создания поэзии рождаются только гуманизмом, служат его идеям. Без любви к жизни и человеку, без большой радости и боли за человека не может быть крупных произведений поэзии и вообще искусства. Неувядающую силу Поэмы Руставели я вижу в том, что она вся пронизана светом гуманизма. Недаром Автандил призывает царя Ростевана к справедливости. В какую бы эпоху поэт ни жил, он остается и останется врагом злобы, жестокости и смерти.

Творчество есть плененность художника жизнью, ибо за гранью жизни, дальше ее и больше ее нет ничего. Современный поэт это должен понимать особенно хорошо и чувствовать глубоко, потому что он живет в сложнейшую эпоху, когда оружие истребления достигло невиданной мощи, неслыханно усилился трагизм человеческого существования, тревога за все живое и прекрасное на свете, за лучшие создания культуры, являющиеся гордостью всего человечества. Умалчивать это невозможно, больше того — вредно и опасно. Художнику нельзя притворяться так же, как голодному утверждать, что он сыт. Это губительно. Его сила в полной откровенности.

Полная гармония — удел гениальных и редкостных созданий искусства. Такую гармонию мы находим в «Витязе в тигровой шкуре». Шота Руставели сам говорит, что прежде всего нужно поэту для создания подлинного про-

изведения поэзии: «Мастерство, язык и чувство мне нужны в моем творенье».

Никакое холодное мастерство не выручит без глубины и подлинности чувств, без постижения силы и красоты родного языка: «Я, Руставели, спел стихами, сердцем раненым с ним дружен».

Это сказано о Таризле. Отсюда вывод: поэт не может быть не ранен, если ранен его герой, если ранена его любовь, если ранена сама жизнь — высшее благо для человека.

Я осмеливаюсь утверждать: одно только эпическое величие не могло бы сделать Поэму Руставели такой, чтобы она и через восемь веков оставалась для нас живым и трепетным произведением, вызывающим не только уважение, но восхищение и удивление. В ней есть все — эпос, лирика, трагедия, то есть — жизнь, человеческое сердце, борющееся и страдающее; в ней есть боль поражения и радость победы. Будь в ней только одно эпическое величие, тогда создание грузинского поэта уже давно стало бы лишь уважаемым специалистами литературным памятником.

Пусть сам Руставели подтвердит мои догадки. У него сказано: «Вновь Миджнуром стало сердце — не спастись в полях глухих».

Думается, что неотразимая сила поэзии заключена в ее пронзительности. Вот что об этом говорит Шота Руставели:

Есть другие стихотворцы: куций стих — вот их отличие.
Грудь пронзить нам совершенством не позволит их обычай.

И еще:

Но поэт лишь тот, кто пишет в неизбывном вдохновенье.

Писать с вдохновением, с пронзенным сердцем и пронзять сердца — вот первая задача поэта. Поэзия должна пленять, завоевывать человеческие души. Именно этой силой жива и будет жить еще долго после нас великая грузинская Поэма. Не знаю, как для кого, а для меня мысли Руставели о поэзии в его знаменитом Вступлении к Поэме неоспоримы, свежи, словно написаны поэтом сегодня.

Творчество всегда открытие, всегда подвиг. Заинтересованность в счастье людей никогда не покинет подлин-

ного поэта. Во имя этого он и работает. Новизна в творчестве так же необходима, как появление листы каждой весной. Но новаторство нерасторжимо связано с подлинностью и естественностью. Большая радость и большая боль — главные силы искусства. Прекрасно только естественное, как зеленое дерево и спелый колос. Сказанное здесь не имеет ничего общего с мертвыми догмами, являющимися отрицанием поиска, а значит — и творчества. Догмы — враг поэзии, которая не терпит фальши и лжи. Сошлемся и тут на авторитет Шота Руставели. Он говорит: «Ложь — начало всех несчастий».

1966

ПОДОБНЫЙ МОЛНИИ

1

се, кому доводилось побывать в Грузии, знают, как она прекрасна, о красоте ее слышаны и те, которые не видали ее, никогда не смотрели на долины Кахетии, на горы Сванетии и Хевсуретии, на Казбек и Мтацминду, на Куру и Арагви, не проходили по проспекту Руставели, когда в Тбилиси зеленеют или желтеют благородные платаны. На этой красивой земле грузины веками возводили города самобытной архитектуры, строили храмы, возделывали поля, растили виноград и создавали замечательные образцы поэзии.

В течение столетий на Грузию шли жадные захватчики, разоряя ее, грабя, сжигая города, села, виноградники. Пахарям и пастухам слишком часто приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свои очаги и своих детей, виноградари и каменотесы одновременно надо было быть и воинами. Один из таких драматических периодов истории родной страны и закрепил в своей поэме «Судьба Грузии» Николоз Бараташвили. В ней царь Ираклий Второй в тяжкий для измученной и разграбленной родины час решает отдать ее под покровительство России с целью ее избавления и спасения.

На такой земле родился в 1817 году в городе Тбилиси Николоз Бараташвили — величайший из грузинских лириков. Подумать только — поэт такого дарования не увидел напечатанной ни одной своей строки! Его стихи были обнародованы через много лет после смерти автора. Это говорит

о том, какими нелегкими путями шла грузинская культура, как кремнисты были дороги ее литературы.

Николоз Бараташвили происходил из княжеской семьи, но его отец, промотав состояние, обеднел. Ко времени окончания Николозом гимназии семья уже не имела достатка. А потому, должно быть, он не смог позволить себе поехать в Россию, продолжить учебу в университете, о чем мечтал, и был вынужден поступить на службу, чтобы поддержать семью.

На долю поэта выпала чиновничья служба, неинтересная и тягостная.

Эти нерадостные обстоятельства, драматизм грузинской истории и неприглядная современная действительность породили мотивы одиночества и скорби в поэзии Бараташвили, сделали его трагическим поэтом. Поэзия — эхо жизни, в созданиях же лирика — его собственная душа, ликующая или рыдающая. Чем она откровеннее и обнаженнее, тем больше покоряет и пленяет поэт. В данном случае необходимо еще учесть и несчастливую любовь Бараташвили к княжне Екатерине Чавчавадзе, сестре жены Грибоедова, Нины. Блистательная княжна Екатерина Чавчавадзе предпочла одного из мингрельских владетельных князей Дадияни. Судьба на всю жизнь нанесла поэту тяжелую рану. Многие его стихи порождены этой болью и пронизаны ею.

Но нельзя согласиться с мнением, что главной чертой поэзии Бараташвили является пессимизм, если это понимать как отрицание жизни и ее смысла. При всем трагизме, которым проникнута его лирика, в ней ярки образы жизни, привязанность ко всему живому, жажда деятельности.

Чехова, например, злило, когда видели в нем пессимиста, называли его певцом сумерек и печали. Его тошнило от подобных слов газетных писак, не понимавших ни жизни, ни назначения искусства, глупо и праздно мудрствовавших о творчестве.

Стихотворение «Соловей и роза» открывает книжку Бараташвили. Вот его заключительная строфа:

Я желал совсем немного, не сбылось мое желанье —
Я хотел расцвета розы, а увидел увяданье.

Боль за увядшую розу, горькое сожаление о гибели ее, страстное желание видеть ее живой и цветущей — это благословение жизни, а не смерти. Как можно такого поэта называть пессимистом? Не могу поверить, чтобы истинный

художник отрицал жизнь, во имя которой сам работает. Когда горька жизнь, и поэзия бывает горькой, потому что она верна ей — своей матери. Каждый поэт хорошо понимает, что нет ничего драгоценнее жизни, и хочет видеть ее прекрасной, а землю, нашу милую землю — цветущей. Всякие разговоры о пессимизме, когда речь идет о больших художниках, — выдуманные горе-теоретиками слова.

О том же говорит нам и стихотворение Бараташвили о Мерани — Пегасе грузинской поэзии: гениальное выражение вечного движения жизни вперед, жажды творчества и обновления, героического порыва крупной личности, сознающей, что труды и страдания того, кто во мраке ночи прошел вперед, прокладывая трудную дорогу, не пропадут даром, ибо вслед за ним пройдут другие, продолжая его путь и его деяния. Это и дает бессмертие человеческой семье, творчеству и жизни. В таком отношении к бытию мы видим мудрость и гуманизм. Это стихотворение — героический порыв, сквозь века и сквозь все бури летящий вперед на крылатом коне вольный дух человека. В нем я ощущаю бетховенскую мощь и героизм. Оно озарено светом сердца гения, который смело спорит с беспощадным временем и смертью. Так я воспринимаю шедевр Бараташвили и считаю его одним из поразительнейших созданий мировой поэзии:

Не бесплодно стремленье души, обреченной в борьбе,—
Путь, пробитый тобой, не исчезнет бесследно, как дым.

Или:

Нет предела движенью. Мерани, резвей!
Ветром бешеным мрак моих мыслей развей!

А автора этих строк не раз называли пессимистом! Какой парадокс!

Одним из самых потрясающих и горчайших созданий Бараташвили кажется мне стихотворение о синем цвете:

Вместо слез родных — на прах
На моих похоронах
Небо синей полосой
Опрокинется росой.

Это стихи о смерти. Но поэзия — такое явление, такое чудо, что даже когда она говорит о смерти, все равно благословляет жизнь. Для нее нет ничего горестнее небытия.

Это мы видим и в стихах о синем цвете. Как они ни горьки, все равно в них торжествует не смерть, а жизнь. Ведь со смертью героя не приходит конец жизни. Наоборот, герой погибает во имя ее торжества. Художник всегда на стороне жизни:

Жизнь, сгоревшую дотла,
Жертвенная скроет мгла,
И оставит легкий след
В синем небе синий цвет.

Герой уйдет в небытие, но останутся зеленая земля и синее небо — останется жизнь. Поэты знают это, и только потому они высекают долговечные строфы даже из собственных страданий.

Николоз Бараташвили из числа тех гениальных юношей девятнадцатого века, каждый из которых прошел как молния, ярчайшим светом сердца осветив страницы мировой поэзии.

Гениальность Бараташвили отмечали уже его великие соотечественники — духовные вожди грузинского народа, классики родной литературы — Акакий Церетели и Илья Чавчавадзе. Борис Пастернак, блестяще переводивший Бараташвили, писал о нем: «Может быть, тот вид, в котором лежат его стихи перед нами, не представляет их окончательной редакции и автор предполагал еще подвергнуть их дальнейшему отбору и шлифовке. Однако след гения, оставшийся в них, так велик, что именно гениальность, проникающая их, придает им последнее совершенство, более, может быть, значительное, чем если бы автор имел больше времени позаботиться об их внешности».

Поэту, конечно, необходимо кропотливо работать над своими вещами, но никакая отделка не может заменить первородной силы таланта. Прекрасно мастерство. Им, разумеется, надо овладевать. Но оно мертво без обаяния и размаха таланта, без его волшебства. Только талант способен вдохнуть в произведение жизнь.

В 1844 году Николоз Бараташвили приехал в город Ганджа (ныне Кировабад, Азербайджанской ССР) на службу в должности помощника уездного начальника. Там он заболел и умер осенью того же года, на двадцать восьмом году от роду.

Рано умерший поэт стал славой и гордостью грузинской поэзии. Его стихи переведены на многие языки наро-

дов нашей страны, а также Запада и Востока. Судьба, подарив ему слишком короткую жизнь, уготовила бессмертие его поэзии.

2

Судьба Грузии стала судьбой Бараташвили. Потому он и смог стать великим национальным поэтом. Такие художники, как он, бросают свои сердца под копыта неудержимо мчащихся коней времени. Эта душевная открытость, эти самоотверженность и бесстрашие делают их крылатыми, дают им право на бессмертие.

Я говорю о своей любви к Грузии, к ее культуре, к ее поэзии, завожившей всех своей высокой мощью и эмоциональностью. Народ, живущий на поэтической земле, народ, история которого полна драматизма, мужественный, эмоциональный, душевно открытый народ не мог не иметь достойных его поэтов. Поэтому вполне естественно появление в Грузии поэтов мировой мощи — Руставели, Бараташвили, Пшавела, а также прекрасной плеяды современников — продолжателей их дела.

Автор знаменитого «Мерани», Николоз Бараташвили стал символом крылатости, стремительности родной поэзии, всегда обращенной к будущему. В этом редкостном стихотворении целиком выражен поэт:

Мчится, летит без дорог и тропинок мой Мерани,
Вслед мне каркает злоокий, черный ворон.

И, рассекая мрак этих строк, звучит широкий стремительно мужественный стих:

Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела...

Этим стихом автор утверждал беспредельность жизни и творчества, бессмертие народа и его культуры. Бараташвили своим необъяснимо прекрасным стихотворением еще раз доказал, что трагическое в искусстве не есть пессимизм, не есть отрицание жизни. В трагедии всегда идет смертельная борьба лучшего с худшим. А где борьба — там не может быть равнодушия к жизни.

Перечитывая стихотворение Бараташвили о синем цветке, каждый раз я убеждаюсь в том, что оно принадлежит к самым лучшим созданиям мировой лирики. Восхитительны строфы, в которых выражена любовь к вечным краскам

мира, к женщине, в которых звучит и трагизм, неотвратимость конца:

Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз,
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой.

Это цвет моей мечты.
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.

Это синий, негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый, зимний дым
Мглы над именем моим.

Об этих стихах ничего невозможно сказать. Прочитав их, мы молчим, потрясенные.

Наследство Бараташвили — маленький томик, менее чем сто страниц небольшого формата — одно из веских доказательств того, что не количество строк дает поэту право на любовь современников и память потомства.

1967—1971

ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

Мя замечательного поэта XIX века Тициана Табидзе каждый раз я произношу как одно из самых дорогих и близких для меня имен. Только открытость сердца, мощное вдохновение и неподдельный темперамент могли продиктовать такие пронзительные строки:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет —

и с места сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.

Непосредственность и прямота, плененность земной красотой, то есть самой жизнью, — эти черты присущи Тициану Табидзе. Недаром поэт утверждал, что он «мучим красой грузинской речи, грузинским днем». Есть поэты, которые творят с таким волнением и вдохновением, так эмоционально, что, когда их читаешь, захватывает дух, будто идешь над пропастью. И ты заморожен ими и навсегда остаешься в их власти. Тициан Табидзе из их числа. В своей повседневной жизни я часто возвращаюсь к его поэзии, и каждый раз приводят меня в трепет его шедевры «Не я пишу стихи...», «Иду со стороны черкесской...», «Ликование», «Если ты — брат мне...».

Прислушаемся к голосу самого поэта, попытаемся проникнуться той привязанностью к жизни, откровенностью, взволнованностью и нежностью этих строк:

Как я мучусь тоскою и жалостью
Ко всему, что я вижу и слышу.

И в его поэзию невозможно не влюбиться — так она полна высокого вдохновения, силы и обаяния. Великое свойство поэзии — искренность — присуще стихам Табидзе, что «и содрогнешься, стихом пронзенный». Он был рожден для творчества, он — поэт во всем — горел такой любовью к своей Грузии, к высокому имени Кавказа, ко всему подлинному на свете, что мы ощущаем это всей кровью.

Мне повезло. Начинающим литератором несколько раз видел я Тициана Табидзе, говорил с ним. Он — одно из ярчайших впечатлений, оставшихся у меня от встреч с крупными поэтами. А среди них были Пастернак, Ахматова, Твардовский, Леонидзе, Чиковани, Неруда, Альберти, Фаиз Ахмад Фаиз. Весь его облик как бы высечен из цельного гранита горной породы. Собеседник сразу же чувствовал, что он имеет дело с крупным человеком. Я же смотрел на Тициана, как на Казбек. Помню и красную гвоздику на его груди, о которой теперь упоминают часто. Думается, что образ грузинского поэта, вся его сущность неповторимо верно переданы Пастернаком в его стихотворении о Табидзе, которое непременно хочу процитировать. Пусть они оба будут вместе и в моей книге. Им всегда было хорошо вдвоем.

Еловый бурелом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб,
Все затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет
И мыслью — на прицеле
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.

Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,
Он смертен, и однако
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.

Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепла,
Он — пира перегар
В рассветном сером пепле.

У меня нет сомнения в том, что это один из самых точных, прекрасных и удивительных словесных портретов в литературе.

Выводя эти строки, я как бы слышу неподдельный, трагический голос, обращенный к бессмертной Родине, к земной красоте, не знающей оскудения:

Меня убили за Арагвой,
Ты в этой смерти неповинна.

И, став лицом к его самой большой любви — к Грузии, «со стороны черкесской», отвечаю своему дорогому собрату:

— Я слышу тебя! Ты всегда с живыми. Поэзия не умирает.

Он писал:

Замолвят без меня они в мою защиту,
И будет то поэт — так подтвердит поэт.

Сегодня — в день его светлой памяти — мы подтверждаем, что Тициан Табидзе был и остается одним из лучших советских поэтов, любимых в любом краю, что он был честнейшим и чистейшим сыном Грузии, всего Кавказа и всей нашей великой Родины. Я слышу его полный драматизма и любви к жизни голос:

Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,
Твой я вовек и с тобой не расстанусь.

Поэзия Тициана Табидзе не расстанется с жизнью, рожденная любовью к ней, остается с людьми.



ПЕСНЯ ЗЕЛЕНОГО ДЕРЕВА



рузия! Зелень долин, снега вершин, синева моря, темные силуэты древних храмов, крепостей, скал. Вечное безмолвие камня и немолчный звон ручьев. Труд крестьянина и подвиг воина. Мудрая мысль ученого и неуемная фантазия художника. Грузия! Как она прекрасна в своих контрастах, как неповторим ее облик! В этот край влюблялись все большие и малые поэты. Увидев однажды, никто не может забыть ее, как не забывают лицо, глаза, руки и голос матери, как не забывают мир своего детства — его свет и легкость, краски его рассветов, цвет его высокого неба, его пестрые счастливые сновидения. Потому-то облик Грузии навсегда вошел и в великую русскую поэзию. Как хорошо было глазам знаменитых поэтов России смотреть на синее грузинское небо, на долины Кахетии и на Арагви, на платаны и дома Тбилиси. Как точны и обворожительны, подобные счастливому вздоху, пушкинские строки:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною

А вот что увидел лермонтовский Демон:

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!

Грузинская поэзия — явление мировое. Руставелиевой поэмой «Витязь в тигровой шкуре» мир восхищается и сегодня — через восемьсот лет после ее создания. Шота Руставели становится современником все новых и новых поколений.

Хочу еще раз напомнить и о знаменитом поэте-романтике Николозе Бараташвили, жившем в первой половине девятнадцатого столетия.

Назовем еще двух властителей дум грузинского народа, его духовных вождей, поэтов-классиков Илью Чавчавадзе и Акакия Церетели. А такой гигант, суровый горец, поэт земли и мужества, как Важа Пшавела?! Он высится в поэзии подобно Большой горе, самобытный и могучий, похожий только на самого себя.

В наше время Грузия также выдвинула целое созвездие выдающихся поэтов. Кому из тех, кто читает стихи, не дороги многоцветные создания Галактиона Табидзе, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе?

Их младший собрат — одна из ярчайших звезд этого ослепительного созвездия, проникновенный, тонкий художник, мудрый мастер, один из любимых моих поэтов — Симон Чиковани. Он родился в 1903 году в Западной Грузии, на берегу реки Риони, учился в сельской школе и Кутаисском реальном училище, а затем завершал свое образование на филологическом факультете Тбилисского университета. Первая книга его стихов «Раздумья на берегу Куры» вышла в 1926 году.

Симон Чиковани писал в автобиографии: «Отец был инвалидом с молодых лет. Владел несколькими ремеслами. Он любил поэзию, читал низусть целые страницы из Руставели, был горячим поклонником Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Матери я не помню — она умерла на третий или четвертый день после моего рождения». Отец поэта умер в 1918 году, и Симону Чиковани пришлось очень рано начать самостоятельную жизнь. О начальной поре творчества Симон Иванович сообщал: «Печататься стал с 1924 года. В это время под влиянием русского футуризма образовалась литературная группа «Левизна». Группа объединяла моих кутаисских и тбилисских друзей-литераторов и художников. Я был воспитан на классической грузинской и русской поэзии. Из русских поэтов, кроме Пушкина и Лермонтова, особенно любил Тютчева, поэтому переход на позиции футуризма означал для меня большую ломку привычных взглядов и вкусов. Как и следовало

ожидать, после нескольких лет своеобразной работы над словом я и большинство моих друзей отошли от «Левизны». Это произошло еще и потому, что современная жизнь стала для меня главной темой творчества. К этому переходному (к реализму) периоду моей работы относятся такие мои стихи, как «Вечер застаёт в Хахмати», «Комсомол в Ушгуле», «Мингрельские вечера» и другие».

Для художника первостепенное значение имеет сила таланта, чутье и верность изображения жизни, а не принадлежность к той или иной школе. Это подтверждается и творчеством Симона Чиковани, который еще до Отечественной войны стал одним из признанных мастеров советской поэзии. Среди поэтов Кавказа он отличался высокой культурой, острым и глубоким чувством истории родной земли. Удивительны и до осязаемости точны его стихи о грузинских мастерах-зодчих, художниках, поэтах. Будучи сам блистательным мастером, Симон Чиковани горячо любил творческую мощь и фантазию мастеров прошлого, прославлял красоту и силу их работы, постигал трагедию их судьбы. Прочтите такие стихи поэта, как «Рожденный из крепостной стены», «Вардзийский зодчий», «Мастера-переписчики «Вепхис ткаосани», «Николозу Бараташвили» и многие другие.

Писать так проникновенно, с такой радостью и болью о мастерах родной земли может только очень большой поэт, выше всего ставящий величие народа и хорошо понимающий драматизм хода истории, художник-патриот.

Самозабвенно, с горячей любовью воспел Симон Чиковани грузинскую землю, ее колосья и скалы, ее камень и дерево, небо и реки, траву и виноград, дождь и снег, рассвет над знаменитой горой Мтацминдой, на склоне которой он лежит в пантеоне с весны 1966 года, и тбилисские ночи с их лунным светом на балконах, и рыбака, пришедшего с Куры на заре со свежим уловом. А как он разговаривал с мощью гор Сванетии и с задумчивыми облаками над ними! Как подлинный живописец с большой щедростью и завидной свободой он сумел ввести в свою многогранную и многоцветную поэзию краски родной земли, ее бессмертный облик. Мало кто из нас, современников, мог соперничать с ним в живописности образов:

Уже полсолнца в море. Так олень,
Бросаясь вплавь, по грудь уходит в море.

(«Мингрельские вечера»)

Или

И листья ветру сыплются в ладони
И крыльями павлиньими цветут

(«Таймураз обозревает осень в Кахети»)

При всей эмоциональности натуры Симон Чиковани был мудр, при остром чувстве драматизма бытия и истории и несмотря на тяготы, выпадавшие на его долю, особенно в последние годы его прекрасной и вдохновенной жизни он до конца оставался жизнелюбом, для которого были дороги и бессмертные краски земли, и непобедимая сила творчества Мужественный человек и гражданин, Чиковани достойно встретил суровый час войны с фашизмом, час битвы за свободу Родины. Он писал тогда:

Мы ныне станем твердо, как скала,
И «гамарджоба» на мечях напишем.

У Чиковани есть вещи, которые я знаю наизусть много лет. Повторять их для меня так же естественно, как видеть рассвет и зеленые деревья.

Одной из замечательных черт его художнической манеры является соседство в его стихах самого простого и самого высокого умение видеть наряду со сложными явлениями прозаические черты жизни. Образцом из такого рода вещей мне представляется стихотворение «У камина Важа Пшавела». Вчитайтесь в эти слова:

Сушилась развешанная одежда,
Шипя, закипала вода в котелке

Точные бытовые приметы, и вдруг воображение художника взлетает ввысь

И были на музыку горы похожи,
Безмолвные после дождя, вдалеке.

Контрастная, верная действительности, живописная, трепетно-эмоциональная поэзия Симона Чиковани прекрасна. Она — одно из лучших достижений многоязычной советской поэзии. Знаменитый грузинский мастер стоит в одном ряду с лучшими поэтами нашего времени.

Любой большой художник благожелателен ко всем народам, к их культуре. Симон Чиковани, самозабвенно любя родную прекрасную Грузию, оставался истинным интерна-

ционалистом. В этом мы легко убедимся, прочитав его стихи, обращенные к русским и украинским друзьям, его поэму «Песнь о Давиде Гурамишвили» и циклы стихов об Армении, о Польше, о земле Гёте.

Я хорошо запомнил его облик — тонкое лицо и руки, внимательные, с легким прищуром глаза, большой лоб мыслителя, утомленного обширностью интересов и работы. Я запомнил его то внимательно-задумчивым в беседе, умеющим терпеливо и чутко слушать собеседника, то порывисто-нетерпеливым, но всегда великодушным и широким. Он был рыцарски предан жизни, поэзии, культуре, дружбе. Симон Чиковани любил содружество поэтов разных народов, братский союз муз.

Несчастен тот, кто не имеет друзей. У Симона Ивановича было много верных друзей от Варшавы и до ущелий Кавказа, от Берлина до Киева, от Ленинграда до Еревана. Не случайно русский поэт Михаил Дудин посвятил душевные строки памяти своего грузинского собрата. Среди друзей Симона Чиковани были Пастернак, Тихонов, Заболоцкий, Исаакян, Бажан. Он до конца свято берег эту дружбу.

Проведенные с ним часы были для меня счастливыми и незаменимыми. Общение с большим человеком — всегда счастье. Он был одним из моих учителей, внимательным, чутким и правдивым.

Я помню его, глядящего на осенние краски Кахетии, на развалины древнего города Вардзия, на скалы Дарьяльского ущелья и на снега Казбека, помню его тамадой за дружеским столом. Всюду он оставался поэтом — и в тени платанов Тбилиси, которые он так прекрасно воспел, и на улицах зимней Москвы.

Само звучание его фамилии — прекрасно и выразительно — Чиковани! Будто создано для того, чтобы вырезать его на меди или на граните.

Я люблю его смелые метафоричные образы и сравнения:

Но ты — ты слышишь песнь мою, похожую
На ржанье одинокого коня?!

Своим легким взлетом приводит меня в восторг его строка: «Задуманное поведай облакам!» Его поэзия обращена к душе народа, к созревающему колосу и цветущему дереву, в ней живут мастера, труд которых вечен, она обращена к свету и добру, она вобрала в себя краски и цвета

земли и закрепила их самобытно и неповторимо. Его творчество — песня зеленого дерева. В стихотворении «Гнездо ласточки», полном весеннего света и любви ко всему живому, Симон Чиковани писал:

Я у слова расстегну рубаху
И птенца согрею на груди.

Таким и остался навсегда в своей трепетно-живой поэзии один из ярчайших и крупнейших советских поэтов, благородный и самобытный художник, человек-гражданин Симон Чиковани.

1968



ЧУДЕСНЫЙ КАХЕТИНЕЦ

Мне посчастливилось видеть очень ярких и талантливых людей, общаться с ними. Одним из ярчайших среди них был Георгий Леонидзе. Рослый и живописный, он радовал нас одной внешностью, не говоря уже о его редком даровании, о его великодушии, широте, щедрости и общительности. Глядя на его большие руки, я каждый раз думал, что такими бывают руки пахаря, дровосека или каменотеса. А Георгий Николаевич был одним из образованнейших поэтов. Он был знатоком литературы, искусства и истории. Леонидзе — большой жизнелюб, сильно привязанный к жизни, бурно радовавшийся всему прекрасному, всем краскам земли, один из крупнейших певцов советской действительности и грузинской истории. А это ведь особый талант, не каждый даже крупный художник чувствует историю так осязаемо, как это было присуще Георгию Леонидзе. Именно на этой стороне поэзии знаменитого кахетинца мне и хочется остановиться.

Не столько ради подтверждения сказанного, сколько для удовольствия, хочу повторить стихотворение «После чтения «Картлис-Цховреба» (свод летописей Грузии), написанное поэтом в молодости:

До рассвета «Картлис-Цховреба»
Перечитывал, полный печали.
О, мой город, как рвали свирепо
Грудь твою и людей истерзали.

Устоял ли ты в бурю такую,
Или нет тебя больше на свете?
Я из комнаты вон — и ликую,
Увидав тебя в новом расцвете.

Запах хлеба вдыхаю сквозь слезы,
Слышу песен твоих переливы...
Слава вам, табакхельские розы,
И тому, для кого расцвели вы!

Он зорко видел связь прошлого с настоящим и замечательно умел это выразить языком поэзии. По моим наблюдениям, ликование являлось одной из характерных черт Леонидзе. Праздничное восприятие и ощущение бытия, благодарность жизни за земную красоту, ничем не заменимую для человека, не покидали его до конца дней. Он был далек от всего легковесного, поверхностного, от ложного оптимизма и пустого бодрчества. Оставаясь могучим кхетинцем, влюбленным во все земное, порой он поднимался до высот трагедии, был верен подлинной жизни, прозорливо видел в ней и светлое и темное.

О праздничной, ликующей, корневой силе поэзии Леонидзе говорит и его превосходное, давно ставшее знаменитым стихотворение «Поэту» — серьезное и глубокое по философии:

Мы прекраснейшим только то зовем,
Что созревшей силой отмечено,
Виноград степной, иль река весной,
Или нив налив, или женщина.

Все, что дышит сейчас на путях земли,
Все, что жизни живой присуще:
Облаков ли мыс, человек и лист
Ждут улыбки стихов цветущей.

И в стихи твои просится рев, грозя,
Десять тысяч рек в ожидании.
Стих и юность — их разделить нельзя —
Их одним чеканом чеканили.

Для того чтобы подчеркнуть, каким драматичным и трагичным бывал порой стих Леонидзе, при всем его подлинном оптимизме, орлином клекотании, сошлемся на строфы из «Мухранской баллады», написанной, как утверждал автор, по мотивам грузинского фольклора:

Встретил я раз печенегу,
В тихой долине Мухрани,

Дал ему белого хлеба,
Дал ему мясо фазанье.

В кубок налил ему сусла
Крови густой виноградной.
Выпил,— и смотрит он тускло
В очи жены ненаглядной.

Женщина плачет. Бледнея,
Сжав рукоятку франгули,
Встал я тогда перед нею,
Оба мечами взмахнули.

Неистребимая злоба
Наземь обоих кладет.
Вот умираем мы оба.
Женщина с третьим уйдет.

Мне понятно, что цитировать много — не самый лучший прием, когда мы пишем о поэте. А все же хорошо, если сами стихи подтверждают сказанное о нем. Для подкрепления моего утверждения, что Георгий Леонидзе редко и осознано воспринимал историю и умел ярко передать в стихах свои ощущения, приведу несколько строк из стихотворения «Тринадцатый век»:

Гуляет погоня ли
По степи голой?
Ошпарены кони
Нагайкой монгола.

Подобны прожорливой
Тьме саранчи.
От клеткота орлего
Черно, как в ночи.

Не горы ли рушатся
Сводом лазурным?
Лишь стоит прислушаться
К бубнам и зурнам.

Это острое чувство истории было у Леонидзе врожденным, всосанным с молоком матери и вполне соответствовало облику и сути Грузии, ее природе и воздуху. Если этого нет в душевном строе художника, его природе и характере, то, как бы он ни старался писать ярко-оптимистически, едва ли будет толк. Каждый художник может выразить только то, что живет в нем. Если в кувшин была влита вода, из него не вылить вина. Поэтому каждому положено оставаться верным своей природе, петь, как говорится, своим голосом. Между прочим, оптимизм тоже бывает разным

у разных художников. Есть оптимизм Бетховена и оптимизм Россини.

Свою последнюю поездку в родную, обожаемую им Кахетию он совершил со мной. Это было месяца за три или четыре до его смерти, такой неожиданной и непредвиденной. Великий поэт Грузии еще не знал, что болен, что так близок конец, что больше не увидит он милой Кахетии и отчий дом, любимое гнездо. Да и никто из нас в те дни не думал об этом. И в ту замечательную для меня поездку он оставался ярким, как всегда, бодрым, общительным и сильным, словно языческий бог. Он тогда рассказывал много, интересно, темпераментно. Мы посетили его родное селение Патардзеули, расположенное в самом начале Кахетии, были в двухэтажном отцовском домике, постояли под старым орехом. Это дерево раньше своего певца увидело рассветы Кахетии и синее небо над ней.

В запущенном дворике были врыты в землю два больших кувшина с крестьянским вином. Нас встретили земляки и родичи поэта. Дымились шашлыки, которые жарили тут же, во дворе. Гогла подошел к одному из кувшинов, поднял дерн, прикрывавший прекрасный сосуд, дал мне кружку и торжественно-весело сказал:

— Пей!

Потом он, подойдя ко второму кувшину, сделал то же самое. Вино было замечательное. Вообще ведь вино нельзя перевозить, оно этого не любит, его надо пить там, где оно делается. Я пил. Гогла ликовал, ему было приятно, что мне хорошо, это доставляло ему удовольствие, радовало, что он пригласил меня на свою родину, что я вижу его любимый край, самый обожаемый им на свете клочок земли. Георгий Николаевич был всегда таким, сам получал удовольствие от всего хорошего на земле и любил доставлять радость другим. Это высокое человеческое качество. Вот почему я и говорил выше о праздничности и яркости его жизневосприятия.

Перед нами лежала зеленая Кахетия, над нами простиралось синее небо. Стоял апрель. Я пил за Грузию и ее поэзию, за Кахетию и ее великого поэта. К несчастью, оказалось, что за него, живого, совсем не ведая о том, я пил в последний раз. С тех пор мне приходится пить только за светлую память моих любимцев — Георгия Леонидзе и Симона Чиковани.

В тот день Георгий Николаевич уверял меня, что кувшины во дворе были зарыты несколько десятилетий назад,

еще при жизни его отца. Я, конечно, знал, что это не так. Их, может быть, зарыли кахетинцы только накануне нашего приезда по желанию своего любимого поэта. Однако я не проявил ни малейшего сомнения, этим доставив удовольствие одному из самых истинных грузин, гостеприимнейшему кавказцу. Гогла остался убежденным, что я поверил его словам. Его собственная выдумка доставляла ему удовольствие и мне тоже.

Я всегда радовался его дружелюбному отношению и вниманию. Встречи с таким крупным поэтом были не только приятны, но и полезны. Общение с большим художником — лучшая учеба. Надо еще учесть и то обстоятельство, что я к нему, так же как к Тициану Табидзе и Симону Чиковани, с юношеских дней относился любовно, а позже стал считать поэтом, созданным жизнью для украшения и возвышения человеческого рода, для подтверждения того, какими талантливыми, яркими и красивыми могут быть люди.

Беседовать с Гоглой было для меня наслаждением. В то же время я никак не могу думать, что заслуживал расположения, внимания или интереса такого большого художника, каким был Георгий Леонидзе. Он, как и Пастернак, Твардовский, Чиковани, был просто добр ко мне. Так бывает. Крупные поэты чаще всего щедры. Как и многие из общавшихся с ним, я любил слушать, когда рассказывал милый и клокочущий Гогла, похожий на большого ребенка и смелого полководца, на мудрого пахаря или сказочника с неудержимой фантазией, влюбленного в краски земли, радующегося своим выдумкам. Его рассказы были самобытны, как и он сам. Георгий Николаевич видел, с каким вниманием я слушал его, и каждый раз с удовольствием рассказывал. Карло Каладзе, тоже живописный поэт и человек, хороший рассказчик, однажды даже сказал: «Гогла выдумывает о себе всякую всячину, а Кайсын верит!»

Я, конечно, верил не всему, что рассказывал Георгий Николаевич, но истории Гоглы были так интересны, что, какие из них достоверны, а какие выдуманы, меня не интересовало. Он рассказывал не только то, что было связано с ним самим, отнюдь нет. Леонидзе понимал высокие человеческие качества. Во время нашей поездки о жене другого выдающегося грузинского поэта, тогда уже овдовевшей и безнадежно больной, Георгий Николаевич говорил: «Марика Чиковани великая женщина. Да, великая!»

К этой мысли он возвращался неоднократно, и я полностью разделял его мнение. Леонидзе знал ее лучше меня, и его суждения о Марии Николаевне имели куда большее значение и вес. Георгий Николаевич считал, что поэт должен иметь жену, хорошо его понимающую, добрую, преданную, способную стать поддержкой и опорой в трудный день. Гогла считал Марику именно такой спутницей Симона Чиковани, который в конце жизни, так рано оборвавшейся, тяжело болел. В эти горькие для него дни жена, забыв о собственной болезни и о себе, выказала большую стойкость и самоотверженность, на какую способна только замечательная женщина. Георгий Леонидзе хвалил Марику Чиковани, восхищался ее самоотверженностью и любовью к мужу.

В ту нашу весеннюю поездку в Кахетию я еще раз понял, как любила Грузия одного из крупнейших своих поэтов. Тогда не было ни праздника, ни декады, ни официальных приемов. Леонидзе просто пригласил к себе на родину своего товарища. Но школьники кахетинских сел узнавали его, обступали на улицах, бурно приветствовали, засыпали цветами. Наша обычная дружеская поездка превратилась в праздник, хотя ездить с Георгием Леонидзе, быть с ним — было бы для меня праздником, если бы даже мы не видели никого и ели бы сухой чурек, запивая его водой.

Когда мы выехали из Тбилиси, Георгий Николаевич сказал:

— Я бросил курить, перешел на женщин и вино. У меня три любовницы, и каждая из них думает, что я люблю только ее.

Я, разумеется, понимал, что это его очередная выдумка, но смеялся. Меня весилили шутки шестидесятишестилетнего поэта. Не прошло и десяти минут, как он попросил у меня сигарету и закурил. Однажды поздно вечером ему захотелось обязательно посидеть в ресторане при старой гостинице «Тбилиси». Именно там. Мы пришли туда вдвоем, но ресторан уже был закрыт. Гогла огорчился. Ему не хотелось уходить, он стоял в серой кепке набекрень, которая очень ладно сидела на его прекрасной голове. Тогда он рассказал мне, как они с Сергеем Есениным поссорились в этом ресторане в 1924 году. Живописно передав все детали, заключил:

— Что ж, жизнь. Молодые были!

Я не почувствовал, не уловил ноты сожаления в его

рассказе. Может быть, ее и не было. Два больших поэта подрались, как мальчишки. Ну что ж, бывает. Жизнь есть жизнь. Они помирились так же легко, как вступили в ссору. Об этом я напоминаю только для того, чтобы подчеркнуть живой, горячий характер Леонидзе, его открытость и непосредственность. Разговор об этих чертах поэта не только не вредит нашему представлению о нем, а, наоборот, придает больше жизненности его образу. Он был горячий, полный жизни и энергии человек. В душе Гоглы, как и в его поэзии, было много света.

Георгию Леонидзе хотелось, чтобы я еще раз лучшим образом посмотрел памятники грузинской истории и культуры в Кахетии. Он велел открывать даже те храмы, которые давно не открывались, и, торжественно стоя у входа, словно кахетинский царь, пропускал меня вперед, а затем водил по храму, показывал и рассказывал. Лучший знаток и певец замечательных творений грузинского зодчества говорил о них поэтично, с вдохновением! Я наблюдал как углубленно смотрел Леонидзе на каждую фреску, как серьезно озира́л каждый церковный или монастырский дворик, как остро воспринимал то, что сам показывал. Тогда он казался мне сосредоточенным мудрецом и возмущенным воином, готовым ринуться в бой, не страшась ран и гибели.

То, что я видел и пережил в Кахетии, осталось со мной навсегда. Остался навсегда и прекрасный, вдохновенный облик поэта-патриота.

Осенью прошлого года я снова был в Кахетии, вновь посетил и домик в Патердзеули. Там встретил сестру Гоглы, очень похожую на него. Пожелтевший старый орех по-прежнему смотрел в небо Кахетии, как при своем прославленном певце, пережив поэта, любившего это мудрое дерево. Ну что ж, пусть остаются отчий кров и дерево. Земля, где они стоят, и небо над ними бессмертны. Поэт воспевал их вечность и верил в бессмертие жизни. Эта вера для художника необходима, как русло для реки. Кувшинов, врытых в землю в дворике Гоглы, уже не было. Но его родная, его обожаемая Кахетия жила, собирала урожай, смотрела в глаза вечности, помнила своего неповторимого сына и поэта, чудесного кахетинца.

Георгий Леонидзе — один из крупнейших советских поэтов — ярко воспел жизнь и красоту Родины, ее возрождение, считая это своим счастьем. Его песня неповторима:

Меняются века и мнения,
Приходят новые слова.

Поэзия Георгия Леонидзе явилась новым словом родной словесности, неповторимым словом в советской литературе. Оно сказано надолго. В нем живут и будут жить радость и боль человеческого сердца, гул эпохи, как гул моря в раковине. Его яркий облик, запомнившийся мне навсегда, его нетускнеющая песня, похожая на весеннюю зарю и летние сумерки, помогают мне жить, наполняют энергией, бросают свой свет на мою дорогу, умножают мою радость. Я не могу не любить землю, на которой жили такие люди, как Георгий Леонидзе.

1973



ПОЭЗИЯ ВЫСОТЫ



Родина Реваза Маргиани — высокая земля Сванетии. Об этом я напоминаю не случайно. В современную грузинскую поэзию один из ее мастеров принес особый колорит, рожденный тем неповторимым краем, где качалась его колыбель, где он впервые увидел небо, белизну горы, зелень дерева и удивился высоте вершин, услышал голос матери, радовался ее лицу, глазам и рукам. Мать пекла для него хлеб, самый вкусный на свете, и в тени горы или дерева он засыпал сладчайшим сном, прижавшись щекой к материнской груди. На высокой земле мужественных предков Реваз узнал о том, что на свете есть горы, реки, звезды, сказки, что матери над детьми поют колыбельные песни. Там начало не только его жизни, но и его песни, ставшей теперь дорогой и близкой многим читателям. Характер его родины, разумеется, сказался и в характере самого поэта, в его индивидуальных человеческих чертах, в отношении к людям и творчеству, она дала ему темы и ритмы, отметила своеобразием его лирику — поэзию высокой земли, поэзию, наполненную светом высокогорья, как парус морским воздухом. Никто, думаю, не станет отрицать, как важно все воспринятое в детстве и юности.

В лирику Реваза Маргиани вошли чистота снегов сванских высот и воды родников в ущельях. Человечность, задушевность колыбельной песни, отвага скалолазов, мужество мулахских охотников, терпеливость каменотесов, пахарей, их естественность и благородство — все можно найти в его

стихах, со всем этим я встретился снова, раскрыв книгу Маргиани «Стихи», выпущенную издательством «Художественная литература» в серии «Библиотека советской поэзии».

Кто в Сванетии не был,
Тот не знает, наверное, как
Ты беседуешь с небом,
Звезды теплые держа в руках.

Когда я стал читать стихи Реваза Маргиани, у меня родилось чувство, будто я вновь встретился с другом, которого давно не видел, и опять с любовью смотрю на него, снова вижу его лицо, улыбку, слышу его голос, мы с ним беседуем как прежде, когда были моложе, а потому и счастливее. И мне хорошо, и в моем собственном доме становится теплее. Слушать умного, сердечного человека приятно каждый раз, а беседовать с другом — всегда большая радость. Реваз говорит мне:

Что стоит мир и наша жизнь
Без милой, без Ингури! —

и я с радостью слушаю его и понимаю — ведь самому мне жизнь не в жизнь без моих Чегема и Эльбруса. Друг говорит о своей земле и своей реке то же, что мне хочется сказать моему Башилю и Терсколу, моей матери и колосьям моей земли. Давно отмечено: сила лирики заключается именно в том, что слово поэта содержит в себе чувства общепонятные. И нам хотелось бы сказать то же самое, что говорит поэт о своей радости и боли, о сомнениях и любви, обо всем, что нас греет и тревожит. Вечно негасимый огонь лирики, ее сокровенное свойство присуще и творчеству Реваза Маргиани.

Иные из нас, кавказских литераторов разных национальностей, порой становятся на ходули, подвержены украшательству, декоративности, которые пытаются выдавать за национальный колорит, стараясь ими прикрыть отсутствие мысли и настоящей образности. А на самом деле такая мишура не имеет отношения к национальному в искусстве, а говорит об эстетической малограмотности подобных авторов, об их творческом бескрылье и беспомощности. Обветшалые атрибуты и реквизит появляются только там, где отсутствуют глубина мысли, поиск и взыскательность к себе. И тогда сужается круг интересов поэта, сокращается его горизонт, начинает властвовать отсталость. Литер-

раторы, придерживающиеся антитворческих взглядов, голос подлинной жизни подменяют декламацией, а пристальное внимание к жизни — позой. И сразу меркнет белизна вершинных снегов, трава увядает, гложет шум реки — в стихах исчезает живой голос жизни, они становятся фальшивыми.

Маргиани же оказался в числе тех лириков современного Кавказа, которым удалось счастливо избежать или преодолеть подобную мишуру и пустое украшательство, местническую ограниченность, вовремя понять их никчемность.

В лирике Маргиани есть главное — содержательность, образность, мысль, откровенная сердечность, плененность земной красотой, желание радости и счастья людям, в ней бьется горячее сердце поэта. В его лирику вошло все, чем он живет, чему радуется, что его тревожит и волнует, за что он благодарен жизни и судьбе. Поэт переживает, как и другие, он человек среди людей. Поэтому сказанное им интересует многих, становится близким многим сердцам. Его слово — опора и поддержка для тех кто в них нуждается.

Очень хорошо, что горы не заслоняют от взора Маргиани остальной мир, что порой случается с некоторыми из нас. В его лирике мы видим не только дорогой его сердцу облик Сванетии, Грузии, Кавказа. Он с сыновней любовью пишет о нашей Родине, о дальних ее уголках, отдавая свое слово и любовь детям разных народов. Из стихов Реваза смотрит на нас суровый и жестокий лик войны, в них звучит голос тех, кто своим мужеством, страданиями и трудом сокрушил фашизм, есть в них и радость за живых, и боль за погибших. Грузинский мастер умеет говорить языком поэзии о благе труда пахарей, виноградарей и всех, кто созидает. Он не только сван и грузин, он сын нашей Родины, он — человек. Ему дорого не только собственное гнездо, не один отцовский кров, он радуется и тревожится не только за них. И это очень важно. Вот его четверостишие, обращенное к родной Сванетии:

Много видел на свете я
И такой не встречал красоты,—
Но без мира на свете
Быть не можешь счастливою ты.

Да, верно, и высокогорная родина поэта, Сванетия, живет в общей семье народов, деля радости и тревоги со

всей страной, со всеми народами, со всем миром. Художник знает, что нет на свете таких островов, куда не доходили бы ветры остального мира, и гор таких нету, которые бы заслоняли от всех бурь на свете. Только поняв это, смог Маргиани написать строки, являющиеся продолжением приведенной выше строфы:

И деревня родная,
Где впервые увидел я свет,
К дружбе тянется, зная,
Что без дружбы Сванетии нет.

Мы с Ревазом родились и росли по соседству — от моего Верхнего Чегема до его Мулахи всего несколько часов ходьбы: один склон горы смотрит на его селение, другой — на мое. Кстати, это обстоятельство дает мне право писать о Маргиани — его самого и его родную землю я знаю лучше, чем многие. И грузинское хоровое пение, обворожительное для меня, одно из лучших в мире, впервые я услышал мальчиком от земляков Реваза — мулахцев. Это стало началом моей любви к грузинской поэзии.

Стать большим поэтом в Грузии, конечно, трудно — в грузинской поэзии работали мастера, которые вывели родную словесность на мировую арену, придав ей всечеловеческое звучание. А все же поэт, который спустился со сванских гор, сумел занять почетное место в поэзии своей страны. Созданное им стало своеобразным и чистым притоком, подобным воде рек, берущих начало у синих ледников Сванетии.

Все, о чем пишет, Маргиани увидел по-своему и по-своему сказал. Потому он и поэт, только потому. Есть стихотворцы, пишущие стихи и выпускающие книги, которые живут и ходят по земле как бы с закрытыми глазами и заткнув уши ватой; они только повторяют увиденное и услышанное другими, пользуясь объедками с чужого стола. Они не поэты, сколько бы книг ни удалось им выпустить. Не так уж мало теперь нас, литераторов, родившихся и выросших в горах, с детства видевших все то же, что и Реваз, но он в своей работе не похож ни на кого из нас. Он убирает урожай своего поля, разводит свой огонь и печет свой хлеб. Давно сказано: «Каков сам человек — таковы и его слова». А чегемские крестьяне даже говорят: «Если скот не похож на хозяина, то его съедают волки». В поэзии же вообще невозможно притворяться — если человек идет по площади разутый, люди обязательно увидят,

что он бос! То же самое и с поэтом. Он весь как на ладони. Реваз Маргиани, красивый своим талантом, сердечностью и скромностью, говорит слова, похожие на самого себя, на собственную жизнь и сущность. Вот о таком Ревазе Маргиани говорили при мне в тени тбилисских платанов грузинские мастера Григол Абашидзе, Карло Каладзе, Иосиф Нонешвили, несравненно лучше меня знающие, какое место он занимает в грузинской поэзии.

На благой грузинской земле, воспетой великими поэтами, живет и мудро делает свое дело мастер, наблюдая красоту гор и деревьев, пахарей и каменотесов. И вот что очень важно для художника и замечательно в Маргиани: он предан не суете, а родной земле, ее горам, виноградной лозе и деревьям, ее культуре, многовековому опыту славных мастеров, так же как и братству муз. Я редко встречал поэтов-современников, которые бы так мало заботились об известности и так мало суетились, как Маргиани. Он не из тех, кто любой ценой стремится к популярности. Это делает его еще более симпатичным. Он так мил своей сокровенной сердечностью и непосредственностью, что при нем для меня и хлеб слаще и вино вкуснее. Многие из собратьев, живущих в разных краях страны, рады дружбе и каждой встрече с ним, как и я, его сосед и брат. Сколько их перебывало в его гостеприимном доме, стоящем прямо над Курой, с балконом, обращенным на знаменитую гору Мтацминду, воспетую лучшими поэтами Грузии. Много прекрасных часов проводил и я в этом доме и на этом балконе, осчастливленный добрым отношением хозяев, дружеской беседой, братским застольем.

Закрыв книгу Реваза, я почувствовал себя так, будто только что вышел из его дома, где все мило и дорого моему сердцу, после долгой беседы с другом, доставившей мне радость и наслаждение. Во мне еще звучат стихи, рожденные на высокой земле, я серьезен и собран. Мир, омытый дождем, опять стал для меня новым, горы сияют белизной, зеленые платаны мудро притихли, трава свежа, волны реки шуршат, как листья. Мне хорошо. Я благодарен поэту!



ЯЗЫЧЕСКИЙ ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ



Одним из главных свойств Карло Каладзе, известного мастера грузинской и советской поэзии, мне представляется жизнелюбие. Он дорог нам буйством красок своих стихов, темпераментом, широтой, самобытностью восприятия жизни, эмоциональностью. Это вообще характерно для всех крупных явлений грузинской поэзии и грузинского искусства. У чегемских крестьян бытует поговорка: «По земле и урожай». Грузия такая прекрасная страна, что, когда едешь по ней, порою она кажется тебе нереальной, приснившейся в часы счастливого сновидения. Этот край создан для того, чтобы пленять поэтов. Тут есть кого вспомнить. Грузию любили не только Пушкин и Лермонтов, но и художники более скромного дарования.

Я всегда остро ощущал влюбленность поэтов и художников Грузии в свою землю. Эта любовь — сама пленительная песня. Грузинский художник, даже бедствуя и страдая, оставался плененным красками своей родины, мужеством ее героев, красотой ее женщин, сердечностью и мудростью ее матерей. Разве не так было со времен Пшавела и Пиромсани? Грузинская муза, несмотря на многие трагические повороты истории родного края, всегда оставалась оптимистически влюбленной в землю и в жизнь. Это подтверждается и знаменитейшим трагическим стихотворением Николоза Бараташвили «Мерани».

Поэт, современный по своей творческой сути, Карло Каладзе унаследовал лучшие черты предшественников — лю-

бовь к родине, к ее культуре, преданность ее краскам. Знать, понимать и любить своих предтеч — вовсе не значит повторять их. Карло Каладзе, не теряя уважения к традициям мастеров прошлого, вырос в самобытного художника, обогатившего родную поэзию.

Художник остается молодым, пока трудится. Свидетельством тому и одна из недавних книг Карло Каладзе с нравящимся мне названием «За час до старости». Она радуется свежестью мыслей и красок, верой в жизнь, в человека, в будущее, молодостью энергии. В нее вошла древняя и новая красота Грузии, закреплена ее бессмертный облик. Поэзия Карло Каладзе все еще молода, она пронизана светом жизнелюбия:

Когда горизонт нараспашку
И кажется, весь белый свет
В одну голубую рубашку
С небрежностью майской одет,
Когда с беззаботностью бубна
Колотится солнце в кустах
И мчатся деревья, как будто
На цыпочки в танце привстав,
Когда в этой пляске грузинской
Деревьев, скользящих легко,
О чем-то на миг загрустивший,
Я вдруг улыбнусь широко,—

Тогда в этот солнечный, ясный
Пейзаж в деревенском саду,
Как есть, в моей шляпе крестьянской,
Я просто и скромно войду.

И с головой побелевшей
Верну себе юность на миг.
И яростно ветер побережный
Рванет голубой воротник!

Я люблю пантеизм Каладзе, его распахнутость, широкие и смелые мазки, мужественное отношение к горю и преданность земной радости, чуткость к краскам и звукам земли, щедрость и пристальное внимание к виноградной лозе, дереву, дождю, лунному свету на снежном хребте. Он из тех художников, которые хорошо знают, что человек не имеет ничего, кроме жизни, что она — высшее благо для него и нельзя ее не любить. Его поэзия каждый раз заряжает нас жизнелюбивой энергией. Если бы Карло был человеком верующим, то он наверняка был бы язычником, поклонялся бы скалам и деревьям, камню и виноградной лозе. Мне приходилось бывать с ним в разных краях, и

каждый раз я радовался этой его языческой привязанности ко всему земному, его умению радоваться и радовать других, его неутомимой энергии. Кумыкский поэт Аткай писал, что Карло Каладзе и при коммунизме был бы лучшим тамадой за пиршественным столом. Все мы, кавказцы, считаем его ярчайшим, остроумнейшим, веселым тамадой. Но при этом он никогда не позволит себе превращать поэзию в шутку или забаву, остается серьезным и глубоким художником, свято относящимся к творчеству:

Кто он,— тот художник давний,—
Протянул меж нами нить?
Даже имя скрыто тайной,
Некого благодарить.

Очертанье глаз такое,
Ощущенье красоты
Не дает и мне покоя,
Время не сотрет черты.

Острым ощущением земной красоты, полнотою жизни, заинтересованностью в радости людей, любовью к труженикам родной земли и покоряет лирика замечательного мастера грузинской поэзии.

В книгах Карло Каладзе мы встречаемся с лирикой, полной свежей образности, молодой энергии и жизни. Таким именно я люблю его много лет, мне милы его буйная образность, львиная хватка! Меня всегда тянет к нему, хотя у нас разные характеры и пишем мы по-разному. Мне приятны его жизнерадостность, остроумие, живописность, подлинный оптимизм, которые не имеют ничего общего с так называемым телячьим восторгом, бездумным и легкомысленным отношением к жизни и искусству. Я всегда искал встречи с этим широким человеком. Где Карло Каладзе — там кипение жизни, веселый смех, хорошее настроение. Появится этот языческий певец земли, славный остроумец и бражник, король кавказского застолья,— и в доме становится больше солнечного света, все начинают улыбаться, всем становится весело. Он человек неистощимой энергии, знаток и ценитель хорошей кухни и вин.

Но не только этим привлекал меня Карло Каладзе — человек, отнюдь нет. Он — художник большой культуры, хорошо знающий не одну литературу, но и искусство, своеобразный собеседник, умеющий создавать высокую поэтическую атмосферу беседы. Его веселость и любовь к остроумам совсем не мешают ему быть глубоким в суждениях и твор-

честве. Наоборот, такие контрасты в характере придают ему еще большую привлекательность, а сказанному им — многообразие, широту, жизненность. Все это, характерное для человеческой сущности Каладзе, переходит в его поэзию, придавая ей многогранность.

Карло Каладзе любил радовать людей. Ради этого придумывал разные веселые истории, замечательно их рассказывал, пускал в ход остроты. О себе, например, он говорил: «Хотел быть орлом, а стал Карлом». Или: «Ираклий Абашидзе не дает расти вверх, и я расту вширь».

И еще: «Ираклий — высота грузинской поэзии, а я ее широта». Я мог бы вспомнить многие из историй Карло, но скажу только об одном случае. Прошлой весной я был в Казахстане, где отмечался юбилей Джамбула. Когда я прилетел, мне сказали, что приезжает и Каладзе. Я был рад его увидеть, ждал. Открывается торжественное заседание, а Карло еще нет, собрание идет долго, а его все нет, закрывается заседание, опять его нет. Наконец поздно вечером начинается банкет и появляется Карло Каладзе, живой, веселый, ликующий, будто совершил подвиг и все должны восхищаться им. И действительно все ему рады. Хозяева спрашивают:

— Где вы были? Что с вами? Мы ждали вас, беспокоились.

А он все так же весело:

— Я взял в Тбилиси билет на Ташкент, думал, что это Казахстан, а оказывается — Узбекистан. И вот ехал целый день на такси!

При этом вид и настроение у него — победителя. Да, он один из колоритнейших людей.

Таким и жил на земле, которую самозабвенно любил и воспевал, самобытный, яркий человек и поэт Карло Каладзе, похожий только на горы Кавказа и на самого себя. Я, например, как только вспомню его, повторю его имя, и мне становится веселее жить, лучше работается.

СВЕТ ПРОМЕТЕЕВА ОГНЯ



И идет неторопливой походкой мне навстречу, раскрыв объятия, высокий, стройный, красивый. За его спиной — горы, их высота, белизна вершин. Горы высятся, похожие на раздумья великих поэтов и мыслителей о вечности. На их фоне идет поэт, неся бремя трудов и славы. Таким мне видится, вспоминается и остается со мной повсюду мой друг и один из любимых поэтов — Ираклий Абашидзе. В моем восприятии его поэзия, Кавказ и горы сливаются, составляя замечательную гармонию. Эта поэзия высока, вершинна, в ней есть огромность, и впрямь похожая на огромность гор, и в то же время она пронизана лиризмом, пронзительна, человечна, создана тонким мастером высокой культуры. Это и делает Абашидзе выдающимся лириком, именно лириком, несмотря на эпический размах иных его образов и стихотворений. Он давно признан одним из крупнейших мастеров великой советской поэзии.

Мне становится легче и радостнее жить даже от сознания того, что в одно со мной время, рядом — за горой, которую я вижу, выводя и эти строки, живет человек, прекрасно задуманный и образцово созданный жизнью, поэт, много лет удивляющий меня, возвышая мою душу своей лирикой, прививая любовь к жизни и уважение к людям. Я получаю большое удовольствие от его мастерства, высокой культуры стиха. Он одарил меня своей дружбой, продолжающейся много лет, не омраченной ничем. Я привык радоваться, видя Ираклия. Даже не надо никаких его слов,

достаточно просто увидеть его рыцарский облик, улыбку, сияние глаз, чтобы я обрадовался. Если до встречи с ним был даже огорчен и удручен чем-то, то при встрече с Ираклием сразу появляется хорошее настроение, ко мне возвращается радость жизни. Вот это и значит уважать и любить человека, верить ему и доверять во всем, до конца. Только такой человек и называется другом. Порой мне кажется, что мир держится только на любви и верности друзей, которых человеку так же необходимо иметь, как крышу над головой и огонь в очаге, чтобы греться зимой.

2

Многие крупнейшие советские поэты (среди них — Пастернак и Тихонов) в самом начале тридцатых годов признали еще совсем молодого Ираклия Абашидзе. Тут достаточно вспомнить, что его «Балладу спасения» в те годы перевел Борис Пастернак. Его книга «Грузинские лирики» открывалась стихотворением Абашидзе. Эта книга, сыгравшая огромную роль в деле ознакомления читателей с поэзией Грузии, впоследствии стала знаменитой. Русский поэт, как известно, оказал грузинской музе неоценимую услугу. В том замечательном издании среди других прекрасных поэтов занял свое место и молодой Ираклий. Это, должно быть, имело для него громадное значение.

В «Балладе спасения» уже встречались строки, предвещавшие драматизм и серьезность лирики зрелого или позднего Абашидзе, такие, например:

Брат, о как летит безжалостное время!
За мгновеньем миг и за порой пора.
Так давно ль мы были мальчиками теми?
Кажется, вчера или позавчера.

Или вот еще:

Ах, только ль лифт превратностями скользок?
Тверже ли уклад в уюте и быту?
Мало ли и тут проспавших жизнь без пользы
И из темноты ушедших в темноту?

Это написано в 1933 году. Серьезность поэзии Ираклия Абашидзе уже видна также и в стихотворении 1936 года «Отец», как и в некоторых других вещах тех лет. Судите сами:

Вы встречали в селенье моем невеликом,
Под неистовым солнцем грузинского дня

Он ушел от меня.

беда по глазам полоснула,
Черным краем крыла занавесила свет.
И под крышею по-стариковски сутуло
Просидел он пятнадцать невидящих лет.

Цитировать отдельные строфы и строки стихов о Руставели невозможно — не можешь остановиться, — одно стихотворение лучше другого, одна строфа прекрасней другой. Да и к чему много цитировать? Я ведь как бы говорю самому себе. Только жаль, что эти чудесные стихи могут быть не у всех из тех, кто будет читать мои заметки. Вот это и впрямь жаль! Монологи Руставели потрясают меня. Они поднимаются до уровня большой трагедии. Их должны знать все, кому дорога поэзия, наслаждаться их великолепием.

Подобные строки могла выводить только прекрасная рука редкого мастера в счастливые его часы и дни. Человек, создавший произведения истинного искусства, все равно счастлив, если даже ему не повезло в остальном в жизни. Он счастлив, что бы ни было. Счастлива и страна, где пишутся книги, духовно обогащающие человеческую семью, славен язык, на котором создана поэзия большой силы и красоты. Все, кому дорога культура, должны быть благодарны народу, вскормившему больших поэтов, вложив в них свои могучие силы.

3

Мне хочется, чтобы мои заметки об Ираклии Абашидзе закончились стихами, обращенными к нему. Их я протягиваю через вершины, как алую чегемскую гвоздику!

Коль выпадет друга увидеть:

горит все печальной.

Звезда моя в сини над белыми шапками гор,—
Друзей я окликну.

Откликнутся ближний и дальний —
Откликнутся все, где б в горах ни горел их костер.
— Мы слышим тебя! — мне ответят.

И сразу увижу:

Печаль отошла, и, светлей разгораясь, звезда
Встает над Кавказским хребтом все выше,
Где туча печали не скроет ее никогда.

Не так уж и много, друзья,

мне из звездного рога

Свет ваших имен, от которых светлеет душа,
Дарила судьба. Высока моя с вами дорога,
Где с вами встречаюсь я,

воздухом дружбы дыша.

К хребта белизне повернусь я

и крикну: «Ираклий!» —

«Кайсын!» — я услышу в ответ,

осчастливлен судьбой,

Как будто издревле в ауле одном наши сакли
Стояли бок о бок

и шли мы одною тропой.

Что нам километры, коль нет между нами и метра,
Идем локоть к локтю,

виски, как у гор, в серебре.

И если чинар твой рухнет однажды от ветра,
Трясется чинар в эту ночь
у меня во дворе.
И если залает твой пес, слышу я через горы.
Нас Ушба роднит,
хоть мы с разных сторон искони
И матери наши, одевши печали уборы,
Все в черном,
когда-то глядели на горы одни.
О матери наши! О, как они счастье молили
Крылом своим радужным нас, сыновей, осенить!..
В тот миг, когда Лермонтов пал,
горы боль затаили.
Пронзила сердца нам с рождения боли той нить!..
«Ираклий!» — кричу
И — «Кайсын!» — слышу твой голос тотчас.
Эльбрус мой — он твой. Моя Ушба твоя на века.
Как свет и покой,
горы высятся, сосредоточась,
Как наши раздумья, над нами светлы облака.
(Перевод Л. Долинского)

Шму

НЕОТРАЗИМОСТЬ ЛИРИКИ

Вная его много лет, общаясь и очень любя его, я давно хотел написать о нем. Но это так трудно, что я откладывал, не зная, как и с какой стороны подойти к Григолу, с чего начать. Мне нравится писать о поэтах, о моих друзьях. Когда пишу о поэзии, искусстве, творчестве, мне представляется, что я мыслю иначе, чем в процессе писания стихов, ищу свое мнение, подыскиваю наиболее верные и необходимые для каждого случая мысли и выразительность. А все же это каждый раз очень нелегко. Поэтому я много лет собирался написать о Григоле Абашидзе, хотя он из тех поэтов, с которыми мне приходилось и приходится встречаться и общаться очень часто, имею радость быть с ним в самой тесной, душевной и всегда радующей меня дружбе, которую можно назвать братской без какой бы то ни было натяжки.

Многое в лирике Григола Абашидзе не только нравится, но вызывает у меня восхищение. Он и впрямь изумительный лирик, тонкий, вдумчивый, с замечательным ощущением и осязанием вещей и красок земли. Он умеет передавать самые труднодоступные человеческие чувства, движения души, их нюансы. Все это Абашидзе умеет делать исключительно образно, по-своему. Он мне кажется одним из самых вечных лириков среди советских поэтов.

Именно так воспринимается мною лирика грузинского мастера. Я размышлял о работе друга долгие годы. И наконец июньским днем, глядя на зелень моих чегемских деревьев,

на виду у гор, за которыми находится дом Григола, сел за это маленькое эссе о нем. Здесь, по соседству с горами, раздумья о друзьях, о лирике, о творчестве, жизни и смерти, о мгновенном и вечном обретают особый смысл, окраску и оттенки. Сегодня мои раздумья в Чегеме о дорогом мне, любимом мною Григоле Абашидзе, его лирике, о доброй человеческой сущности поэта. Думать о нем, вспоминать его — удовольствие для меня. Пока не опустится ночь на горы и не ляжет грудью на их снега, не войдет, как усталая буйволица, в мой дворик, мы с Григолом будем вместе, не расстанемся. Мне хорошо думать о нем, раскрывая его книги, не спеша читая стихи одно за другим и заново радуясь им, открывая для себя все новые грани в творчестве замечательного поэта. Быть наедине с прекрасными стихами — большая радость.

Я снова наедине с поэзией Григола Абашидзе. По моему садику бродит белая собачка — Колан, осторожно нюхая травки, ища нужную ей. Недалеко от нее гордо, с видом победителя, стоит рябой петух и поет с таким упоением, будто он один на свете только и умеет это делать. Молчат яблони, груши, вишни, абрикосы, орехи. Им в этом году грустно — их побил град и оставил без плодов. Хорошо понимая печаль деревьев, так жестоко наказанных, я тоже смотрю на них печально. Снова раскрываю книгу Григола. Со мной зеленое лето родной земли, горы, деревья и мои раздумья о пережитом, о друзьях, о поэзии. Мне хорошо в тени родных деревьев, под сенью гор. Я медленно читаю Абашидзе, медленно переворачивая страницы. Голос петуха доносится как во сне или из-за соседней горы. Первым стихотворением Григола Абашидзе, восхитившим меня, было вот это:

Закроют силой — ты глаза раскрой:
Нам видеть мир дано лишь раз, не боле —
Деревья, женщину, закат, прибой.
Закроют силой — ты глаза раскрой,
Исполни долг пред миром и до боли,
До слез гляди. Пусть, надавив рукой,
Закроют силой — ты глаза раскрой:
Нам видеть мир дано лишь раз, не боле.

Эти трепетно-пронзительные, сильные по своей правдивости, искренности, мудрые строки я много лет знаю наизусть, ношу в себе, повторяя всюду. Только в таком случае стихи становятся необходимы человеку, как провиант в дороге или вода ручья, случайно обнаруженного путником в зной, как тень дерева в степи. Я жил этими стихами в буквальном смысле слова, благодарный их автору. Такие вещи, конечно,

пишутся не часто. Понимая это, я был рад, что встретил их. Если бы из всего написанного Григолом Абашидзе я не знал ничего, кроме этой миниатюры, и тогда остался бы уверенным в том, что их автор — большой поэт, нужный людям. С этим стихотворением впервые я встретился как раз в труднейшие дни моей жизни, когда имел настоящую возможность оценить человеческое слово поэта, которое становится опорой тех, кому трудно, кто нуждается в поддержке, как в насущном хлебе. В годы больших бедствий я впервые понял, что поэзия и вообще большое искусство приходят к людям на помощь в их тяжкий час, вернее всего, выполняют свой истинный долг, соответствуют своему первородному назначению. Разве не так пришли Шевченко и Мицкевич к своим народам? В этом и выражается человечнейшая сущность поэзии, ее гуманная суть.

Я ходил в своей среднеазиатской дали, глядя на голые склоны Тянь-Шаня, горько тосковал по белому чуду — Эльбрусу, по горам под влажными облаками, по чинарам Чегема, по их тени и повторял: «Закроют силой — ты глаза раскрой». Это стихотворение, написанное молодым Григолом в 1938 году, явилось для меня как бы откровением, счастливой находкой, моим замечательным приобретением. Оно, постоянно оставаясь со мной, не только несло утешение, но и давало силы, поддерживало, помогало жить, как и все хорошее в жизни. При своем лиризме — оно очень мужественное, короче говоря — поэзия.

2

Что более лестного можно сказать о стихах? И я рассказывал о стихотворении Абашидзе правду, завидную для поэта. В те годы я написал письмо Григолу. Это было редким исключением — мало кому из писателей я писал тогда. Такое уважение и доверие были вызваны его стихами. В своем письме я еще спрашивал Абашидзе о судьбе Тициана Табидзе. Да и при встрече говорил ему о том, как его стихотворение помогало мне жить в мои трудные дни. Находясь в Средней Азии, я еще не знал и не мог знать, что я встречу с автором любимых стихов и мы станем друзьями. Тогда не так-то просто было быть уверенным в таких вещах, хотя надежда и не покидала меня — надежда на лучшее, как и бывает с живыми людьми, попавшими в беду. Иначе невозможно жить и делать дело. А человеку в любых обстоятельствах необходимо жить, даже когда это кажется ему невозможным. Надо

жить и делать свое дело наперекор всему дурному и злобному, коверкающему жизнь людей. О том и говорило мне стихотворение Абашидзе. Потому оно и запало в душу.

В годы, о которых идет речь, я так и жил, сделав себе первыми заповедями выдержку и стойкость, целью моей было жить и трудиться, писать назло всему — несправедливости и жестоким ударам судьбы. До этого я прошел фронт, а еще раньше детство и юность провел среди чегемских крестьян, работающих, верящих в жизнь и добро. Так что закалка у меня была. Молодость и здоровье — тоже. Приходилось тяжело. Я боролся с судьбой, всячески стараясь не опускать рук, не опустошиться, не опуститься, не разувериться в жизни, в ее простом и добром смысле. Я должен был твердо уверовать в высокую сущность человеческого труда и творчества, в мудрость созидания. Я решил непременно пройти через все тяготы жизни, трудности и страдания, не уронив и не потеряв себя, дождаться своего часа, как бы мучительно это ни было.

Чувство человеческой стойкости и упорства, внушенное мне моей суровой жизнью в войну и после нее, осталось во мне и по возвращении на Кавказ. Человеку легко живется редко. Со мной этого не было никогда. И теперь, неся на плечах груз пережитого и новых тягот, я часто повторяю любимые строки:

Закроют силой — ты глаза раскрой:
Нам видеть мир дано лишь раз, не боле —
Деревья, женщину, закат, прибой.
Закроют силой — ты глаза раскрой.

Эти стихи давно слились с моей жизнью и судьбой, с моими воспоминаниями.

И сегодня, сидя в своем чегемском домике, где я привык размышлять в тишине и трудиться, вывожу эти благодарные слова поэту, всегда оказывавшему мне трогательное внимание. Он постоянно был добр ко мне, согревая и радуя своей дружбой. Я с ним провел много замечательных часов и дней своей жизни. Он обладает не только большим талантом, но и высокой культурой. Его познания в области истории и культуры основательны и значительны. Общение с ним — редкое удовольствие.

3

Тут, может быть, надо бы поставить точку. Но у Григола Абашидзе имеется целый ряд стихотворений, являющихся лирикой высшего порядка. Кто их прочитал однажды, будет

возвращаться к ним, повторять их, получая большое удовольствие и удовольствие. Это меня и заставляет сказать еще несколько слов. К превосходным созданиям поэта я отношу и миниатюру «Дай срок. »

Дай срок, пусть в груди перезимует стих.
Где завтра нам грустить по облакам родимым —
Кто знает? Где, как сон, мы с болью вспомним их?
Дай срок, пусть в груди перезимует стих,
Тоска дозреет, — и, окутанное дымом,
Уже не привлечет раздолье стран чужих.
Дай срок, пускай в груди перезимует стих.
Где завтра нам грустить по облакам родимым?

А вот еще такая же замечательная «Осень» с ее полупечальной и все же светлой, оптимистической и очень поэтичной философией.

Спокойно солнце светит в вышине,
И листья на деревьях отзвучали..
И мерно воцаряется во мне
Таинственность, подобная печали

Мы все во власти вечного кольца.
Бескрайность, мы твоим подвластны чарам
А раз круговороту нет конца,
То и конец является началом

А как замечательны вот эти строчки из того же стихотворения.

... Но вдруг стемнело, либо
Скатилось солнце. Так ползет назад
С горы Сизифа каменная глыба

Григол Абашидзе принадлежит к ряду глубоко мыслящих художников. Его лирика, пронизанная философскими раздумьями, своеобразна и замечательна глубиной мысли, при этом оставаясь по-настоящему образной, проникновенной, то есть — поэзией. Нельзя пройти мимо и такого прекрасного стихотворения о приходе зимы, две заключительные строчки которого не могут не напомнить читателям:

Где дремлет в снегу виноградник
И ласточек видит во сне.

У поэта много стихов, вызывающих горячее желание цитировать. Но в этом нет в данном случае особой необходимости — мне ведь важно попытаться набросать нечто вроде литературного портрета Абашидзе доступными мне средств-

вами, хотя бы эскизно, всего несколькими штрихами, а не длинно и подробно разбирать стихи. Это уже не моя область. Да и вообще в этом поэзия едва ли нуждается.

А все же не могу отказать себе в удовольствии вместе с читателями повторить еще одно замечательное и, по моему мнению, характерное для Абашидзе стихотворение — «У матери».

На дворе все в янтарном огне.
Нив зеленых огонь — не помеха,
Улыбаясь — счастливое — мне,
Бродит детство мое под орехом.

И все ближе, а я все слепей,
И уходит оно, голубое.
А вот мать силой ласки своей
Видит нас пред собою обоих.

И сияет небес высота.
Я один с этим сном златокудрым.
В нем наивность и вся доброта.
А во мне — бурной юности утро.

Где-то песня зари расцвела.
Мы не спали ночей, чтоб иметь ее!
Между нами большая дорога легла,
Встала пятая доля столетия.

Как это хорошо: «В нем наивность и вся доброта». И прекрасным свойством поэзии от века были «наивность и доброта».

Такие стихи, как приведенные выше, способен создавать только поэт, столь серьезно относящийся к творчеству, как сказано в следующих его строчках:

Мир охвати умом и чувством,
Как ни велик его объем.
Качающийся мост — искусство,
Поэзия — игра с огнем.

И если страшно отступиться,
Стой, затая и вздох, и речь.
Не бойся весь испепелиться,
Страшись крыло полубожечь.

Воистину так!..

Дом друга дорог всегда. Жилье поэта, которого ты ценишь и любишь, — тем более. В нем он трудится, оставаясь наедине со своими мыслями и раздумьями, своей радостью

и болью. Там рождаются любимые тобой строки, пишутся книги, которые необходимы тебе. Одним из таких был для меня и остается дом Григола и Ламары Абашидзе. В их доме, как и у Тихоновых, Чиковани, Пастернаков, Твардовских, Кулешовых, Каладзе, Бажанов, Гамзатовых, Маргиани, Дудиных, я провел много прекрасных и счастливых часов. С благодарностью и нежностью помню несравненное гостеприимство милых Абашидзе. Ламара, прекрасная вдохновительница и друг поэта, всегда окружала нас вниманием, ласковым отношением, как и Марика Чиковани, Нина Маргиани, Этери Жгенти, Гульнар Каладзе. Мы бывали каждый раз счастливы, когда она так заботливо потчевала нас за своим чудесным столом. Не раз бывало так: каждый из нас становился на левое колено, и мы пили, как гусары, за красавицу — жену друга и воспевали женственную, прелестную Ламару в своих горячих тостах. Дом Ламары и Григола Абашидзе — один из лучших, какие я знаю. Там я и мои товарищи встречали неповторимое радушие и сердечность. Каждый раз мы уходили оттуда согретые и окрыленные. Каждое посещение дома Абашидзе, беседа, застолье запоминались навсегда.

Милый, чудесный город Тбилиси, его гостеприимные дома, где я видел так много хорошего! Не могу, не имею права их забыть. Пусть мои благодарные слова и добрые воспоминания полетят к ним через горы ласточками, несущими весть о весне, о тепле и свете человеческих надежд и радости.

1983

Чегем

О ЗУЛЬФИИ И ЕЕ ПОЭЗИИ

ешив написать о Зульфии и ее поэзии, я задаю себе вопрос: почему это должен сделать именно я? И сам же отвечаю: потому, что я давно знаю и люблю ее стихи. Она не только большой поэт, известный стране и миру, но и хороший, обаятельный человек. И мне приятно сказать о ней доброе слово собрата. Кроме того, я читаю ее книги в оригинале. Это тоже дает мне право высказать мнение о мастере, работу которого я ценю. А все же земляки Зульфии — узбекские поэты и литературоведы — знают ее лучше, чем я. Это я признаю. Однако иногда интересно и любопытно слово о художнике, сказанное со стороны, человеком, живущим не рядом, а где-то за рекой или за горой. Есть еще и другая причина, не менее важная, которая в таких случаях заставляет меня взяться за перо. Для нас, советских литераторов, драгоценны дружба наших народов и братство культур. И об этом мы должны говорить не только на торжественных собраниях или в часы застолья, но и писать о культуре, поэзии, искусстве наших народов, воздавая должное их мастерам, что я и стараюсь делать по мере сил и возможностей. Это каждый раз доставляет мне удовольствие. Я люблю писать о тех, кто работает в литературе рядом со мной, о моих товарищах. Мне дорога не только культура родного народа, на языке которого я пишу. Это не просто слова, а подлинная суть моих понятий и ощущений. Я так же смотрю на горы. Этим же чувством продиктованы и мои строки о Зульфии и ее поэзии.

Зульфия однажды писала, что в ее биографии не было ничего героического. С этим нельзя согласиться, если к жизни художника подходить с учетом самого главного в нем — творчества, если учитывать внутренние законы искусства. Сколько пройдено, пережито и сделано этой красивой и умной женщиной. В жизни Александра Блока тоже не было ничего героического, если судить по внешней канве его биографии. А он, может быть, самый трагический русский поэт двадцатого века. Я могу позволить себе назвать его героическим художником. Такова суть сделанного им. Героизм художника — в его совестливости, верности своему призванию, высшим целям и идеалам искусства, в бескомпромиссности и служении народу, вскормившему его, верности самым светлым идеям времени.

Зульфия родилась за два года до Октябрьской революции. К ее счастью, ей суждено было мало прожить в старом мире. Но старые обычаи и традиции живучи. Ничто легко не уходит из жизни. И Зульфия, родившись в старом Ташкенте, должна была идти ко всему новому через большие трудности, преодолевая барьеры, которые ставили традиции и обычаи старого Востока, былого Узбекистана. Только так могла она стать художником нового мира, советским поэтом, которого сегодня знают и почитают не только в пределах и рамках родного языка. Хорошо понимая, что ее самохарактеристика продиктована скромностью, хочу сказать: для того чтобы стать тем, кем является ныне народный поэт Узбекистана Зульфия, надо было обладать не только незаурядным дарованием, но и мужественным характером, стойкостью и большим жизнелюбием. Можно смело сказать, что ее жизнь не лишена была даже героизма. Мне кажется, что вообще в характере каждого крупного художника присутствует героическое начало. По моему мнению, нельзя отрицать того, что чаще всего художественному творчеству сопутствует драматизм чувств, ощущений, драматизм человеческого существования.

Зульфия говорит о своей матери, что она была птицей с подрезанными крыльями. То же самое могло быть и с дочерью. Но, к ее счастью, жизнь уготовила ей другую участь, куда более счастливую судьбу. И случилось так только благодаря Советской власти, которая дала возможность учиться, получить образование, а затем создала все условия для творческой работы и возвысила дочь узбекского труженика, как скажем, Расула Гамзатова, сына аварского горца, как Чингиза Айтматова, внука киргизского скотовода, как

Давида Кугультинова, сына скромного сельского учителя-калмыка. Зульфия в своей автобиографии пишет, что ее мать никогда не выходила за порог своего дома. Удивительно! А дочь объездила мир и известна миру. В смысл этих слов стоит вдуматься. Выдающийся грузинский лирик Тициан Табидзе писал, что поэзия и под чадрой бывает такой прекрасной, что невозможно в нее не влюбиться.

Это верно. Но поэзия Зульфии прекрасна без чадры и без паранджи. Ее лицо, к счастью, открыто с самого начала свету, небу, снегу, звездам, дождю, рассвету, полдню, вечерним сумеркам, лунному свету, и оно действительно прекрасно, как и лицо самого поэта. Потому мне и доставляет удовольствие писать эти строки. Я не раз видел в Узбекистане женщин, красивые лица которых закрывала от меня тяжелая, черная волосяная паранджа. Как мне хотелось видеть эти лица! Но, увы, темная сила паранджи была сильнее моих желаний. Все это так. Но ведь я, как уже подчеркивал выше, веду речь о большом поэте. В чем же заключена сила слова Зульфии, которая меня, живущего так далеко от нее, заставляет писать о ней? Считаю, что именно на этот вопрос, главным образом, я и должен ответить своей статьей. В работе замечательной женщины-поэта меня покоряет ее подлинность, не мнимая, настоящая народность ее поэзии, которая не чуждается и подлинной радости и подлинного горя. А это, когда речь идет о художнике, называется талантом. Об этом замечательно сказал Борис Пастернак:

Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.

Иные наивно полагают, что новизной поэзии является придумывание всяких ребусов, коверкание родного языка и прочие выкрутасы. Они заблуждаются. Новизна, как мне кажется, заключается в значительности содержания стихов, в самостоятельности образного мира поэта. В неповторимости его почерка. Все это в наше время блистательно доказал Александр Твардовский. А если взять нерусских наших поэтов, то же самое сделали такие выдающиеся мастера, как Аркадий Кулешов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим. В их семью входит и народный поэт Узбекистана Зульфия. Кстати, насколько мне известно, она первая женщина в стране, удостоенная этого высокого звания. Она заслуженно и достойно носит его.

Позволю себе привести несколько строк из частного письма Зульфии, в которых, по моему мнению, очень точно и ис-

крenne выражено ее отношение к поэзии: «Жизнь идет, унося с собой наши годы, взамен оставляя стихи, где жизнь души — ослепительная, до боли щемящая радость бытия, и старые шрамы, новые кровоподтеки, которыми нас, к сожалению, щедро одаряют наши дни. Но она, жизнь, этим все дороже и желаннее». Так мог сказать только настоящий художник. Каждый поэт знает себя лучше, чем мы, его читатели. Обратимся к стихам Зульфии, в которых она пытается определить свою задачу художника. Вот они:

Сказали мне: «Гори не угасая!
Мы знаем, что губителен пожар.
Но пламя сердца, песнь твоя простая,
Да будут нам как благотворный дар».

Я это пламя отдала долинам,
Чтоб ярко в каждом вспыхнуло цветке.
Студенческим вагончикам целинным,
Текстильщицам в рабочем городке.

Любви и правды огненная сила,
Казалось, двигала моим пером.
Ни горя, ни веселья не таила
Я честно говорила обо всем.

Я — дочь народа, мастера большого,
Что трудится, поэзией дыша.
Сумею ли ему сказать я слово,
Сияющее, как его душа?

Мне хочется подчеркнуть очень важную и верную мысль в этих стихах, которая останется вечным заветом для художников, а именно то, что художник должен говорить, не избегая ни радости, ни горя, говорить честно. Без этого человек, называющий себя поэтом, окажется тем голым королем, хорошо знакомым нам по сказке Андерсена. Зульфия в этих своих программных стихах коснулась одной из самых необходимых для художника черт, отсутствие которой роковым образом сказывается всегда в его работе. Я верю приведенным мною строкам, в их искренность и правдивость, потому что довольно хорошо знаю их автора. Кроме того, осмеливаюсь утверждать, что Зульфия сумела сказать своему народу сияющие слова, являясь ныне одним из его крупнейших и известнейших поэтов. И для этого требовался не только незаурядный талант, еще надо было обладать мудростью и стойкостью, иметь мужество художника.

Мне посчастливилось впервые увидеть Зульфию в те годы, когда ей было всего лет двадцать восемь. Тогда она была

счастлива, несмотря на горе и беды военных лет: рядом с ней находился ее любимый муж, талантливый поэт, красивый человек, Хамид Алимджан, сама она была не только молода, талантлива, здорова, но и красива. Я смотрел на нее с восхищением и думал: «Какой счастливый Хамид Алимджан!» Я не завидовал, а восхищался, глядя на эту молодую пару. Тогда, помню, я даже представлял себе Зульфию девушкой, идущей по винограднику, глядящей на восход солнца ранним утром, видел, как падает на нее лунный свет в отцовском дворе. С тех дней прошло много лет, но я все равно каждый раз с радостью смотрю на Зульфию — она остается красивой и милой.

Счастье Алимджана оказалось кратким. Через год после того, когда я впервые увидел Зульфию, ее постигло великое горе: Хамид погиб в автомобильной катастрофе. Выше я говорил о мужестве поэта. Когда к Зульфии пришла большая нежданная беда, она не опустила крыл, не сломилась. Это очень важно. Так чаще всего поступали крупные художники. А у них мы должны учиться не только художественному мастерству, но и жизненной стойкости, мудрости. Вспомним хотя бы Бетховена, извлекавшего из всех своих горестей и бед могучие и непобедимые звуки музыки. Это была Прометеева мощь. Не каждому художнику, разумеется, дано быть Бетховеном, но каждый художник, независимо от степени дарования, должен нести в себе хотя бы отсвет этого Прометеева огня, освещавшего жизнь Бетховена, и учиться у таких, как он. Именно это и сумела сделать Зульфия. Пусть ее стихи, написанные в те дни, когда раны сердца были еще свежи и большая тень неотвратимой беды падала на ее двор и ее жизнь, подтвердят сказанное мною:

В невидимом горю я пламени,
Что не погаснет никогда.
Печаль пришла, печаль нашла меня —
Моя печаль, твоя беда.

Засну — приснишься неминуемо,
Проснусь — ищу тебя в жару.
Моя строка, тобой волнуема,
Не подчиняется перу.

Могу ли стать спокойней, сдержанней?
О, почему, скажи мне все ж,
Любовь, чем ты самоотверженней,
Тем больше горя нам несешь?

Моей печали постижение —
В потоке месяцев и дней.

Хотя я с ней веду сражение,
Они становятся сильней.

Твоим я счастьем счастье меряю.
С тобой слилась на все года,
И даст мне силу — твердо верю я —
Моя печаль, твоя беда.

Мне хочется выделить две мысли в процитированных стихах. Когда беда неотвратима, человек должен стараться быть стойким вдвойне и достойно встретить горе так же, как он раньше встречал радость. Он должен вести именно сражение с несчастьем, как и сказано у Зульфии. По мне, замечательны и заключительные строчки стихотворения:

И даст мне силу — твердо верю я —
Моя печаль, твоя беда.

Это очень верно, правдиво и значительно.

Замечательно то, что из ее стихов вырастает цельный, честный, мудрый образ поэта Зульфии. Читая ее книги, я вижу, что у нее нет никакого желания и стремления казаться читателям лучше, чем она есть как человек и художник. Она говорит так, как ей хочется — просто, естественно, скромно. Она не признает позы и декламации. Отсюда и большое обаяние ее поэзии. Она права. Ей хочется оставаться поэтом народа, который вскормил ее, дал свой язык — этот бесценнейший из даров. Благодарная дочь отвечает родному народу горячее, преданной любовью за все дары и, в свою очередь, отдает ему свой талант, вдохновение, все силы. Зульфия прошла весь путь родной советской республики, вместе с ней была и остается свидетельницей возрождения и расцвета нового Узбекистана, его экономики и культуры. Все это стало счастьем для нее, и она выросла в одного из крупнейших певцов возрожденной социалистической Родины. Это и есть ее высшая радость и высшая гордость. И об этом сама Зульфия скажет лучше меня. Послушаем снова ее:

И лучшие из песен, спетых мной,
Советской посвятила я отчизне,
Ведь счастье живо лишь в стране родной,
А без нее горька услада жизни.

Вот почему мне Родина милей,
Дороже мне, чем свет дневной для глаза.
Любовь к ней говорит в крови моей,
Напевом отзываясь в струнах саза.

Мы часто говорим и пишем о вредности и противопоказанности национальной ограниченности и местнической узости для художника. И это верно. Мне думается, всякая замкнутость в пределах родного дома особенно губительна в наш век. Я, например, не могу любить поэта, который ничего дальше отцовского двора не хочет видеть, не признает и не любит. Такое отношение к миру мне кажется непростительной для художника слепотой. Разве мыслимо, к примеру, представить себе такими Пушкина или Гёте? Нет, конечно. И в этом отношении поэзия Зульфийи стоит на большой высоте, ее интерес к другим народам, их культуре широк, ей дорого все, что несет человеку радость и добро на всей земле. Зульфийа — активный борец за мир, за дружбу и братство людей. Эта благородная тема также занимает большое место в ее творчестве. Ее стихи о России, Кавказе, Казахстане, Индии, Египте, Вьетнаме свидетельствуют о широте диапазона творчества, о верности узбекского мастера великому чувству интернационализма. Об этом красноречиво говорят, в частности, строки из стихотворения «Мушоира», в которых определен долг советского поэта — певца братства народов и культур, сущность революционного искусства:

Стихи вставали как мосты.
Для нашей дружбы, нашего сближенья —
Мосты любви и уваженья,
Мосты народной красоты.

Большая поэзия всех народов всегда служила и будет служить именно сближению человеческих сердец, братству народов, оставаясь врагом ненависти и отчужденности между различными нациями, вражды. Это святой долг поэзии, ее великая миссия, непобедимая сила. И я с радостью подчеркиваю, что Зульфийа верна этому долгу поэта и этой миссии поэзии.

Не об том ли говорит нам ее стихотворение с прекрасным названием «Доброе утро, люди мира!». В нем поэт берет на себя трудную ношу уважения и любви к людям, к труженикам мира и детям, тяжесть заботы и ответственности за них, за все живое на свете. Это ведь тоже навсегда завещано поэтам их великими учителями, и это особенно важно в наш век, когда смертоносное оружие, средства разрушения и взаимного истребления достигли небывалого совершенства и силы. В таких условиях художник не может не быть борцом за мир, за

братство людей и народов, ибо его дело по своей природе в высшей степени человеколюбивое и гуманное, поэзия порождения света, она — вечный враг тьмы и жестокости, несправедливости и смерти. В сердце поэта всегда будет звучать бессмертный пушкинский гимн свету, его боевой лозунг:

Да здравствует солнце!
Да скроется тьма!

А теперь опять послушаем строки Зульфийи из стихотворения «Доброе утро, люди мира!».

Соседи сейчас отдыхают, засыпает сейчас детвора,
А для меня наступает любимой работы пора.

На свет моей маленькой лампы, в рабочий мой уголок
Приходят родные мне люди, со всех городов и дорог.

Строители, хлопкоробы, работники рек и гор
Со мной продолжают долгий искренний разговор.

И каждый хочет по праву увидеть в моих стихах
Свою трудовую славу, творческий свой размах.

Они мне вручили слово, за них я сейчас говорю,
Как пограничник в дозоре, я охраняю зарю.

Что может быть лучше для поэта чем охранять зарю для людей, которые создают, чувствовать себя причастным к их труду и судьбе, быть им братом, иметь право говорить от имени их и за них? Советский поэт Зульфийа чувствует за собой такое право, имеет такое счастье. Она спокойно и сердечно говорит, как садовник, идущий по саду на заре: «Доброго утра, люди мира на всей земле!»

Зульфийа, как и положено большому мастеру, как подобает советскому художнику, поэту-коммунисту, с глубочайшим уважением относится ко всем народам, к их матерям и детям, к их культуре, она — певец интернационализма в высоком и подлинном смысле слова. Потому-то цикл ее индийских стихов был в 1968 году отмечен Международной премией имени Джавахарлала Неру, а в 1970 году ей присуждена была премия «Лотос». Значительна не только поэтическая, но и общественная деятельность Зульфийи. Она — редактор республиканского журнала, депутат Верховного Совета Узбекской ССР. Поэзия и общественная работа у нее слиты. Она знает общественную силу поэзии, а в политиче-

ской деятельности видит поэзию. Зульфия — цельный, сильный, мудрый человек со светлым сердцем, открытым всему хорошему и доброму на земле. Одну из своих автобиографий она заключает полными света и нежности словами: «Возьмите мое сердце, люди! Я для вас пою зарю!»

Она и остается такой и в жизни, и в поэзии. Ей хочется помочь всем, кто нуждается в ее поддержке, подбодрить своим словом каждого труженика. Так велено от века поэтам. В поэзии Зульфии много света, тепла, сердечности, душевной энергии, оптимизма и любви к жизни.

Я понимаю, что представлять Зульфию советским читателям нет надобности — они хорошо знают ее. Мне просто хотелось сказать о ней доброе слово собрата, любящего и в какой-то мере знающего ее поэзию, проникнутую сердечной любовью к миру и людям, по-хорошему простую и народную, пронизанную добрым светом и душевностью, умную и в то же время эмоциональную, выросшую из национальной почвы и обращенную ко всем. Я люблю есенинские слова из его замечательного обращения к грузинским поэтам:

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Это очень верно. Я тоже стараюсь всегда так относиться к своим братьям — хорошим современным поэтам и среди них милой, умной и доброй Зульфии. Она мой друг. Я кунак ей. И эти строки — всего лишь слова друга. И в это летнее утро, когда мое лицо освещено белизной снегов Кавказского хребта, сиянием Эльбруса и Казбека, я тихо говорю:

— Доброе утро, Зульфия, сестра моя!

А еще повторяю ее прекрасные слова:

Помни про лучшую песню свою:
Лучшая песня всегда впереди!..



СВЕТЛЫЙ ТАЛАНТ



После знакомства и недолгого общения с Шукрулло я спрашивал себя: что главное в нем? И отвечал: непосредственность и подлинность во всем — в разговоре, поведении, стихах. При первом же соприкосновении с ним обязательно ощущаешь, что он прирожденный поэт. Такое впечатление оставляет далеко не каждый, кто пишет стихи, издает книги. Мы, его товарищи, своего узбекского собрата любовно называем дервишем. Именно это слово наиболее верно передает поэтичность натуры Шукрулло, его бескорыстие, открытость характера, его преданность поэзии, готовность самоотверженно служить ей до конца. В нем замечательно соседствуют детскость и мудрость. Эти черты, так необходимые для поэта, есть и в Шукрулло. Поэтому мы можем сказать, что ему очень повезло: жизнь к нему была исключительно добра и милостива. Она одарила его талантом!

Таким именно я увидел Шукрулло много лет назад и полюбил его. Годы не изменили моего отношения к нему, он для меня и сегодня остается таким же вдохновенным художником, светлым талантом, сердечным, чистым человеком. Для каждого живущего главным является его работа. Чем лучше он делает свое дело, тем больше он человек, ибо на свете нет большей мудрости, чем человеческий труд. Шукрулло славный работник в поэзии. Он имеет честь принадлежать к семье мастеров. А мастера — это соль земли. Они всегда были и остаются красой и украшением жизни. Шукрулло — один

из любимых народом поэтов Узбекистана. Больше того — он уже известен читателям всей нашей страны. Он хорошо делает свое дело как поэт и драматург. Только потому и выходит эта книга, только поэтому и я с любовью к ее автору пишу эти вступительные строки. Без любви вообще нельзя писать ни о чем и ни о ком. А Шукрулло мил мне как поэт и человек.

Вот стихи, которые подтвердят сказанное мной о человеческих и поэтических качествах моего узбекского собрата:

Все, что творю, — творю я для тебя!
Как жить на свете, лишь себя любя?
Лишь для тебя живу я, Человек!
Везде — в моей судьбе, в моей борьбе —
Была со мной моя любовь к тебе.

(Перевод Ю. Нейман)

Эти строки, в которых так много душевного света, привязанности к людям, любви и доброты к ним, говорят сами за себя. Они — веское подтверждение того, каким сердечным и гуманным художником слова является Шукрулло, как он привязан к жизни, как полна его душа желанием добра к тем, кто созидает новую жизнь — к труженикам советской земли.

Таким живым во всем я знаю много лет мастера Шукрулло. Таким он и останется до конца. Он по своей природе из тех, кто никогда не изменяет поэзии, остается верным всему доброму и дорогому сердцу — жизни и людям. Поэт иным и не может быть. А Шукрулло — настоящий поэт. Счастье быть поэтом он несет с достоинством. А это не так-то легко.

Всем нам известно, что узбекская поэзия имеет древние традиции, мы знаем имена многих славных ее мастеров от Навои, жившего более пятисот лет назад, и до нашей современницы Зульфийи. Но, несмотря на то что поэзия узбекского народа богата выдающимися творцами, Шукрулло посчастливилось занять в ней свое место, иметь свою тропу. Он теперь один из признанных мастеров, обогативших родную поэзию. Крупнейший узбекский поэт нашего века Гафур Гулям в одной из своих статей назвал Шукрулло крупным лириком. И это справедливо.

Шукрулло (его полное имя и фамилия — Шукрулло Юсупов) родился в 1921 году. Родина его — город Ташкент. Отец поэта пользовался уважением земляков не только потому, что он являлся хорошим специалистом по прививке оспы, он был отзывчивым и образованным человеком. Кроме

того, он любил и знал поэзию, музыку, имел дружеские отношения со многими мастерами литературы и искусства. Мне приятно подтвердить, что Гафур Гулям, например, говорил об отце Шукрулло, Юсуф-аке, очень лестные слова, часто вспоминал его.

После окончания педучилища в предвоенные годы Шукрулло учительствовал в сельской школе. В 1944 году окончил пединститут, затем учился в аспирантуре. Поэты тоже должны учиться, как и все. Им необходимы знания, высокая культура. Они не мешают никому. Эти сведения о поэте я считаю нужным сообщить читателям потому, что жизнь и творчество художника слиты воедино, неразрывны. Характер отца, его благородство, уважительное отношение к людям, готовность прийти на помощь, любовь к труду и поэзии не могли не оставить глубокий след в душе и произведениях сына, не повлиять на его характер. Трудолюбие, сердечность, доброта матери — тоже. Давно и верно сказано восточными мудрецами, что из кувшина может вытечь только то, что в него было влито.

Печататься Шукрулло начал еще до войны. «Первая тетрадь» и «Песни сердца» — его первые книжки стихов. Они увидели свет в 1948 году. С тех пор им издано много книг на узбекском и в переводе на русский язык. Среди них и двухтомник.

Мне совсем недавно еще раз довелось поехать по узбекской земле. Я видел, как бывшая Голодная степь становится плодоносным и цветущим краем. Один из новых городов — центр Сырдарьинской области назван Гулистаном, что в переводе на русский язык — цветник. И это верно. Я видел, какой замечательный хлопок выращивают теперь в бывшей пустыне советские мастера урожаяев, как по их воле, благодаря их труду зреют там виноград и дыни, возведены новые города, селения, поселки, заводы. А какую бессмертную красоту, созданную их талантом и умом, их фантазией, их руками оставили на узбекской земле мастера прошлого! Тут достаточно назвать самаркандское медресе — Регистан — это чудо зодчества, чудо красоты и поэзии. Это создание узбекских зодчих не уступает никаким мировым памятникам.

Шукрулло имеет счастье быть поэтом страны с высокой древней культурой, певцом родной возрожденной земли. И эту радость он несет достойно. Стихи его отличаются глубиной мысли, лиризмом, искренностью, эмоциональной сердечностью, легким, едва заметным юмором. Они похожи на их

создателя. Конечно, характер художника, все его душевные свойства, разумеется, переходят в его произведения. Злодей или подлец тоже могут что-то сочинить, но поэтами они не станут ни в коем случае. Также злобное не может стать основой поэзии, которая всегда освещена светом добра. Будем верить, что эта истина незыблема.

Прямота, чистосердечность, откровенность — это те черты, которые необходимы поэзии. Они присущи, как я уже говорил, и творчеству Шукрулло. Вот отличные строки, лучшим образом подтверждающие мое мнение:

Меня порой презренный влек металл,
Порой мешала легкая удача,
Я блеск ее за пламя принимал,
Писал о чьем-то горе, сам не плача.

(Перевод Н. Гребнева)

В городе Ташкенте живет прекрасный поэт, простодушный, остроумный человек, замечательный рассказчик и собеседник. Его дом один из самых гостеприимных. Двери дома поэта, как и его сердце, широко распахнуты для друзей.

Я, как и многие из товарищей Шукрулло, проводил там много незабываемых часов, делил застолье с талантливейшими добрыми людьми, не раз благодарил хозяйку за ее радушие и высокое искусство.

Мало мне приходилось видеть поэтов, которых любили бы так много собратьев, как Шукрулло. Его нельзя не любить. В нем много от простодушного ребенка и от Ходжи Насредина — умницы и насмешника, поэта и балагура, находчивого и неунывающего ни при каких неприятностях. Должно быть, о таких, как Шукрулло, и сказано — добрый малый!



ПОЭТ-РЫЦАРЬ

1



Симон Чиковани писал, что дерево продолжает расти, пока живет. Чаще всего, видимо, бывает так и с талантом. Еще раз я убедился в этом, прочитав прекрасную книгу Миколы Бажана «Знаки». В ней как бы заново осмыслено все, что было и оставило след в его жизни и жизни страны. Стих книги Бажана крепкий, точный, образный, в ней нет ни украшательства, ни фальши. Искусство замечательного мастера, вобрав в себя, как губка, тревоги века, страдания и боль, чаяния и надежды современников, их сомнения, их волю к жизни и созиданию, остается по-прежнему мужественным. А ведь поэтом было пережито много, ему выпало быть свидетелем многого — хорошего и дурного. Но художник знал, что каждый раз преодоление трудностей, всего драматического и трагического — беды, боли, несчастья — имеет глубочайший смысл, делая человека человеком среди людей, и дает возможность идти вперед, создавать и созидать. Без этого, разумеется, нет жизни.

В книги выдающегося мастера великой советской поэзии вошел горький запах золы сожженных жилищ, пепел обугленных хлебов. Но в них мы видим также рдение розы и прораствание зерна. Поэту ведомо, как гасили очаги тружеников и свечи жизни миллионов людей, ни в чем не повинных и желавших жить. Всего этого было много в наш суровый век. Несмотря на это, поэт знал, что титан Прометей, похитивший у жестоких богов огонь, зажег его для людей навсегда, и пламя это не погаснет вовеки, как бы черные смерчи

над землей ни кружились. Мы видели Хиросиму, нам известна ее страшная судьба. Неужели это ни о чем не говорит тем, кто готовит новые небывалые и неслыханные бедствия на земле. Где их разум, воспетый величайшими мыслителями и поэтами всех народов?

В век термоядерного оружия трудно быть уверенными в том, что уцелеет даже земля. Извечная вера человека в то, что жизнь бессмертна, хотя сам он, к его несчастью, смертен, страшно поколебалась. Все живут в небывалой тревоге. Покоя не было никогда, а ныне тем более нет его. Так говорят даже те, которые не любят много говорить — пахари, каменотесы, пастухи. Но крупнейшие художники и наших дней, горько сомневаясь порой, страдая, мучаясь, нередко плача ночами в одиночестве, все равно не теряют надежды и продолжают верить в человеческий разум и неистребимость всего живого, в вечность жизни.

Среди этих представителей мировой культуры был и Микола Бажан. Его мудрое отношение к жизни и людям, к культуре и поэзии хорошо известно всем, кто его знает и читает. Верой в бессмертие жизни и земли, их красоты полна и книга «Знаки». Лик бажановской музыки озарен светом мужества и веры. Его лирика пронизана уважением к жизни людей, к мастерам и их труду. Он сам был мудрым мастером, знал цену творчеству и созиданию, как каменотес — силу камня, его прочность.

Нелегко путь. Но гордо и достойно
Иду, как шел. Шаги мои тверды.
Какой бы враг ни злобствовал, какой бы
Лжец ни туманил свет моей мечты.

Эти строки я взял из стихотворения «Именем человека и народа». Думаю, что такой поэт, как Бажан, имел право говорить от имени и человека, и народа, от их имени выразить веру в жизнь в век великих тревог.

Поэзия Миколы Бажана — поэзия мужества. Каждый раз, читая этого поэта, я снова прихожу к убеждению, что искусство должно быть мужественным. Это и делает его человеческим. Без мужества невозможно ни созидать, ни бороться против всего злого, ни делать добро. Чем труднее людям жить, чем сложнее становится их жизнь, чем больше приходится живущим сталкиваться с жестокостью, тем больше они нуждаются в энергии и твердости. И поэзия, обязанная служить людям, стать им опорой, тем более должна быть мужественной, внушать борющимся с тяготами

стойкость, стараться быть им поддержкой. Мне кажется, что и Бажан так же относился к творчеству. Подобный вывод я сделал для себя, прочитав его книгу «Знаки», пронизанную светом всего доброго и хорошего, светом надежды и благожелательства к людям. Я еще раз утвердился в своем давнем убеждении, что Бажан, несмотря ни на что, из счастливых — он истинный художник, очень нужный людям, вливающий в них энергию, дарящий веру, внушающий мужество и человечность. Он — мастер из мастеров, являющихся украшением земли.

Только такой поэт мог сказать вот эти строки:

Вся мешанина эта — сочетание
Железа, серы, фосфора, воды —
Природы наивысшее создание.
Се — человек. И все его труды.

Его победы над бедой и болью,
Его открытия и утраты все,
Взрыв нежности и непреклонность воли,
Земная жизнь в уродстве и красе.

Эти литые строфы обращены к человеку, вмещающему весь мир, вселенную — от запыленной травинки у дороги и до галактик, все великие открытия, все великие создания культуры, все шедевры поэзии. И не только это. Мир и человек вошли в поэзию Миколы Бажана со всеми их противоречиями, со всей сложностью судеб земли и людей. Так бывает всегда с большим искусством. Мужественный художник никогда не приукрашивает действительность, не боится называть горькое горьким, черное черным. Разумеется, только тогда слово поэта и становится настоящим — полезным и даже необходимым людям. Вот таким настоящим мы знали и любили нашего Миколу Бажана.

2

Открытость, сердечность, задушевность и нежность также необходимы поэзии, как образность, эмоциональность, мужественность и языковая стихия. Они очеловечивают поэзию, которая должна говорить о материнской любви, о цветке, раскрывшемся на рассвете, об улыбке ребенка, о дрожании зеленого листа на дереве ранней весной, о человеческой боли и радости. Все это есть в книгах Миколы Бажана. Он умел говорить о самом сокровенном, неповторимом, дорогом, с чем так трудно и горько расставаться. Бажан — истин-

ный лирик. Поэзии нельзя без лирики. Лирика придает ей не только человечность, но и пронзительность, вызывая порой горькие или счастливые слезы, проникая в самые глубины сердца, очищая душу, неся тепло, утешение и утоление боли. Известно: человек выплачется, и ему становится легче. Со всем этим я снова встретился в «Знаках» Бажана. Таким лиризмом пронизано, к примеру, его стихотворение «Пролог к воспоминаниям». Вот строки, воспринятые мною как истинная поэзия, целиком проникнутая лиризмом:

В моих воспоминаньях, словно в кратере,
То вспышка вдруг, то снова тишина.
Я снова вспоминаю руки матери.
Она жива. Во мне живет она.

Вот, кажется, молчание нарушу,—
И сразу, обретая вес и плоть,
Войдут воспоминанья в душу,
И их уже ничем не побороть.

...О горький запах трав, что здесь растут,
Нам память будоражащий мгновенно,
И зеленцой гнилой покрытый пруд,
И вскрик над ним, и сладкий плач Шопена!

Бажан имел счастливый дар быть суровым мыслителем и задушевным собеседником своего читателя. Он значителен и глубок, какой бы характер ни носило то или другое его стихотворение. Поэт не изменял прекрасной образности, настоящей художественности. Лиризм его так же пленяет, как и плодотворная ясная мысль. В книге есть прекрасное стихотворение «Первый снег». Вот проникновенные строки из него:

Мерцает пороша. Но пахнет весной
Начальный, пугливый еще снегопад.

Созвучья сплетаются, как разнотравье,
Мелодия вьется лучистой тропой,
И воображенье становится явью,
А явь оборачивается судьбой.

Я шепоту чистой пороши внимаю
И в добром предчувствии общих дорог
Склоняюсь и нежно к щеке прижимаю
Твой, взятый из теплого снега, следок.

А блестящее стихотворение «Переводя Гурамишвили» начинается с изумительных, глубоко лирических и человеческих строк об олененке. Оба эти стихотворения и впрямь изумляют меня чистотой чувств, глубиной, пронзительным лириз-

мом и кажутся мне шедеврами. Я готов смело поставить их рядом с лучшими стихами, написанными в наш век. Повторим вместе маленький отрывочек из «Переводя Гурамишвили»:

С месхетских круч, с высот темно-зеленых,
С крутых обрывов, из лесистых гор
Сошел спокойно добрый олененок
И простодушно заглянул в мой двор.
Ему навстречу протянул в ладошке
Немного зерен, грубой соли ком.
Соленые и сладостные крошки
Он слижет розовым шершавым языком.

Когда я читаю лирику Миколы Бажана, мне в нашем нелегком мире становится теплей и светлей, и снег чище, и древний язык дождя добрей и милей. Потому люди и любят поэзию. Я слушаю шорох листьев и лепет воды, смотрю на рассвет и сумерки, на звездный хоровод над моим домом, на лунный свет в родном дворике, слышу запах свежего хлеба, чувствую вкус парного молока, снова привязанный к жизни и благодарный чудесному лирику. Я закрываю книгу Миколы Бажана, став чище и добрее, еще больше полюбив землю и жизнь, острее почувствовав их краски, их прелесть и неповторимость, величие земной красоты.

3

Издавна я привык относиться к благородному украинскому мастеру с большим уважением. У нас были общие любимые друзья. С каждым из этих выдающихся художников мы не раз имели радость общаться вместе. И каждый из них, как и я, относился к Миколе Платоновичу с сердечной привязанностью и любовью, гордясь его дружбой, считая ее удачей своей жизни. Бажан из тех людей среди писателей, которые навсегда внушают уважение всем своим обликом, всем поведением, от самого звучания голоса, выражения лица до смысла и содержания сказанного им. Он из тех авторитетов, которые всегда безупречны чистотой своих мыслей, поступков, в отношениях с товарищами, благожелательны, добры, порядочны во всем.

У каждого человека бывают друзья, видеть которых доставляет особое удовольствие. Одним из таких друзей для меня многие годы оставался милый и прекрасный Микола Бажан. И каждый раз, когда я вспоминаю его, мне лучше работается, я становлюсь строже к себе.

Все те, кто знал близко Миколу Платоновича, каждый раз уходя от него, пожимая его сухую, худошавую руку поэта, глядя в его добрые глаза, бывали довольны и благодарны ему, где бы наша встреча ни происходила. Так мы уходили из обширной квартиры поэта — из жилья мыслителя-гуманиста на улице Репина. Наши встречи делало еще лучше, еще прекраснее и присутствие его очаровательной жены, Нины Владимировны. Весь облик этой красивой, а еще вернее — прекрасной женщины неповторим, несет с собой радость и вдохновение. Она была преданным другом и музой Миколы Бажана, украшением его жизни и его поэзии, его высшей удачей, счастьем и радостью, которые ничем нельзя заменить. Весь облик, вся стать Нины Владимировны невольно вызывают уважение даже у тех, которые видят ее впервые. Когда появлялись Нина и Микола вместе, они каждый раз покоряли всех. Я это помню хорошо. Такая жена — и впрямь сокровище, особенно для поэта.

Крупные поэты часто в житейском отношении, в повседневной жизни и быту обычно бывают беспомощны, к тому же очень ранимы. И тут женщина-друг играет огромную, первостепенную роль. Потому-то и осталась такая хорошая слава о жене Эмиля Верхарна.

В моем детстве крестьяне в чегемских горах говорили: «Я твой друг, если ты вспомнил меня в свой трудный день и час». Как-то я всю зиму и весну провел в одной из московских больниц. Там, в моем больничном одиночестве, мне часто вспоминались мои друзья. Зимними вечерами мне нравилось зажигать свечи и писать при их свете, как в давние времена. Вот так было написано и письмо в стихах в Киев — Миколу и Нине Бажанам — моим дорогим друзьям. Вот оно, это письмо, в переводе Лазаря Шерешевского:

Здравствуй, друг мой Бажан!
Здравствуй, брат мой Микола!
Я пишу тебе это не в самый радостный
мой день.

Я теперь не в горах,
Я теперь далеко от Чегема.
Но сегодня сильнее всего
Мне б хотелось увидеть тебя
И услышать тебя.
Я пытался звонить тебе в Киев,
Чтоб звучал для меня
Утешеньем твой голос.

Ну, а как у вас в Киеве?
Я не слышал, я не знаю...
Дорогие Микола и Нина Бажан!
Вам и вашему городу,
Всей земле вашей,
Вашему дому на улице Репина
Я желаю добра, и покоя, и мира!
Микола и Нина,
Великий поэт и прекрасная его жена!
Хорошо человеку,
Когда в этом мире суровом
Есть друзья у него,
Вот такие, как вы.
Так о вас всегда думали
И Чиковани, Симон и Марика,
Так всегда о вас думал и думаю я.
Про себя имена ваши вновь повторяю —
И легче мне становится в трудный мой час.
Здоровья,
Здоровья вам, Микола и Нина Бажан!
Очень этого хочет
Вас любящий верно

Кайсын Кулиев.

И теперь, возвратившись в Чегем, когда в моем садике
зеленеют орех и абрикос, я с любовью снимаю с полки томик
дорогого Миколы Бажана. Вечер спускается с гор. Сумерки
тихо входят в мой дворик, как мои воспоминания о друзьях...

1983, 1985
Чегем



ТАЛАНТ И МУДРОСТЬ



Каждый народ, независимо от его численности, прошел длинный путь. У каждого большая жизнь, большая судьба, большая память. Каждый терпелив и мудр.

Не составляет исключения и немногочисленный балкарский народ, живущий в ущельях и предгорьях Центрального Кавказа, между Эльбрусом и Казбеком, одна из коренных национальностей Кабардино-Балкарской АССР. Его предков называли половцами, или куманами, язык которых закреплен в книге «Кодекс-куманикус». Он абсолютно совпадает с нынешним живым языком балкарцев.

Кязим — крупнейший поэт Балкарии. Он мало еще известен за пределами родного края. Но это обусловлено многими причинами.

Никогда не забуду мою поездку в горы летом 1940 года. Тогда со мной были московский художник и литератор. Мы приехали в аул Безенги. Выше машина подняться не могла. Над ним висели снежные горы так близко, что мне подумалось: если подняться на вершину знаменитой Дых-Тау, надеть бурку и, раскинув ее полы, броситься вниз, то упадешь прямо в этот аул. Нам нужно было идти в Шики. Там жил человек, который вошел в мою жизнь с самого моего детства. Я обожал его.

Детишки играли на плоских крышах, как при Лермонтове. Когда наш проводник, мальчик лет десяти, привел нас к маленькому дворику, а сам вошел в дом, оттуда вышел

хромающий старик, опирающийся на большой посох. Это и был Кязим Мечиев, хромой от рождения, один из лучших поэтов и мыслителей балкарских гор. Мои спутники, видевшие его впервые, сразу заметили, что этот человек с лицом крестьянина и мудреца всем своим обликом естественно сливается с обликом родных мест. Они очень скоро поняли главное в нем: благородство, мудрость и обаяние.

Чтобы лучше понять поэта, надо побывать на его родине, говорил Гёте. К этому надо добавить: чтобы лучше понять страну, необходимо читать ее поэтов. Конечно же куда глубже понимаешь, чувствуешь и постигаешь поэзию Кязима Мечиева, побывав на его родине, пройдя по тем тропинкам, где он проходил на утренней заре или в вечерних сумерках, где он смотрел на белые горы и зеленые высоты, на крестьянские огороды, притихшую траву, на медлительных волов, идущих под ярмом. Даже молчащие камни здесь говорят о многом. Все здесь мне кажется книгой, которую раскрыл Кязим в последний свой вечер. Она так и осталась открытой, и я ее читаю, радуясь и плача. Да, родина всякого крупного поэта — всегда раскрытая книга, а поэзия — обнаженное сердце родной земли, оно остается вечно живым и праздничным, несмотря на следы горя и бед. Такова и судьба поэзии Мечиева. Еще в начале века он писал:

Багдад посетил я, увидел Стамбул,
Я в Мекке от тягот пути отдохнул,
Но мне показалось, что вновь я родился,
Когда возвратился в мой бедный аул.

Кто хочет коснуться живого сердца Балкарии, тот должен раскрыть кязимовскую книгу. В поэзии Мечиева, как и в народных песнях и поэмах, прежде всего мы видим честность, искренность и правдивость. Кязим наиболее полно выразил характер балкарского народа. В его поэзии живут гул свадебной пляски и рыдание женщин на похоронах. Она живописна и лаконична, как пословицы. В ней глубоко радость и боль. В ней выражены мудрость, трудолюбие, совестливость и стойкость народа.

Кязим Мечиев называл себя послем — ходатаем народа. Все беды родины не миновали его сердца. Против произвола и насилия он протестовал перед людьми и богом:

Аллах, аллах, взгляни на горы!

В самом деле:

Их головы от бед и горя поседали!

Чтоб мой народ свободным стал навеки —
Помочь прошу я бога и людей.

Родина Кязима похожа на его поэзию. Когда я приехал в аул Шики, моим глазам открылся мир резких контрастов; белизна снеговых хребтов, зелень долин, шум рек и молчание камня, узенькие кривые улочки аула и широкие склоны, старое ослиное седло из дерева, печальный от усталости ослик с опущенными ушами и грызущий удила горячий конь под добротным седлом, задумчивые тропинки за аулом, а над ними тихие сумерки и рассветы, похожие на кизилковый отсвет. Такие же контрасты мы видим и в поэзии Кязима. Он сделал предметом изображения простые вещи наряду с трагически-высокими явлениями жизни. Он пишет о воробье, который снежным днем сел у него во дворе, и тут же — размышления о старости и смерти. Кязим создает раздумчивые строки о своем старом домике, у очага которого долгие годы слагал стихи, и поднимается до высот трагедии в поэме «Бужжигит». Поэт в незатейливых стихах обращается к своей корове, собаке, кувшину, а в поэме «Раненый тур» с большой и горькой силой выражает беды и боль старой Балкарии. В его поэзии соседствуют желтеющие чинары родных ущелий и песчаные аравийские степи, серый камень и фазан с шеей цвета очагового огня. В ней одинаково сильны живопись и эмоция, мысль и предметный образ.

Кязим Мечиев имел чуткое сердце и меткий глаз.

2

Поэт жил на высокой и прекрасной земле. Он и сам похож на Дых-Тау — так он высится в родной словесности. Для нас он — гора, гора и зеленое дерево одновременно. Мечиев был слит с родной землей, лучше всех понимал ее язык и душу, душу пастухов и каменотесов. Он мог бы сказать о себе словами испанского поэта Антонио Мачадо: «Я ученик народных знаний». Выше всего горские крестьяне ставили справедливость и стремление к ней. Светом той же народной философии освещены и произведения Мечиева. Вот слова того же Мачадо: «Любовь к истине благородней всех иных». Кстати, Мечиев сказал почти то же самое:

Только правде словом я служу,
Только правду чту, как госпожу.

В самые тягостные дни Кязим не терял веры в силу истины и добра. Утверждая, что жизнь тяжела, часто несправедлива и трагична, в то же время он никогда не отрицал смысл бытия:

Мир — тяжкая тропа, где скорбь и горе,—
По той тропе чьи ноги не прошли?
Мир — это взбаламученное море,—
И чьи в нем не тонули корабли?

Сказав такие горькие слова, дальше поэт утверждает, что человек должен жить и трудиться несмотря ни на что, Кязим говорит, что мир, в котором мы живем,— наш отчий дом, наше благо и любовь:

Каким бы ты ни был горьким морем,
Тебя мы любим, ты — наш отчий дом,
Пусть тропа в снегу,— мы с бурей спорим,
Сквозь вихрь и снег мы все-таки идем!

Нам дорого это мужественное начало в поэзии Мечиева. Кязим писал горькие стихи потому, что жизнь была такой и поэт оставался верным действительности. Больше всего любя радость, он часто писал с болью, как говорил сам, потому, что у простых людей на каждом шагу отнимали радость. А ему хотелось, чтобы ее было побольше. Вспомним его «Разговор со старостью» или строфы о любви и гибели прекрасного юноши Бузжигита из одноименной поэмы, и станет ясно, что Кязим любил жизнь и потому ненавидел тех, кто ее коверкал, кто чинил насилие над людьми, неся им нищету, рабство и несчастье. Его злейшими врагами всегда оставались жестокость и произвол. Он поклялся никогда не смиряться перед ними и остался верным своей клятве.

Поэт знал, что насильники, отнимая все, не в силах отнять мысль и песню, мечту и надежду. Он оставил нам об этом замечательные строки:

У нас отнимают и поле,
И хлеба голодный запас,
Но сказки, но песни о воле
Никто не отнимет у нас!

Коль не осталось другого оружия, поэт прибегал к слову правды и гнева. В горе и несчастье человеку помогают выстоять вера в торжество справедливости и надежда. Мечиев принадлежал к тем, кто верил в их силу:

Но в правду веровать, как в хлеб насущный, будем,
Надежду посохом избрав на радость людям.

Поэт старался вооружить мужеством и надеждой своих земляков — чабанов и дровосеков, тех, кто нуждался в поддержке. Его слово внушало достоинство и стойкость. Вот одно из его знаменитых на родине четверостиший:

Кругом жестокий вихрь, тяжелый снегопад,
Но горы, как всегда, без трепета стоят.
В годину бедствия, тревоги и невзгод
Учись у наших гор, несчастный мой народ!

В мою последнюю довоенную поездку в Шики я и мои спутники жили у Кязима несколько дней. Мы видели старого поэта в его сакле, в кругу семьи, в кузнице, среди крестьян, видели его занятого своими повседневными делами и заботами. И сейчас, когда я пишу эти строки, я представляю его идущим по улочке аула, сидящим на камне вечерними сумерками, беседующим с земляками на площади селения, неторопливо раскрывающим томик Хафиза в маленькой комнате с каменными стенами, где находились его книги и где в одиночестве он писал стихи.

3

Все в Кязиме вызывало уважение, все приковывало к нему пристальное внимание моих спутников-москвичей. Был такой случай. В сельском клубе устроили литературный вечер. Кязим сидел с нами за столиком на маленькой эстраде. Он читал первым, читал свои старые стихи, в которых тревоги и беды ночным снегом падают в дымоходы саклей горских крестьян. Кязим читал особенно. Другой такой манеры чтения стихов я не встречал. Еще до того приезда я неоднократно пытался имитировать его манеру чтения. Он смеялся: у меня ничего не получалось. На вечере в Шики, слушая Кязима, все плакали. Плакали старые неграмотные крестьяне и школьники. Затем стали выходить на эстраду один за другим старики и старухи. Они читали наизусть стихи своего земляка. Это не могло не удивить. Такое встречается очень редко. Никакие статьи не могли бы красноречивее доказать истинную народность поэзии Мечиева. Его стихи жили, подобно пословицам, в душе народа, а не определенного круга читающих людей.

В те дни мы, праздничные и счастливые встречей с горами и Кязимом, не знали, что так близка война. Я не ведал, что больше никогда не встречу Учителя, что пожимаю его сухую руку в последний раз, что больше не удастся мне посмотреть в его глаза, в которых горел огонь поэзии. В его глазах — столетия, их муки, радость и боль. Его глаза смотрели на нас как сквозь века, это были глаза народа — зоркие, чистые, полные мудрости и страдания. А улыбка Кязима! Даже старость не заставила ее потускнеть. Другой такой улыбки я

не встречал больше в наших горах: улыбка ребенка и мудреца. И поныне я тоскую по ней. Изумительно улыбался этот человек, на долю которого выпадало много тяжкого горя.

Через много лет я снова увидел аул Шики. Аул, где он родился и прожил более восьмидесяти лет, был пуст, полуразрушен. Кязим умер в Талдыкурганской области Казахстана. Прекрасные глаза великого поэта гор закрылись в далеких степях. А ему так хотелось лежать в благословенной земле отцов — под сенью родных гор!

Гора Дых-Тау все так же белела вдали, речка, вся в пене, по-прежнему неслась вниз, дворик поэта зарос травой, за речкой перед аулом стояла полуразрушенная кузница, как и прежде задумчиво тянулись тропы, ведущие к пастбищам. Опять я увидел на рыжей скале и на зеленой траве тень пролетавшего орла. Удивительный горный мир, полный поразительных красок и величия, мир, воспетый Кязимом, снова сиял передо мною, как раскрытая вечная книга, не подвластный огню и мечу. А Кязима не было.

4

Мечиев родился в 1859 году. Народ его в те времена не имел печатных изданий на родном языке. Кязим свои балкарские произведения записывал арабскими знаками. Он никогда не пел собственные стихи, хотя их пели все близкие — жена, сестры, дочери, сыновья, аульчане. Но читал Кязим, как я уже говорил, прекрасно. Его интонации были то проникновенно-горестные, то сурово-энергичные, похожие на орлиный клекот, то задорные, как при рассказе народного анекдота о Ходже Насреддине, то мягкие, как шелест травы или дрожание зеленого листа.

Отец поэта — Бекки, неграмотный крестьянин, говорят, знал многие ремесла, и за это его ценили горцы. Ему хотелось, чтобы сын учился. Может быть, надеялся увидеть его муллой. Так начал учиться арабской грамоте будущий классик балкарской поэзии. Потом он много лет скитался по арабскому и тюркскому Востоку, изучал классическую литературу и языки. Кроме арабского и тюркских, хорошо знал персидский язык. Куда бы Кязима ни вела нелегкая дорога, он носил в душе облик родной земли. Но в то же время он желал добра не только своему аулу, но и всем селениям на свете, где работающие люди с таким же трудом добывали себе насущный хлеб, как и горские крестьяне. Кязим писал, что

всюду богатый живет, как богатый, а бедный, как бедный, сильный гнет к земле слабого, что цвет радости или горя всюду один.

Если бы не боль за обездоленных и гонимых, если бы не острое чувство правды и справедливости, Мечиев не стал бы поэтом в старой Балкарии.

Остается сожалеть о том, что судьба и обстоятельства его жизни не дали Кязиму возможности так же хорошо знать русскую литературу, как он знал восточную. В этом смысле больше повезло его ровеснику Коста Хетагурову, отец которого был офицером русской службы и сумел определить сына в русскую школу. Отец же Кязима, к нашему большому сожалению, не сумел, а может быть, и не хотел этого, ибо не понимал значения подобного шага. Как обогатило бы балгородного поэта Балкарии хорошее знание великой русской литературы. Учись он в русской школе, может быть, и поэтическая судьба его стала бы иной.

Четверостишия Мечиева я читаю каждый раз с удивлением. На старом Востоке любили писать четверостишия — рубаи. Мне хочется подчеркнуть, что кязимовские четверостишия отличаются от них не только формой рифмовки (рубаи рифмовались *ааба*), но и конкретной балкарской тематикой. Это настоящие горские стихи. Мечиев отлично знал великих мастеров Востока, до конца жизни изучал их. Однако он оставался оригинальным художником, верным горской действительности. Но и конкретно — горские темы он поднимал до всечеловеческого уровня. Даже сказанное в такой, казалось бы, чисто балкарской поэме, как «Раненый тур», можно отнести не только к судьбе одного горского охотника и нашего народа. За такую поэму Мечиев мог легко поплатиться, но он сам говорит:

«Посла не казнят» — есть присловье.
Народ меня сделал послом,
Чтоб нищее наше сословье
Своим защищал я стихом.

И дальше:

Народ меня в горе не бросит:
Я болью народною стал.

Поэма «Бузжигит» занимает особое место в творчестве балкарского мастера. В ней горят раны Балкарии и всего Востока, я бы сказал, даже — всего человечества, — так зна-

чительно сказанное в ней о любви и труде человека, о смысле бытия, о свободе, добре и зле. Мудрый Зодчий, отец героя поэмы, считает своим счастьем то, что дома, построенные им, стали красотой родной земли и радостью для людей. Он счастлив сознанием того, что в мире, полном жестокости, не заставил плакать ни одного ребенка. Меня каждый раз удивляет монолог Зодчего. Вот что сказано в нем о мастерах и мастерстве:

Пойми: оно безмерно.
Мудрей и старше нас.
Без мастерства б, наверно,
Весь род людской угас.

Рать мастеров несметна,
В них — свет и мощь добра.
Да, мастерство бессмертно,
Хоть смертны мастера.

Твердым убеждением, мудрой страстью и силой дышат эти строки. Какая у них классическая ясность!

Высшим желанием Кязима было, чтобы его труд стал светом для тех, кто в нем нуждался. Не зря же он создавал не только поэтические произведения, западавшие в душу народа, как пословицы, но также ковал железо для крестьян, выручая их ежедневно. Образ Зодчего является как бы образом самого Мечиева.

У нас в горах в обычае слагать песни о трагически погибших. К Кязиму часто приезжали из ближних и дальних аулов с просьбой сложить песню о погибшем родиче. И поэт слагал стихи, которые становились песнями. Но они, к сожалению, до сих пор не собраны. Многие рукописи ранее не издававшихся произведений Мечиева сгорели во время оккупации Нальчика гитлеровцами.

Кязим Мечиев поднял нашу национальную художественную мысль на большую высоту, стал для нас образцом поэта. Если есть что-нибудь значительное в нынешней балкарской поэзии, то оно выросло из кязимовских корней. Заверяя потомкам свое замечательное наследство, он сказал:

Пришла ко мне старость, как тысяча зим...
Пусть с вами живет мое доброе слово!

Он, конечно, знал цену своему слову. И оно, не потускнев, прошло с нами через все испытания. Мы учились у него. Будут учиться и те, которые придут после нас.

К памятнику К. Мечиева школьники приносят цветы ущелий. Люди чтят его за любовь к ним и прозорливость. Талант долговечен. Поэт и горы смотрят друг на друга. Они были необходимы друг другу. Кязим верил, что вечен мир и бессмертна поэзия. И мы повторяем вслед за мудрым поэтом:

...Но, чтобы в человеке
Свет мысли не погас,
Огонь любви навеки
Горит для нас — и в нас.

1962—1967

Я РАД, ЧТО ЗНАЛ ЕГО

Н

е могу сказать, что я хорошо знал Эффенди Капиева или был с ним близок. Я даже не запомнил, какого цвета были его глаза. Мы были молоды. Началась война. Капиев не дожил до ее конца, но в 1938 — 1939 годах я несколько раз встречался с этим интереснейшим человеком, истинным поэтом. Никаких высказываний Эффенди Капиева, конечно, я не запомнил, однако мне важно вспомнить сейчас не только личное общение с замечательным горцем.

Самое сильное впечатление у меня осталось от обсуждения книги «Резьба по камню» в Союзе писателей СССР, кажется, в 1939 году. Участники этого разговора высоко оценили книгу. На меня же она произвела ошеломляющее впечатление. Думаю, я не столько понял тогда ее значение, сколько ощутил ее поэтичность, выразительность, колорит. Завидная судьба ждала эту книгу, которую я осмелюсь назвать шедевром горской поэзии.

Мое общение с Эффенди Капиевым не кончилось на нескольких случайных встречах и не кончится, пока я живу. Поэт остается жить в своих книгах, в них его сердце, мысли, все существо. Часто, очень часто я беседовал и беседую с поэтом Эффенди Капиевым, еще и еще раз возвращаясь к его прекрасным книгам «Резьба по камню», «Поэт».

Летом 1940 года я уехал на службу в Красную Армию. Вместе с томиками Лермонтова, Тютчева, Блока, Есенина и других необходимых мне поэтов я взял с собой и первое издание «Резьбы по камню», вышедшее в том же году. Это была книжка маленького формата в твердом переплете стального

цвета. Я стал парашютистом-десантником. В той части, где я служил, не было ни одного члена Союза писателей, кроме меня. Меня иногда просили принимать участие в вечерах художественной самодеятельности. На первом же вечере я прочитал наизусть капиевского «Хочбара». Тогда я был пленен этой трагической песнью. Интересно, что врачом в нашей части служил земляк поэта, лак доктор Исаев. Это было в городе Старая Русса, где в свое время жил Достоевский.

Мой экземпляр «Резьбы по камню» погиб вместе с другими книгами и с тетрадью стихов в первые дни войны, когда мы, группа парашютистов-подрывников, взрывали мост через Западную Двину в городе Даугавпилсе. Я с невыразимой нежностью вспоминаю эту книжку, именно это первое издание «Резьбы». Она долго была со мной, дала мне много радости и наслаждения. Сам факт, что я взял ее с собой вместе с томиками великих лириков, уезжая в армию, говорит о многом. Я несколько лет тосковал по «Резьбе». И вновь встретился с ней, только когда в Москве было выпущено «Избранное» Капиева. К моей радости, в него вошла и «Резьба по камню». Я купил книгу в городе Фрунзе, столице Киргизии. Я снова встретился с книгой, которая была мне так дорога, что казалась живым существом.

А за год до этого я читал книгу венгерского академика Преле, изданную до революции. В ней было много старинных балкарских песен. Тогда в маленькой комнатке с земляным полом, в старом домике, крытом соломой, работая зимними ночами, я написал большое стихотворение. «Над старой книгой горских песен». Одновременно переводил лермонтовского «Демона». Стихи о горских песнях я посвятил памяти Эффенди Капиева. Это было выражением моей любви к нему. В 1951 году в том же городе Фрунзе родился у меня первый сын. Мне очень хотелось назвать его Эффенди. Но помешало осуществлению моего желания то, что слово «эффенди» по-балкарски значит мулла. И моей матери казалось, что парню будет неловко носить такое имя среди балкарцев. Потому только я отказался от своего намерения и назвал мальчика Эльдаром.

Эффенди Капиев явление уникальное. Сын горца из Лакки стал выдающимся поэтом. Он писал на русском языке. Я рад, что видел его — кавказского горца, худошавого, горячего, мудрого, изящного, выразительнейшего и талантливейшего человека. Любовь к его книгам остается со мной.



ПОЭТ КАК ЛИЧНОСТЬ

(Из речи, сказанной на вечере в МГУ)

В наши дни многие могут писать грамотные стихи, находить для своих строк приличные рифмы. Эта сторона стихотворства поднята высоко. Но сила поэзии, надо полагать, заключена не в этом умении. Тема: поэт как личность — обширна и серьезна во всех отношениях. И мне понятно, какое ответственное дело говорить перед профессорами, преподавателями и студентами Московского университета.

Наш вечер посвящен памяти Мусы Джалиля, его шестидесятилетию. Я не буду пересказывать биографию поэта, содержание его произведений. Не могу, к сожалению, поделиться с вами воспоминаниями о нем — не был знаком с ним, никогда его не видел. Устроителям вечера я обещал сказать лишь о поэте как личности. Мне всегда казалось, что оно, это понятие, определяет многое в художнике, в его творческой судьбе, решает, может быть, все. Об этом говорят опыт и история мирового искусства. Вспомним Сервантеса, Бетховена, Пушкина, Гёте, Лермонтова, Рембрандта, Мицкевича, Льва Толстого. Их много, ставших образцами и учителями мужества, человечности, совестливости. Они были могучими художниками, стойкими борцами, умевшими смело вступать в бой за человека, за его свободу и радость, за народы и их права.

Был я в мире человеком —
Это значит — был бойцом.

Так писал тончайший лирик, которого называли олимпийцем. Оказалось, что великий поэт и мыслитель Гёте считал лучшей и самой почетной участью для человека вообще и, в частности, для себя — быть на земле бойцом.

Самые светлые и прекрасные слова о сущности дела поэта и его назначении принадлежат Пушкину. Эти строки ныне знает каждый школьник, но не произнести их вслух сегодня на вечере памяти поэта-героя я не могу:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Поэт-жизнелюб, небывалый лирик, для которого женская красота, вино, горы, море, снег, дождь, трава, рассвет — все прекрасное и милое на земле — было радостью, все же главным в своем великом деле и подвиге считал то, что заключено в процитированных выше стихах...

Да, писать грамотные стихи ныне могут многие. А человек, сказавший:

Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой,—

это уже не просто стихотворец, не только автор рифмованных строк. Это уже личность, и личность трагическая. Слагать свою песню в тот час, когда палач занес топор над головой,— это мужество и присутствие духа вдвойне. Для этого мало быть просто храбрым человеком, но еще надо верить в жизнь, в победу всего лучшего и светлого в ней. Муса Джалиль и в час своей гибели верил в правоту своей Родины, в ее грядущую победу. Поэт слагал свою песню перед неминуемой гибелью и в ней славил жизнь.

И стихи перестали быть просто словами, а стали дыханием их создателя, судьбой, жизнью. Вера в правоту советского народа дала Мусе Джалилю мудрость и смелость. И в невыносимых условиях стал он организатором подпольной борьбы против фашизма. Только так выковывается характер героя. Трудно преодолеть страх смерти! Но без этого нет подвига,двигающего жизнь вперед. Из стихов Мусы Джалиля встает образ мужественного человека, темной ночью смело идущего над пропастью. И стал он героем и примером для всех желающих оставаться людьми. Так живет на земле мужество, подвиг и человеческое достоинство.

Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

Сказать о себе так имеет право далеко не каждый поэт. Для этого надо быть таким же нестигаемым бойцом, как Муса Джалиль, в борьбе за ту правду, ради которой художник живет и трудится, надо обладать таким же мужеством, иметь такую же большую судьбу.

Мелкая река не может держать корабли. Муса Джалиль был подготовлен к своему подвигу всей своей жизнью, воспитанием советского человека-ленинца, поэта-интернационалиста, художника-патриота. Справедливая народная война против варварского фашизма выковала из Мусы Джалиля крупного человека, сделала его героем. Таких людей жизнь создает в крутые, тяжелые, трагические часы. Они необходимы ей. Жизнь не может обойтись без них. Они необходимы людям, как совесть. Без них не будет ни красоты, ни радости. Подтверждением этой истины является и жизнь Мусы Джалиля.

Он совершил подвиг, не покорившись врагам своей Родины, душителям справедливости и человечности, убийцам и разбойникам, врагам свободы и поэзии. Да, и поэзии, потому что поэзия издревле служила и всегда будет служить добру и свету. Поэзия, на каком бы языке она ни создавалась, под каким бы небом ее голос ни звучал в те годы, как и ныне, была против фашизма, стала на его пути. И фашисты ненавидели поэзию. Кровь поэтов всех времен и народов всегда была чиста, как и совесть. Так должно быть. Это природа поэта. Совесть и поэзия, чистота и поэзия — одно и то же. Чистота снега на склоне горы и белизна вновь расцветшего боярышника испокон живут в поэте, в нем святость хлеба и воды.

Муса Джалиль совершил подвиг, выполняя долг бойца перед Родиной. Но это только одна сторона его дела. Ведь он был не только бойцом, а еще и поэтом. В невероятно тяжелых условиях фашистского застенка сумел создать он тысячи строк стихов, написанных кровью сердца. Это был его поэтический подвиг. Большой человек Муса Джалиль стал большим художником. Это еще раз свидетельствует о том, что личность поэта играет первостепенную роль в его творческой судьбе. Создания художника — это его судьба, его совесть и жизнь. Художнику необходимо бесстрашие, которое так трудно дается.

В воспитании Мусы Джалиля, подготовке его к подвигу, конечно, большую роль сыграла русская и мировая классическая литература, книги советских писателей. И мне хочется

на вечере памяти поэта-героя сказать: пусть славится в веках труд великих поэтов и художников! Мы все в неоплатном долгу перед искусством, перед культурой — этим величайшим благом для всех живущих. Я хотел бы особо отметить заслуги татарской литературы перед художественной культурой республик Советского Востока, особенно Средней Азии. Лучшие представители Татарии оказали большие услуги многим из наших народов в деле просвещения и культуры. Татарский народ дал нам поэта-героя Мусу Джалиля. Мы благодарны ему за это.

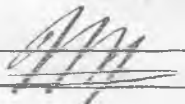
На вечере памяти казненного татарского писателя не случайно вспомнил я испанского поэта Федерико Гарсиа Лорку, в другом краю и в других обстоятельствах, но убитого теми же черными силами фашизма. Это убийство у многих вызывает недоумение. Обычно говорят: зачем убили Лорку? Ведь он не имел отношения к политике. Это заблуждение. Любой крупный художник — явление социальное и общественное. Мы знаем, что первая же вещь Лорки, написанная для театра, его трагедия «Марианна Пинеда» — это трагическая песнь свободе. Нет, Лорка занимал определенную позицию как человек и художник. Он являлся поэтом народа, мастером, возродившим народный испанский романс. Он однажды заявил, что состоит в партии бедных. После этого разве оставалось сомнение в ясности позиции великого испанского поэта? Он был с народом, оставался с теми, кто боролся против тьмы, пел песни свету и добру. Его песни были душой Испании. Потому он и был убит фашистами. Лорка ведь написал вот эти потрясающие стихи об испанской жан-дармерии:

Черные кони жандармов
Железом подкованы черным.
На черных плащах сияют
Чернильные пятна воска.
Они по дорогам скачут,
Свинцом черепа налиты,
Они не умеют плакать,
Их души лаком покрыты.
Скачут горбатые тени,
Зловещие, словно тучи,
За ними — топь тишины
И страха песок сыпучий.
Не видят ни звезд, ни неба,
Рыщут, как волки, повсюду,
В глазах их сияют жерла
Сеющих смерть орудий.

Здесь я выступаю не как специалист среди специалистов, не как литературовед. Мое слово о поэте-герое — это слово

брата Мусы Джалиля по поэзии. Я не очень молод. Но я оставил в предгорьях Кавказа свой дом, бросил работу и отправился в Казань, а оттуда приехал в Москву, чтобы выразить свое уважение к Мусе Джалилю — моему казненному брату, поэту, убитому варварством. Силы, убившие Мусу Джалиля, еще не исчезли с земли. Матери все еще неспокойны за своих спящих детей, человек все еще часто с тревогой глядит вдаль. Трава и вода родника боятся быть окровавленными. Рассвет приходит с тревогой за свою чистоту. Мы не будем обольщаться и тешить себя иллюзиями, но будем верить в жизнь и победу света и добра, как это делали герои и мудрые художники. Будем учиться стойкости у таких людей, как Муса Джалиль, у тех, кто сумел слить песню и мужество воедино.

1966



ПЕСНИ ГОРЦЕВ



Горцы Кавказа всегда ценили слово. «Хорошее слово стоит скакуна»,— говорят, сказано ими. Они не любят бросать слово на ветер. Оно дорого им, как хлеб и соль, что добывались в горах с большим трудом. Не зря лучший поэт балкарцев Кязим Мечиев писал:

Хорошее слово с отвагою слито,
Блестит, как дамасская сталь,
Для нищих — богатство, для слабых — защита,
Утешит, прогонит печаль.

Хорошее слово — твой разум и голос,
И солнце твое, и луга,
Души твоей сказка, земли твоей колос,
Огонь твоего очага.

Хорошее слово — твой праздник и горе,
И горский тяжелый твой хлеб,
И меч, и кольчуга, и воздух нагорий,
Где ты возмужал и окреп.

Хорошее слово с тобою смеется,
С тобою грустит в трудный час,
Мы жизнь покидаем,— оно остается
И служит живым после нас.

Мечиев был учеником народа и его безымянных поэтов. Он точно выразил отношение своих земляков к слову. Лучшие слова горцев остаются в их песнях, пословицах, сказках, легендах и нартском героическом эпосе — сокровищем и бес-

ценным богатством всех народов, населяющих ущелья и долины Северного Кавказа. Наша изустная поэзия входит в мировую культуру как ее неотъемлемая часть.

Песни абазинцев, адыгейцев, балкарцев, ингушей, кабардинцев, калмыков, карачаевцев, черкесов, чеченцев... У народов-соседей, народов-братьев исторические судьбы во многом сходны. Они делили всегда не только радость и горе, но и хлеб и песню. У горских народов Кавказа быт, обычаи, облик мужчин и женщин, форма одежды издавна были одинаковы. У горских народов нередко встречаются одни и те же песни, сказки, пословицы. Необходимо отметить, что безымянные певцы часто переводили песни одного народа на язык другого. Так делалось в моем детстве и юности, когда я еще жил среди наших крестьян, в атмосфере родного фольклора, в мире горской сказки и песни. Мне было известно, что кабардинские народные певцы — пахари и пастухи — переложили на свой язык и спели, а за ними спел весь народ карачаево-балкарские песни о Таукане, об Али, об Абдулкериме и даже такие шуточные песни, как «Медвежата» и «Соллоу». Так поступали и безымянные балкарские поэты-крестьяне.

Надо подчеркнуть, что у балкарцев и карачаевцев один язык и один фольклор, то же самое — у адыгейцев, кабардинцев и черкесов, то же — у ингушей и чеченцев.

Но дело не только в одной близости языков некоторых народов гор, сходстве жизненного уклада и соседстве, хотя это, разумеется, сыграло большую роль. Народы вообще всегда влияли друг на друга, один у другого перенимал многое, в том числе сказки, песни, пословицы.

Разве не то же самое было с умением строить жилища и пахать землю? У людей во все времена было гораздо больше общего, чем это кажется на первый взгляд. Ведь все они жили и живут на одной земле и под одним небом, все они люди. Человеческая радость и горе сходны повсюду независимо от различия облика родной земли и языков. Люди повсюду трудятся, борются, терпят поражения, страдают, болеют, стареют и умирают одинаково. Даже народы, не знавшие о существовании друг друга, рассказывали одни и те же сказки, повторяли пословицы одного и того же содержания. Крестьянин, пахавший свой клочок земли в Чегемском ущелье, проповедовал те же идеи добра и справедливости, что и пахарь, живший, скажем, где-нибудь у Средиземного моря. Кязим Мечиев, скитаясь по свету, писал, что радость и горе повсюду

имеют один цвет. Горе везде пахнет пеплом, радость — плодами, согретыми солнцем и омытыми дождем.

Я с детства знал балкарскую сказку. Много раз я слышал ее от старших, а потом рассказывал и сам. Когда же, став взрослым, я читал Гомерову «Одиссею», оказалось, что она и балкарская сказка — по сюжету — это почти одно и то же. В нашей сказке тоже есть и одноглазый циклоп, которого сказочник-горец называл лесным человеком или лешим, есть пещера с овцами, костер и каленое железо, которым гость лишил лешего единственного глаза и спасся, надев баранью шкуру. А ведь балкарские крестьяне, наши сказочники и ашуги, и слухом не слыхивали о Гомере и ничего о греках не знали... Правда, говорят, что греки когда-то жили в ущельях и долинах Северного Кавказа. Прометей был прикован по воле Зевса именно к кавказской скале. Должно быть, в Чегемской теснине. А что касается горцев, то, будучи соседями, они в течение многих столетий влияли друг на друга. А потому совершенно естественно, что фольклор их родствен. В наших песнях — мощь гор, белизна вечных снегов, взметнувшиеся к тучам скалы и обыкновенный плетень у дома, каменистые дороги и звенящий родник, мятежные реки ущелий и притихшие деревья, зеленая чинара и засохшая ольха, дождь над пашней и звезды над белыми хребтами, луна над ущельем и маленькие дворики аула. Безымянные поэты гор, конечно, специально не писали пейзажи — облик родной земли неназойливо и естественно входил в их песни. Радости и страдания людей, их любовь и горе, праздники и похороны — все это окружает природа, принимая участие во всех событиях. В своих песнях горцы в час торжества или беды нередко обращаются к горе, скале, дереву, реке, дороге, звездам, призывая их в свидетели, ища у них помощи, считая их опорой, поддержкой, утешением. Влюбленный, глядя на горы, поет о возлюбленной, веря, что скалы понимают его и разделяют его чувства. Сраженный стрелой или пронзенный кинжалом герой, умирая, обнимает камень или траву, и последние его слова слышат они.

В карачаево-балкарской песне «Снег идет» снегопад сопровождает все события, происходящие в этой маленькой трагедии:

Снег идет, все снег и снег,
Спит богатый человек,
Спит богач, не спит жена,
Все глядит: полна ль мошна.
Дочь у зеркала сидит,

Сын поет: он пьян и сыт.
Снег идет, все снег и снег,
Плачет бедный человек.
Снег идет, в пути занос,
Погибает водонос.
Снег идет, в горах туман,
Спотыкается чабан,
Замерзает дровосек,
Снег идет, все снег и снег...

Естествен в изустной поэзии горцев облик земли, которую они пахали, поливали потом и кровью, на которой строили свои жилища, тесали камень и дерево, пасли скот. Они любят эту землю, дававшую им хлеб, воду и последний приют. Пусть сказанное мною подтвердит старая чечено-ингушская песня, в которой есть такие строки:

Это синее небо мы, очи воздев,
Видеть счастливы каждый раз.
Словно старую бурку на плечи надев,
Кто износит ее из нас?

Эту черную землю, где нам умирать,
Где немало могил и дорог,
Разве кто-нибудь может из смертных стоптать,
Как подошвы своих сапог?

Жители гор каждый клочок земли ценили выше золота. Зарывая в нее своих смертных братьев-тружеников, героев, мастеров и безымянных поэтов, оставивших потомкам нестареющие песни и сказки, они верили, что родная земля бессмерта.

Да, земля в горах ценилась больше золота. И как за ней ухаживали! Каждый метр, годный под пашню или огород, освобождали от множества камней, которые в любое время могли, срываясь со скал, вновь засыпать участок. Землю удобряли навозом, орошали, по склонам тянулись арыки, словно змеиные следы или брошенные арканы. Отцы наши мало спали и много работали.

Жители кавказских гор пасли стада над безднами. Луга были не менее ценны, чем пашни. Горцы косили сено на такой высоте, над такими пропастями, что непривычному человеку это покажется невероятным. Все это требовало умения, большого терпения, смекалки, стойкости. Таким и воспитывали с детства человека в горах. Его не ублаживали сладкими сказками, не обещали ему легкой жизни, не сулили рая на земле, а готовили к трудностям, которые необходимо преодолевать ради жизни. Ему внушали, что нет для человека ничего гото-

вого, что он сам должен научиться делать все необходимое для существования. Горский мальчик в 8—10 лет уже был работником — помощником родителей. Это я помню и по своему детству. Еще мальчиком я запомнил поговорку моих земляков — чегемских крестьян: «Теленок бедняка несет службу вола».

Жизнь требовала от жителей гор мужества и трудолюбия, твердости и прозорливости. Они высоко ценили эти человеческие качества и упорно прививали их своим детям. Так складывался характер горца. Горец мог быть пахарем, пастухом, каменотесом и воином одновременно. Горцами давно сказано: «Какова земля — такова и трава». И песни их всегда были похожи на их родную землю — высокую, прекрасную, но скупую и трудную. Но горцы ее обожали, на ней они качали колыбели своих детей и слагали песни. Все было связано с ней: первый шаг и последний шаг, жизнь и смерть. Они умели не только пахать землю, но и отдавать за нее жизнь.

Жители гор, как известно, замечательные скотоводы. На мягкие травы пастбищ ложились тени от влажных облаков и орлиных крыл. Но известное всем горское трудолюбие проявило себя не только в скотоводстве и хлебопашестве. Крестьяне на воловьих арбах, на мулах и осликах через теснины провозили саженьцы и разбивали сады в солнечных долинах и на горных склонах. Нас до сих пор удивляет такое упорство наших отцов. Они пробивали дороги по отвесным скалам, одолевая их вековой гранит. Сады, о которых идет речь, имелись и имеются, в частности, в Черекском ущелье Балкарии, там почти сто лет назад была проведена дорога по отвесной скале — явление уникальное даже для Кавказа. Горцы жили так, будто трудности были придуманы жизнью для них специально. Они, похожие на свои горы и скалы, трудились, сражались за родные очаги, отстаивали свободу, выше всего ставя честь и достоинство, преодолевая трудности, закаляя характер, не отчаиваясь, веками накапливая мужество и мудрость.

Наша земля всегда знала замечательных мастеров камня и дерева. Об их таланте и трудолюбии свидетельствуют те сакли, что стоят сотни лет, выдержав бури, снега и дожди столетий, а также старинные башни и склепы, для которых в далекие времена так искусно жгли известь, что до сих пор трудно понять, как это делалось. Работа безымянных мастеров выдержала разрушительную силу времени. Башни в горах стоят долгие века, пережив многие поколения, став

свидетельством того, как прекрасны труд, талант, воображение и упорство мастеров всех времен и народов. Давно забылись имена горских каменотесов — творцов замечательных строений, но плоды их фантазии и ума остались с живущими.

Человек творит, сознавая, что сделанное им переживет его. Открытое, найденное, сотворенное мастер оставляет тем, кто будет жить после него. Не боясь быть высокопарным, хочу сказать, что каждый труженик на земле является по своему Прометеем, ибо повседневная жизнь его есть подвиг.

Иные ученые, литературоведы и критики не любят, когда пишут о смерти. Можно подумать, что сами они бессмертны, избавлены от старости и человеческих страданий. Только плохие литераторы боятся касаться темы смерти. А вот безымянные поэты гор — пахари и наездники, пастухи и воины — не боялись.

Когда-то наши крестьяне сказали: «Быть без песни — бездомным быть». Горцы не хотели быть бездомными. Они всегда слагали песни, пели их на свадьбах и во время обычного застолья, пели пастухи на пастбищах, путники в дороге, девушки за рукодельем. Не было дня, чтобы в горах не звучала песня. Думаю, что нет на свете народа, который бы не пел, иначе он был бы подобен глухонемому. Горцы любили и любят петь. В детстве я знал многих ашугов. Бывая с ними, я сам учился у них петь. Создания мастеров слова, безымянных поэтов и сказочников, оказались даже долговечнее дел мастеров камня. Если многие башни и склепы все же разрушены грозной силой времени и навсегда потеряны для нас, то песни, сказки и пословицы поныне живут в памяти народа, не потеряв свежести и силы. Слово оказалось прочнее камня!

2

Известное высказывание В. И. Ленина о двух культурах в каждой нации можно полностью отнести и к изустному творчеству горцев Северного Кавказа. В наших горах, как и всюду, жили бедные и богатые, угнетенные и угнетатели. В создании произведений фольклора, конечно, участвовали те и другие. Можно найти такие сказки, песни и поговорки, в которых явно обнаруживается попытка оправдать существование богатых и бедных, оправдать гнет и жестокость, воспеть мнимые подвиги князьков, возвеличить их и их подручных. Оно и понятно. У всякого, кто имел власть и силу, имелись и прихлебатели — лживые певцы, совраты для которых ничего не стоило: язык от этого не отнимался, а брюхо

было сыто. Такие горе-поэты о совести и не думали. Она для них являлась слишком невыгодной и бесполезной, а иногда и небезопасной: шутки с княжеским гневом были плохи.

Но не такого рода вещи составляют долговечную силу горской народной поэзии. Нашу признательность заслужили не лживые слагатели мертворожденных (как все лживое!) песен, славословящих князьков, а произведения, рожденные народной жизнью и народной совестью, ненавистью к гнету и угнетателям, защищающие слабых и гонимых, истинных хозяев жизни — тружеников. Настоящие народные песни гор были похожи на счастливых своей свободой птиц, ясным утром вылетающих в синий простор неба, парящих над белыми вершинами и зелеными долинами. Создателями этих песен были крестьяне — пахари и пастухи, — которым, возможно, не каждый день хватало ячменного хлеба, но совести хватало всегда. Они ставили ее и справедливость выше всего.

Песни о судьбе трудящегося человека, о его чаяниях, мечтах и надеждах, борьбе за лучшую жизнь, о человеческой радости и горе составляют золотой фонд изустной поэзии горцев.

Горскому труженику жилось трудно, он был унижаем и попираем. Кто только из имевших власть и силу не пытался лишить его хлеба и человеческого достоинства, кто только не топтал скудный посев крестьянина, не отнимал его скот и не сжигал его жилье! Это делали и местные феодалы, и хищные завоеватели. Хлеб его бывал скудным, а очень часто и горьким. Об этом слагались правдивые песни, простые, как очажный камень или плетень, чистые и честные, как хлеб и совесть. Вот такой и дошла до нас «Батрацкая песня». Горький голос кабардинского пахаря или пастуха слышим мы как бы из темноты ночи или из-за гор, окутанных туманом:

Мочит травы не роса,
Не ручей течет,—
Чем длиннее полоса,
Тем обильней пот.

Ой, хозяйская мошна
Велика.
Ой ты, бедная спина
Батрака!

Этот голос крестьянина донесли до нас народные песни. В народных песнях — живая летопись, живы сердце и ум народа. Обратимся к осетинской «Песне женщин, изготовляю-

щих бурки». Труженицы-осетинки вторят кабардинскому батраку:

Бурка, стоящая, ой, не дешево,
Для плохого или для хорошего?
Эта бурка из руна заветного
Для богатого, а не для бедного.

Может быть, поймет богач, как тяжело нам,
Может, зарежет он барашка нам.
А барашка пожалеет, может, нам,
Так по миске каши хоть наложит нам.
Может быть, и каши пожалеет.
Сытый, разве нас он разумеет?

У горцев есть поговорка: «Здоровый не понимает больного, сытый — голодного». О том, что сытый не понимает голодного, и сказано во многих горских песнях. Какая жизнь — такие и песни. В правдивости и верности действительности — сила народной поэзии. Этим она подкупает, потому и долговечна.

Тяжелые условия жизни, невыносимый гнет со стороны местных феодалов и царских чиновников, социальная несправедливость породили в горах Кавказа то явление, которое в народе называют абречеством. Не вынося унижений и издевательств, храбрые и сильные люди покидали свои очаги, уходили в леса, не видя и не находя другого пути борьбы со своими мучителями. Это были благородные мстители. Их не надо путать с обыкновенными разбойниками и грабителями. Абречество — явление социальное. Абреки были заступниками бедных и грозой богачей, князей и чиновников. Царские власти вели с абречеством беспощадную борьбу: кого удавалось поймать, посылали в Сибирь на каторгу. Самым известным абреком в горах был чеченец Залимхан. Известен и карачаевец Канамат. О них горцы пели прекрасные песни, которые дошли и до нас. Интересна судьба балкарского абрека из Чегемского ущелья Султан-Хамида, и популярно его имя. Меня сначала называли его именем, но двоюродный брат моего отца, который в юности был как-то оскорблен Султан-Хамидом, заставил моих родителей дать мне другое имя. Так я перестал быть Султан-Хамидом и стал Кайсыном. В 1912 году С. М. Киров, узнав о храбром абреке из Чегемского ущелья, под видом рыбака явился туда, нашел отважного чегемца. Благодаря Кирову Султан-Хамид перестал быть одиночкой мстителем, стал активным участником гражданской войны на Кавказе, одним из ближайших друзей и соратников Сергея Мироновича. Он в 1918 году погиб у города Вла-

дикавказца от пули, прикрыв собой Кирова. Абреки были людьми свободы, борцами за нее. Горцы Кавказа, у которых всеми способами старались отнять свободу, не могли не отдавать лучшие порывы души свободным и отважным рыцарям гор. Об этом поется в карачаево-балкарской «Песне о Канамате».

Благородный и храбрый защитник бедных Канамат с несколькими товарищами семь лет находился в Черном, как сказано в песне, лесу, «ночью выл волком, а днем лаял собачкой». Канамата с друзьями выдал властям один его старый знакомый, и все они были убиты в отчаянной схватке с отрядом, окружившим их. Песня о них трагична и мужественна. Ее поэтическую мощь едва ли можно передать в переводе на другой язык. Поэзия подлинной жизнью живет только на том языке, на котором она создается. А потому и песню о Канамате очень трудно перевести, каким бы замечательным поэтом, каким бы крупным мастером ни являлся переводчик. Запись «Песни о Канамате», по которой осуществлен перевод на русский язык, во многом не совпадает с тем замечательным вариантом, который запомнился мне с мальчишеских лет, когда мне посчастливилось слушать лучших народных певцов-сказителей, давно ушедших из жизни. Я не могу не процитировать то место, где один из товарищей Канамата Касбот рассказывает сон по дороге в аул, не ведая, что знакомый аульчанин предаст и погубит их. Вот их разговор в том виде, как его исполняли крупнейшие исполнители фольклора:

— Ой, Канамат, я хотел бы рассказать
Тебе один сон,
Если ты не станешь меня ругать.
— Расскажи, Касбот, Расскажи,
Зачем я стану тебя ругать?
— Ой, Канамат, двор людей, куда мы идем,
Был залит красной кровью,
А сокол, похожий на тебя,
Лежал мертвым в том дворе.
Такой сон мне приснился этой ночью.
— Ой, негодный Касбот, ты, кажется, трусил,
Сновиденья — это отбросы сна,
А тот, кто верит им, — негодный из людей!

Если бы вдруг я
Горе излил,
Если бы на луг я
Слезу обронил,
Знаю, печаль моя землю сожгла бы
И на равнине трава не росла бы.

Если бы в песне
Я горе излил,

В реку бы если
Слезу обронил,
То от соленой слезы и от горя
Сразу река превратилась бы в море.

Там, где скитаюсь я,
Нету еды,
Там, где скрываюсь я,
Нету воды.
Я пробавляюсь дубовой листвою,
Пью-напиваюсь росой скупой.

Мы ведем речь, повторяю, о народных мстителях, о заступниках бедных и обездоленных. Мы имеем в виду тех, «кто на князей точил кинжал», как сказано в песне о Канамате. Справедливость, свобода, мужество и бесстрашие — вот что являлось религией настоящих абреков.

3

Сила народных песен, их огромное значение заключается еще и в том, что в них отражены все стороны жизни народа, они остаются правдивейшим выражением человеческой души, всех ее переживаний. Горцам Кавказа в течение многих веков приходилось отстаивать свою землю, родные очаги и жизнь детей от посягательства бесчисленных захватчиков. Горский крестьянин всегда оставался воином, его в любой час мог призвать к бою огонь тревоги, зажженный на вершине горы. Были времена, когда в аулах могил оказывалось больше живых жителей. Свидетелями той суровой жизни, наряду с произведениями фольклора, остались крепости и башни в горах, так часто встречающиеся, а еще надгробья из горного камня у дорог. В старину героев хоронили там, где они погибали. Любопытна одна деталь. Мне не раз приходилось видеть два памятника у дороги, стоящие рядом. Один из них обычно был повыше другого, и на нем изображалась голова мужчины, а на другом памятнике головы не было. Люди знали, что рядом лежат мужчина с женщиной — муж с женой. Многие из таких надмогильных камней у дорог сохранились до наших дней.

В Чегемской долине по пути в мое родное ущелье у дороги стоит одинокий высокий могильный камень — памятник герою, имя которого теперь забыто, потому что письма стерлись от времени и прочесть их не могут даже такие знатоки, как старый поэт и специалист по горским памятникам Саид Шахмурза. Этот камень изрыт пулями разных эпох.

Оказалось, что даже мертвому под землей нет покоя от войн. Герой погиб от стрелы или пули, бог весть когда и в каком из бесчисленных боев, происходивших в этой прекрасной долине, на которую с юга смотрят белые вершины гор. Однажды здесь, когда зеленая трава обступала этот камень, и над ним, как при жизни того, чей прах он сторожит, медленно проходили белые облака, и был виден весь могучий Кавказский хребет, «и горы на музыку были похожи», как сказал Симон Чиковани, пришло мне в голову название одной из моих книг — «Раненый камень».

Я многим обязан камню. В горах он особый. Как ни странно, камень учил меня мыслить, учил сдержанности, оберегал, как и деревья, от многословья и болтливости в стихах, камнем гор порождены многие мои мысли. Теплый камень очага греет босые ноги ребенка, стены своего жилья горцы делают из камня, а также жернова водяных мельниц (ветряных у нас нет) и ограды. Косы, кинжалы, ножи точили на камне. И стреляли по врагам мои земляки, лежа за камнем, и отдыхали, сидя на камне, и раненые опирались на камень, и погибали люди часто от камня, сорвавшегося со скалы. Камень, наконец, становился надгробием жителя гор, сохраняя его имя на долгие годы. Камень сопровождал горца от рождения до смерти, он «общался» с ним каждый день.

Поэтому так часто встречается камень в горской поэзии, как, скажем, березка в русской. Образ камня в поэзии горцев — явление совершенно естественное. Каждый поэт — известный или безымянный — беседовал с камнем, вверял ему свои горькие мысли, как бы учась у него стойкости и терпению. Поэты всегда знали, что камень — самый древний свидетель всего, что происходило на земле, что он облит потом и кровью отцов, что он видел их мужество, свадьбы, похороны, радость, слезы, торжества и беды. Поэтому камень постоянно присутствует в нашей поэзии, как живое существо, понимающее человека.

Большое место в устной поэзии горцев занимает тема защиты родной земли и борьбы с ее врагами, тема мужества, самоотверженности и преданности родине. Мужество и стойкость мужчин — вот та черта, которую горцы возвели в культ. На этих качествах держалась свобода родной земли. Без них невозможно было жить, когда жизнь была столь сурова. Для горцев трус являлся самым жалким существом на свете. Женщина гор самым ужасным в жизни считала быть матерью труса, это для нее было хуже смерти. Когда проклинали женщину, ей говорили: «Чтоб ты родила сына-труса!» Му-

жество и храбрость, честность и совестьливость почитались повсюду, а в условиях горской жизни они были особенно необходимы. Эти человеческие качества, разумеется, и теперь драгоценны. Даются они не каждому, так же как талант и красота. О том, чем для жителей гор являлась храбрость, хорошо сказано в чечено-ингушской «Старой песне»:

Там, где синюю птицу настигнет мрак,
Эта птица уснет и спит.
Где лихому джигиту встретится враг,
Там падет он иль победит.

Пасть или победить — было девизом горцев, оставалось законом их жизни в течение многих столетий. Горцы и после смерти хотели лежать в земле только под сенью любимых гор. Об этом тоже сложена не одна песня. Наши предтечи — безымянные поэты возвеличили родную землю, ее сынов, ее пахарей и защитников, ее мастеров и героев. Имена тех бескорыстных поэтов забыты. Они и не искали известности или славы. Они оставили потомкам нестареющие песни, полные ума, таланта, фантазии и благородства.

Сказанное о воинственности горцев, о культе мужества и смелости, который прививался жителю гор с самого детства, вовсе не означает, что у наших народов не были в почете доброта и человечность. Нет, эти вечно живые свойства человеческой души, без которых человек не был бы человеком, очень ценились в горах, как и повсюду, где живут люди. Горца с малых лет учили быть храбрым и даже беспощадным там, где это необходимо, и быть добрым и человечным, где это возможно. Без человечности нет и мужества, без доброты не бывает и стойкости, подвиги совершаются только во имя благородных целей, ради человечности и справедливости. Между справедливым и несправедливым горские крестьяне проводили четкую границу. Они хорошо знали, что жестокость не имеет ничего общего с мужеством, ибо герой благороден всегда.

Во всем мире известно горское гостеприимство. Для гостя в доме постоянно держалась постель, давалась лучшая еда, чаще всего резали барана в его честь, даже выделялась для гостей комната, которая называлась кунацкой. В горах существует проклятие: «Пусть твой дом будет тем домом, куда не приходят гости». Житель гор принимал даже кровника — своего злейшего врага, если он приходил к нему как гость, и не только сам не трогал, но и никому не давал его обидеть, пока тот находился в его доме и был гостем. Суровая жизнь,

вынуждавшая людей порой идти на жестокость, рождала и прекрасные обычаи, неписанные законы, которые защищали людей, спасали им жизнь. Вот один из них. Если горец гнался за своим врагом, чтобы его убить, а тот успевал добежать до матери своего преследователя и прижимался лицом к ее груди, то враги становились братьями, приходил конец вражде, а родители каждого из них могли спать спокойно, не боясь, что их сын будет заколот кинжалом за любым поворотом каменистой дороги. Все это не сказка, не выдумка. Так было в жизни.

Матери-горянки над колыбелями детей пели такие же нежные песни, полные забот и тревоги, как все матери на свете. В горах юноши девушкам говорили такие же слова любви, пахнувшие цветами и плодами, чистые и горячие, как и все юноши на земле. У любви, как и ненависти, один цвет и язык повсюду. А потому думать что горцы Кавказа в прошлом были более жестокими, чем жители других краев, не только неверно, но и противоестественно. Они были людьми, как и все живущие в мире, в них было и хорошее и дурное, как и у всех людей. Когда вдова оставалась с маленькими детьми, ей помогал весь аул: одни снабжали ее зерном, другие — картофелем, третьи — мясом, четвертые — дровами.

Если, скажем, потоком на горном пастбище уносило чей-нибудь скот, то попавшему в беду помогали всем селением. Если сгорел чей-нибудь дом, аульчане строили ему новый. Когда женился молодой человек, ему также оказывали большую помощь.

Уважение к старшим, внимательное отношение к старикам и детям было обычным явлением в горах, неписанным законом. Конный, догнав в дороге старшего, идущего пешком, слезал с коня, уступал его старшему, а сам шел пешком. Все это кажется мне замечательным и говорит о высокой этике горцев Кавказа, об их уважении к человеку: а ведь писалось в иных книгах о постоянном желании горца убить человека, о том, что жители гор каждую минуту хватаются за кинжалы, размахивают ими, орут, суетятся, не слушают друг друга. Создатели подобных «художеств», видимо, стремились подчеркнуть темперамент горцев. Так делают в плохих спектаклях плохие актеры. Моим землякам нельзя отказать в темпераменте, но он у них совсем другой и по-другому проявляется. Я хорошо знаю, что в горах человека с малых лет учат сдержанности. Она очень ценится у нас. Даже есть поговорка: «Сдержанность — чистое золото». Горцы не любят суетливых. Самой часто встречающейся надписью на саблях

и кинжалах была: «Без нужды не вынимай!» В горах за оружие хватались только в крайнем случае.

Убийца был обречен на проклятие и презрение. Жители гор относились к оружию очень осторожно — они знали, что шутки с ним плохи. Я не встречал ни в жизни, ни в нашем фольклоре, чтобы хвалили человека за ничем не оправданное убийство. Нет, в горах Кавказа знали цену жизни и не шутили с ней. Я не говорю, что не было исключений и не происходили жестокие, ничем не оправданные убийства. Конечно, они были у нас, как и везде, но я веду речь о народном отношении к человеческой жизни и к убийству.

У наших народов существовала, как известно, кровная месть: одно убийство вызывало другое. Зло повсюду родит только зло: проклятая цепь, которую трудно разорвать. Вопрос о кровной мести у горцев Кавказа недостаточно изучен, хотя о нем много говорили, много писали. Но причины ее возникновения, как мне кажется, серьезно не вскрыты. Мы знаем, что ничто на свете так просто не возникает. Горцы, знавшие цену человеческой жизни, все же считали, что за отнятую жизнь надо отвечать жизнью, за кровь платить кровью. Этот древний закон кавказские горцы считали справедливым. Долгие времена они мстили друг другу, отнимая у детей отцов, кормильцев. Кровь на земле проливалась всегда — по разным причинам, под самыми разными предлогами и далеко не одними только горцами Кавказа. Если бы собрать всю человеческую кровь, пролитую за долгие века, получилось бы самое большое море на свете. От их ужасного обычая кровной мести горцев спасли только Октябрьская революция и Советская власть.

Жители Кавказских гор знали цену уму, высоко ставили человеческий разум. Этому их учил накопленный веками опыт. Лучшие поэты Кавказа учились у народа и безымянных создателей устной поэзии сдержанности и внутреннему темпераменту.

Столетиями народы гор создавали свои песни, среди которых встречаются произведения самого разного характера — героические поэмы о древних богатырях — нартах, — где есть и Прометеев мотив похищения огня для людей, эпические песни о подвигах и мужестве героев, об их жизни и гибели в боях. В горской устной поэзии большое место занимают лирика, охотничьи, бытовые, трудовые, шуточные и колыбельные песни, причитания над погибшими и умершими. Народной поэзии горцев присуще большое жанровое разнообразие. Многие старинные песни горских народов не име-

ют рифмы или в них присутствует случайная рифма. Существует понятие «старые и новые песни». Думаю, что к последним относятся произведения, лирические по преимуществу, созданные с начала двадцатого столетия. В них уже есть рифма и обычно рифмуются только четкие строки в строфе. Так обстоит дело, в частности, с карачаево-балкарскими «новыми» песнями.

Многие из старинных песен гор говорят о тяжелой жизни крестьян, об их бесправном положении и нужде. В карачаево-балкарской песне о старике Атабии сказано:

Что ни день — забивают Абаевы скот,
Жарят-варят и ждут именитых господ.
Что ни день, что ни ночь — пир горою идет,
Пьют-гуляют богатые гости,
Атабию бросают лишь кости.
Стар бедняк Атабий, кости не разгрызет.

Бедняк Атабий находился в таком унижительном положении, что ему, как собаке, бросали обглоданные кости. Он был доведен до такого озлобления, что убил сына своего угнетателя — самый отчаянный шаг, на какой только мог решиться крепостной крестьянин. Он стал убийцей, не желая этого, на такое решение толкнула его невыносимая жизнь. Я хорошо помню эту песню, ее пели чегемские пастухи в мои мальчишеские годы. Народ не считал старика Атабия убийцей, его месть крестьяне принимали как справедливое возмездие.

Вопрос этот далеко не праздный.

Горские крестьяне считали, что оскорбленный человек имеет право на месть. А это означало: не оскорбляй, не угнетай, не унижай человека, иначе придет возмездие! Подобное воззрение противоположно христианской морали, непротивлению злу насилием, хотя христиане убивали себе подобных не меньше, чем люди других верований. Правда, у горцев тоже существует присловье: «Кровь не смывай кровью!» Но ведь люди живут не по изречениям.

В народных песнях со всей обнаженной правдивостью выражена жизнь, полная противоречий, трагедий, бед и надежд трудящихся людей. Вот еще одно свидетельство бедственного положения горских крестьян, которых одинаково жадно обирали свои богатеи и царские власти. В кабардино-черкесской песне «Жалоба крестьянина» бедняк горько сетует:

Сеем кукурузу мы,
Да не мы едим.

Ни тюрьмы, ни сумы
Мы не избежим.

Горькие, правдивые слова этой песни подобны камням, которыми бедняку хотелось бы забросать своих грабителей.

В горских песнях закреплена ненависть крестьян не только к местным феодалам и богачам, но и к царизму, его сатрапам. Обратимся к той же песне. В ней есть и такие строки:

Бедному да слабому
Нет нигде пути.
Ходит писарь с грамотой,
Говорит: «Плати!»

Загалдят начальники
Громче индюков,—
За долги вчерашние
Заберут быков.

Называют податью
Истинный грабеж.
Покинуть бы родину,
Да куда пойдешь!

Неужели, господа,
Не сожжет заря
Все законы черные
Белого царя!

Такие слова в комментариях не нуждаются, но в песнях, в которых отражены тяжкая доля народа, нужда и бедствия крестьян-бедняков, слышится не только горький голос жалобы, но и голос смелого протеста. Народ, выражая свое горе и боль, страдания и беды, нужду и гнет, оплакивая павших и умерших, никогда не отрицает жизнь, не считает ее бессмысленной и ненужной. Для этого он слишком мудр, мужествен и стоек. Народ возвеличивает своих героев и защитников, прославляет храбрость и трудолюбие. Это характерно вообще для народной поэзии, на каком бы языке она ни создавалась. Делать свое дело — пахать землю, пасти скот, возводить жилье, растить детей, защищать от врагов свой очаг, жить, как бы трудно ни приходилось, жить, преодолевая любое горе, любую беду, — вот задача и долг человека, по мнению лучшего на земле поэта — народа. Об этом же и большинство народных сказок. Трудиться и жить — основа философии горских крестьян, сложивших в родных горах наши лучшие песни. Они были слиты с горами, колосьями, водой, травой, деревьями, камнем, снегом, дождем, солнечным и лунным светом, огнем, горевшим в очагах — всем сущим на

земле, всем, что было дорого. У горцев, всеми корнями крепко связанными с землей, и песни рождались, похожие на них самих.

Несуетливо жили наши крестьяне, пахали землю, собирали урожай, тесали камень, слагали песни, глядя на дождь и снегопад, на звезды и облака, беседуя с деревьями и скалами, любя родную землю и веря в ее бессмертие, как и в вечность солнца, неба, звезд и облаков. Эта вера оберегала их от отчаяния, помогала переносить нужду и тяготы. Народ никогда не был пессимистом. В этом могучая его сила и сила созданной им поэзии — песен, сказок, пословиц, шуток.

Подтверждением сказанного является также и образ вечного Ходжи Насреддина. Идущий через века, побеждая все, мудрец, вольнодумец, поэт и весельчак одновременно, он придуман трудовым Востоком для утверждения непобедимости народа и человека, неисчерпаемости их энергии, находчивости, неутомимости, для утверждения бессмертия ума, смелости и таланта. У нас в горах даже бытует присловье: «Тот день, когда не будет произнесено имя Ходжи Насреддина, станет последним днем мира». Значит, такого дня не может быть, чтобы где-нибудь и кто-нибудь не назвал имя любимца всех народов Востока. Наши крестьяне, помню, часто начинали разговор словами: «Как сказал Ходжа Насреддин»... Народ всегда оставался великим оптимистом. Потому его воображение и ум создали образ Ходжи Насреддина.

С детства помню, что даже на свадьбах пелись не только свадебные, застольные, любовные, шуточные, но и песни о героях и подвигах. Они там не были лишними, считались необходимыми. Это было традицией, воспитывающей в молодых людях любовь к Родине и подвигам, прививающей мужество и чувство собственного достоинства. Песни о героях и подвигах исполнялись каждый раз, по какому бы поводу ни собирались жители аула. Приведу несколько строк из кабардино-черкесской песни «Кербеч», которая представляется мне характерной для такого рода песен горцев:

Чтобы от недруга край свой сберець,
Не затевают длинную речь.
Коня вороного седлает Кербеч,
Храбрых джигитов сзывает Кербеч —
Им по руке и кремневка, и меч.
Недруга грудью встречает Кербеч,
Саблей кровавой сверкает Кербеч,
Головы вражьи срубает он с плеч,
В бегство врагов обращает Кербеч.
В чаще залечь и тебя подстеречь,—
Лазутчики метко стреляют, Кербеч.

Над нами на небе одна луна.
Под нами тропа на земле одна.
На этой тропе есть кровавый след
И мертвые есть, а трусливых нет.

Труд как основа жизни изображен и воспет безымянными поэтами гор в полную меру. Чем земля скупее, тем больше труда она требует от человека. Жителям гор приходилось проливать много пота на своей каменистой земле, но они не проклинали ее и трудились день и ночь, добывая свой тяжелый хлеб. Они свои скудные клочки каждый день очищали от камней, поливали, и земля вознаграждала терпеливых тружеников. Об этом говорится в осетинской «Песне большой осени»:

Осень, осень, добро пожаловать,
Будешь бить ты нас или жаловать?

Эй, жнецы молодые и сильные,
Пусть серпы ваши будут звонкими,
Пусть и камни ваши точильные
Будут мягкими, да неломкими.

Ой, серпы ваши блещут в жите.
Жните, жните, домой не спешите.
Все равно — и домой придете,
Счастья-радости не найдете.

К трудовым песням примыкают бытовые и шуточные, между ними трудно провести четкую границу — так переплетены все эти мотивы. На долю людей часто выпадают всякие трудности, тяготы, беда и горе. Поддержкой для людей всегда были не только те произведения изустной поэзии, в которых воспеваются выносливость и стойкость, но бытовые и шуточные, которые всегда останутся замечательнейшим явлением народного творчества, народной фантазии и воображения. Крестьяне понимали, как прекрасен смех, спасающий людей от уныния, — ничем не заменимая поддержка в тяжкий час, избавляющая от горестного состояния души. В горах любили веселые шутки, прибаутки, загадки, игры. С любовью, с особой нежностью относились к шутникам, остро словам и забавникам. На Востоке говорят, что один шутник, едущий на осле по улицам, для здоровья людей нужнее сотни врачей.

Об угнетенном и бесправном положении горянки написано много, хотя, к сожалению, не всегда верно. Нет спора, в прош-

лом горская женщина знала и гнет и бесправие, но когда плохие литераторы пишут, что горянка день и ночь была занята только тем, что плакала, что горцы к своим женщинам относились по-зверски, согласиться с этим никак нельзя. Не надо оскорблять память мудрых пахарей, пастухов, дровосеков и ашугов! Хочется напомнить авторам подобных книг, что уважение к матери, например, всегда оставалось для жителя гор первой заповедью. Сыновья, даже став седобородыми мужчинами, чутко прислушивались к ее мнению, а ее опыт и мудрость ставили куда выше своего ума. Осмелюсь утверждать, что и к жене горец относился не хуже, чем жители других земель. Этим я вовсе не утверждаю, что среди обычаев горских народов, касающихся отношений между мужчиной и женщиной, так же не было несправедливых и негодных. Они были, но ныне отвергнуты самой жизнью. Бить женщину, например, у горцев считалось позором. По обычаям горцев женщины не занимались тяжелым мужским трудом — не косили сено, не пасли скот, не возили дрова — у них хватало других забот. Образ женщины в нашем фольклоре живет во всей своей сложности — с радостью и горем, любовью и болью, угнетением и сердечными порывами.

Самое сердечное и нежное, что было в горянке, осталось в колыбельных песнях. Каждая мать пела колыбельную с любовью к ребенку и тревогой за него. На свете нет сердца более чуткого, чем материнское. Мать первой слышит и шелканье волчьих клыков в темноте ночи, и шуршание дождя в ветвях чинары на рассвете. Материнская любовь и материнская тревога за судьбу детей породили в горах замечательные колыбельные песни, в которых созревание колоса и свет звезды перед рассветом, когда мать поднималась и, босая, мягкими шагами проходила к колыбели, чтобы дать грудь проснувшемуся ребенку. Нет на свете песен человечней и прекрасней колыбельных. Таковы и горские колыбельные. В них — человеческая и глубокая сущность жизни, которая не поддается объяснению и толкованию. Мне кажется, что истоком всей мировой лирики была колыбельная песня. Ее покоряющая сила неотразима, в ней — материнское сердце, которое вместило всю радость и все горе мира, всю нежность и все тревоги на земле. Мать качала колыбель, тихо напевая, — и в тот час, когда ее муж, отец ее ребенка, кормилец семьи, мирно спал глубоким сном, и в ту ночь, когда он уже лежал в той земле, которую пахал. Я люблю наши колыбельные с их непереводаемым припевом «Ляу, ляу, ляу». Каждый раз, когда повторяют этот припев, я слышу голос моей матери,

вижу, как желтеет подсолнух в нашем огороде перед домом в Чегеме, слышу, как шуршит дождь в ветвях зеленых чинар и звенит ручей. Я сижу, прикрыв глаза, повторяя колыбельную песню, и ко мне возвращается мир моего детства. Мать легкой походкой идет по двору, неся ведро воды или молока, молодая и стройная, без седины и морщин!.. Я завидую только тому поэту, который может написать настоящую колыбельную.

«Надев бурку, за прошедшим дождем не гонись». Это впервые сказал, конечно, горский труженик. И был он истинным поэтом. В его словах слились мудрость и поэзия. В них какой-то углубленный, без тени отчаяния, взгляд на жизнь, трудный житейский опыт, освещенный светом народной души. И этот свет мудрости делает долговечными пословицы горцев. В них слиты меткая мысль и живописная образность. Они действуют неотразимо, став той истинной поэзией, сила которой до конца непостижима и необъяснима. Замечательными образцами поэзии остаются пословицы и поговорки горских народов Кавказа. Их образность, национальный характер и особенность действительно неповторимы. Они порождены самостоятельным опытом каждого из народов и в то же время освещены общечеловеческим светом. Им конкретное национально-образное выражение придает поэтичность, емкость и самостоятельность, делает горские пословицы явлением духовной культуры человечества. Наши пословицы кажутся мне большой школой и для современных поэтов, они учат не только краткости и сжатости, но и точности образов, ошеломляющих своей неожиданностью и в то же время покоряющих естественностью.

Горские пословицы так замечательно отчеканены, так точны, мудры, образны, что стали высшим достижением поэзии горцев. При всей глубине и меткости мысли, в них нет тона наставления, дидактики, поучения. Осязаемая образность делает их поэзией. Некоторые из народов гор свои пословицы называют нартскими словами. Да, конечно, эти могучие слова, побеждающие неумолимое время, достойны благородных богатырей — нартов. Умирали те, кто сказал эти слова, изнашивался плуг, ветшали и рушились жилища, а богатырские слова-пословицы оставались. И мы повторяем их. Став нетускнеющей мыслью и поэзией, живет в них весь прекрасный мир родных гор, а также ум и сердце народа, его чувства. Горские пословицы — большая наука и большая поэзия одновременно. Их свет постоянно ложится на нашу дорогу, помогая лучше понять ум и глупость, честность и

коварство, сердечность и хитрость, помогая лучше разбираться во всех человеческих качествах, лучше понимать жизнь.

Пословица, подобно самым необходимым орудиям труда, служит людям в повседневной жизни. Когда мне было тридцать, я постоянно записывал карачаево-балкарские пословицы. Однажды на сватовстве девушки, где присутствовали и старики, за несколько часов я записал двадцать шесть пословиц. Среди них были настоящие шедевры, которые вошли теперь в том нартских слов, изданный на моем родном языке. Этот пример говорит о том, что горцы не расстаются с пословицами, пользуются ими для подкрепления своего отношения к тому или иному явлению жизни. Они считают их самыми лучшими словами, а мысли, заключенные в них, самыми мудрыми на свете. Когда у горца все хорошо, благополучно, то, желая подчеркнуть, что человек от счастья не должен стать кичливым, спесивым, не должен зазнаваться, обычно говорят: «Не плачь, когда у тебя всего мало, не гордись, когда всего много». Если житель гор недоволен сыном, он скажет: «Не бойся, что не будет сына, а бойся, что будет плохим». А в тяжкий день, когда он потерял близкого человека, ему на помощь приходит изречение: «Жизнь — истина, но и смерть — тоже истина». И так — по каждому поводу — в час радости и в час горя, на свадьбах и похоронах, на площади аула, где вечером обычно собираются мужчины и сидят, беседуя, или у домашнего очага, в дороге, на пахоте, пастбище — словом, везде, где сойдутся хотя бы два человека.

Наши пословицы созданы философами и поэтами гор — пахарями и каменотесами, пастухами и дровосеками. Изречения рождались за сохой, у пастушеского костра, под звездным небом, в дороге или у очага. И остались жить вместе со звездами, лунным светом, хлебом и водой. Они были рождены жизнью. Их главная сущность — правдивость и точность. Они выражают глубину, непосредственность и совестливость народной философии. Они будут жить до тех пор, пока будут живы языки, на которых они созданы.

Может быть, у тех, кто высекал из своего ума и сердца эти изречения, эти несравненные слова, не было в достатке даже кукурузного хлеба. Возможно, они не имели даже сносной одежды, но зато они были подлинными поэтами и мыслителями. Лишь очень большой ум и талант могли высечь изречения, уцелевшие во времени, беспощадная работа которого сохраняет для жизни только шедевры. Хочется

еще раз подчеркнуть, что горские пословицы — это не только мудрость, выраженная наиболее сжато, но и высшая поэзия, потрясающая своей образностью, осязаемостью и конкретностью.

Писать о пословицах трудно. Они лаконичны и выразительны. Каждое мое слово о них кажется мне беспомощным и бесцветным. Несмотря на определенный литературный опыт, я робею перед их силой. Повторяю: пословицы — лучшее наше поэтическое сокровище, на языках горцев не создано ничего более прекрасного. Они — наше бессмертие. Личного бессмертия нет, есть коллективное бессмертие людей, их труда, их общих условий, совместных стремлений. Каждый, уходя из жизни, оставляет живым свой опыт, умение, мастерство. Так передавались умение пахать землю, печь хлеб, строить жилище, ковать оружие, слагать песню. Люди учились на опыте живших до них. И во всем этом велика была роль слова.

Мы говорим о слове равном хлебу. Такими словами и являются пословицы горцев — богатырские слова. Большое счастье и утешение для людей, что свет их мудрости не погаснет никогда. Мы верим в то, что нет конца жизни и слову. Крестьянин, оставивший людям хоть одну из этих пословиц, — как я сегодня завидую тебе! Я говорю о тебе с робостью и благоговением. Твое слово — вечнозеленое дерево, оно постоянно дарит мне свою тень. Ты мой предтеча и мой учитель. Я вижу тебя идущим за плугом или за стадом, скачущим по ущелью в звездную ночь на коне с потным крупом, сидящим на древнем камне и глядящим на вечерние сумерки, опускающиеся на каменистые дороги и синие снега хребтов; я вижу тебя с твоими заботами о хлебе, сене, дровах; вижу глядящим на дождь над скалами и кремнистыми дорогами, на мокрый луг или двор. Так и рождались в твоей голове крылатые слова, как те птицы, которых ты видел в детстве. Они вылетали из твоей головы в те мгновения, когда ты в худом бешмете сидел в маленьком дворе перед своей саклей, а в очаге женщины пекли ячменный хлеб. Ты, полный обычных крестьянских забот, и не знал, конечно, какой долгий путь сужден слову, что родилось в твоей голове. Ты смотрел на звезды вечности, нисколько не заботясь о бессмертии. Я люблю тебя такого — простого, естественного, как деревья, великого поэта. Я благодарю тебя через хребты времени. Драгоценные слова созревали в твоей душе, как колос на клочке земли, который ты так старательно пахал, они созревали, чтобы через столетия удивлять и меня. И я сегодня

произношу, как молитву, слова преклонения перед тобой, перед твоей мудростью и талантом. Твоя мысль и слово стали бессмертием тех, кто жил рядом с тобой. Я преклоняюсь перед тобой за то, что твоя мысль и слово стали светом души народа!

Общеизвестен интерес классиков русской литературы и ученых востоковедов к устному творчеству кавказских горцев. Отзвуки нашей народной поэзии встречаются в произведениях Пушкина и Лермонтова. Читателям хорошо известен лермонтовский «Беглец», написанный по мотивам горских преданий. Замечательно, что Лев Толстой заинтересовался песнями горцев, читал их в записях, публиковавшихся в Тифлисе — тогдашнем культурном центре Кавказа, и дал им очень высокую оценку. Да и в произведениях этого великого писателя ощущается знакомство с изустным творчеством горцев. Я имею в виду, в первую очередь, «Хаджи-Мурата» и «Казаков». Вот, например, в «Хаджи-Мурате» Толстой приводит прозаический перевод двух чечено-ингушских песен, соединив их в одну.

Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твою горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть. Но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Из этого отрывка нетрудно понять, что песня эта нравилась Льву Толстому так же, как и горцу Хаджи-Мурату.

Величайшего писателя России удивили песни горцев, и он

некоторые из них в буквальном переводе послал поэту Фету, на которого они также произвели большое впечатление. Замечательный русский поэт благодарил за них Толстого и перевел их. Две песни, пересказанные Толстым в «Хаджи-Мурате», поются народом и до сих пор. Само собой разумеется, чтобы вызвать такой интерес у Льва Толстого, песни горцев действительно должны были быть шедеврами. Этот факт вызывает у нас гордость и свидетельствует о том, какие художественные, поэтические возможности таились в народе. И вполне естественно, что еще в прошлом веке русские ученые-ориенталисты заинтересовались горским фольклором. Первым опубликовал на русском языке образцы горских песен П. К. Услар. Это было в середине прошлого века. В его записях, видимо, и читал Лев Толстой те песни, которые ему так понравились. Надо благодарить судьбу за то, что титан мировой литературы Лев Толстой встретился с песнями гор.

В наше время на запись, сохранение и изучение фольклора горцев обращается серьезное внимание. Этим занимаются специальные научные учреждения в каждой республике и области, имеются знатоки народного творчества и хорошо подготовленные специалисты-фольклористы. За годы Советской власти многие произведения горской народной лирики переводились на русский язык и печатались неоднократно. Но первой лучшей книгой такого рода, по моему мнению, явился том «Песни горцев», выпущенный в 1939 году в Москве издательством «Художественная литература» под редакцией Эффенди Капиева, которым были выполнены также и переводы многих песен. Считаю своим долгом отметить, что велики заслуги этого выдающегося писателя в деле перевода и популяризации изустной поэзии народов Северного Кавказа. Эффенди Капиев обладал большим талантом, завидной энергией и культурой. Его блистательная деятельность была связана с горячей любовью к земле отцов, к ее поэзии и истории. Он делал свое дело с редкостным тактом и тонкостью.

Думаю, что стоит упомянуть и русского советского поэта Андрея Глобу, переведившего горские песни, которые были включены в сборник его переводов образцов народной поэзии и вошли в книгу «Песни народов СССР», выпущенную в Москве в тридцатых годах.

4

Человек, который никогда не пел или не поет, кажется мне несчастным. Недаром известный певец и сказитель из Чегемского ущелья Исмаил Эттеев, помню, говорил: «Чело-

век с песней — всадник, а без нее он — постоянно пеший». Горским народам, у которых, как известно, до Октябрьской революции не было печати и театра, песни и сказки заменяли книги и театр. Надо сказать, что ни один народ никогда не обходился без поэзии.

Современная письменная поэзия горцев выросла из устной, в своем развитии опиралась на нее, как опиралась на русскую и мировую литературу. Даже самые крупные поэты гор учились у безымянных художников слова и продолжают учиться. Достаточно назвать имена таких мастеров, как Коста Хетагуров, Кязим Мечиев, Али Шогенцуков, Эффенди Капиев, Расул Гамзатов, Алим Кешоков. Каждый из них многим обязан устному слову своего народа. Эффенди Капиев писал: «Эту книгу песен дагестанских горцев я посвящаю скромным каменщикам — народным певцам моей родины».

А Расул Гамзатов говорит: «Текут многочисленные реки и ручейки, то широкие, то узкие, то шумные, то спокойные. Различна их глубина, но все они берут начало из горных родников. Реки порой мутнеют, ручейки пересыхают, не дойдя до моря, но вечные и чистые воды горных родников не могут помутнеть. Сколько бы из них ни пили, они не иссякнут. Народные песни — это горные родники, откуда берут начало ручейки и реки, сливающиеся в бурном море советской поэзии».

И я, скромный ученик безымянных, но великих песнопевцев родных гор, счастлив повторять чародейные слова, которые с детских лет стали для меня благом и сокровищем, радостью и утешением. Я, знающий ныне Данте и Шекспира, Пушкина и Мицкевича, Руставели и Хафиза, склоняю голову перед силой таланта безымянных поэтов моей древней земли. Стех пор как родились эти песни, прошли столетия, освещенные грозами и окутанные туманами, но порывы и свет души народных песнопевцев дошли и до меня. Я как бы коснулся рукой святого колоса тех времен или благородной стали кинжала старинной работы. Безымянные поэты гор, песни которых удивляют нас своей художественной силой, красотой и чистотой, еще раз убеждают: как прекрасно хорошо сделанное дело, какое чудо талант!



СКАЗКИ И ГОРЫ



балкарцев и карачаевцев один язык, одни и те же сказки, песни, пословицы. Поэтому их невозможно отделить друг от друга, эти два народа, издавна обитавшие в самом центре Кавказа у подножья Эльбруса. Ныне балкарцы живут в Кабардино-Балкарской АССР, а карачаевцы по соседству — в Карачаево-Черкесской автономной области.

Наши крестьяне, как и все крестьяне на свете, не только пахали землю, пасли скот, тесали камень и дерево, строили жилища, но и создавали сказки, песни, пословицы, загадки. Они были поэтами. И мы обязаны им полным нетускнеющих красок, неповторимым поэтическим миром, который они оставили нам. Эта изустная поэзия и поныне дышит живой жизнью, не увядая, не старея, радуя нас, служа все новым поколениям. Она полна мудрости, веры в жизнь, энергии, света, как и создания фантазии и ума любого народа. Она остается нашим национальным сокровищем наравне с родным языком. Максим Горький назвал народ величайшим поэтом, и это неоспоримая истина. Подтверждением ее является и карачаево-балкарская народная поэзия.

Человеку всегда трудно было жить и добывать свой хлеб. Ему приходилось воевать, отстаивать свой дом от жадных завоевателей. На народ обрушивались повальные болезни, эпидемии, неурожай и множество других бедствий, он терпел гнет, унижение, издевательства со стороны сильных мира сего. Но все равно люди должны были жить — и жили. Ни

при какой беде не иссякало молоко материнской груди, крестьяне пахали землю, строили жилища, разжигали огонь, растили и кормили своих детей, человеческая фантазия высекла вихревые пляски, удивительные песни, ум не скудел, надежда не погибала. Люди-труженики мечтали о счастье. Они всегда думали, что оно впереди. И это освещало им трудные пути, помогало жить, преодолевая все злоключения. Народ всегда был оптимистом и остается им. Он очищал землю от камней, растил зерно, разводил сады, собирал урожай и верил в вечность земли. Он слышал шуршание созревших колосьев, смотрел на звезды и не сомневался в их бессмертье, в любых условиях был уверен, что солнце всегда будет освещать и согревать мир, в свой час снег будет ложиться на землю, дождь будет поить поля, пастбища, луга, огороды, ребенок всегда будет смеяться, конь — скакать, мельничные жернова — крутиться.

С этой верой он и создавал свои сказки. Они были ему поддержкой, выражали его мечты и надежды. Народ вкладывал в них свой ум и талант. Так переходили сказки — эти жемчужины его фантазии — из уст в уста, от поколения к поколению. Я пытаюсь представить себе, как слагались сказки и легенды. Крестьянин всегда был занят. У него было много забот и хлопот — постоянно приходилось думать о насущном хлебе, сене, дровах, соли. Но все же он находил время слагать и рассказывать сказки. Верно сказано, что не хлебом единым жив человек. У него всегда была, есть и будет потребность в творчестве. И горский крестьянин, мне кажется, слагал сказки, вернувшись с поля или с пастбища, сидя у очага, пока жена клала заплаты на его изношенный бешмет. А может быть, он придумывал их ночами у пастушьего костра перед белой горой или в пещере, когда пламя освещало скалу. Могло быть и так, что он — пахарь, пастух и сказочник — ехал ночью по сухой горной дороге среди скал, смотрел на звездное небо и в этот час творил свои легенды. А возможно, он это делал, глядя на дождь, который не давал ему работать в поле или косить и убирать сено. Как бы то ни было, этот труженик каменистой горной земли — был большой поэт. И я, его потомок, ценитель его таланта, ума и воображения, выводя эти строки, снова благодарю его и кланяюсь той земле, которую он пахал, на которой косил траву, пас скот, скакал на коне, плясал на свадьбах, слагал свои легенды той земле, где он, сделав свое дело каменотеса и поэта, нашел вечный покой.

Человек должен жить, своим умом, волей, мужеством по-

беждая все трудности и превратности, которые встречаются на его пути. Он рождается для того, чтобы трудиться и жить. Все, что он делает, должен делать хорошо. Человек всегда обязан стараться быть добрым, благородным, щедрым, верным в дружбе и любви, быть преданным своему делу, отчей земле, родному очагу, ему необходимы стойкость, храбрость перед врагами, мужество в жизни — вот главное содержание и суть наших сказок, как и у всех народных сказок на свете. Но при таком общечеловеческом их содержании в сказках балкарцев и карачаевцев заключены конкретные национальные черты, своеобразие быта, жизни, особенности характера народа. Они порождены нашей родной землей и похожи на нее, в них мы видим ее облик, уже не говоря о языке и его прелести. Многие наши сказки родились в горах. В них живет высота и свет вершин. Они похожи на горы. У них одна суть. Как прекрасны они — сказки и горы! Поэтические особенности оригинала, к сожалению, в переводе во многом пропадают, и передать их невозможно. И тут ничего не поделаешь!

У балкаро-карачаевской сказки есть свой запев и особый конец. Начинается она обычно словами «давно-давно», а кончается: «Как этого не видели мы с вами, пусть так же не узнаем болезней и бед!» Эти слова всегда имели сильное воздействие на меня, в них есть какая-то необъяснимая добрая сила, мощь поэзии и прелесть языка. Но и эта сила во многом увядает в переводе. Но что делать, как известно, каждый язык — это целый мир. Поэтому поэзия полной и настоящей жизнью живет только на том языке, на котором создается. Перевод произведений поэзии — это не само дерево, а тень от него, не сама река, а только ее отдаленный шум. Читатель переводной поэзии, к сожалению, поставлен в такое положение, что он видит не само дерево, а тень от него, реки он не видит, а слышит только ее шум. Но и то благо. Хоть в такой степени один народ должен знать художественные создания другого.

С детства я рос в атмосфере народной сказки. Сколько я слышал их в Чегемских горах, как они были увлекательны, завораживающи, ярки, мудры! Их мне рассказывали чабаны на пастбище летней ночью, когда одна гора белела, а другая чернела, и были горы похожи на тех великанов, которые в легендах вели жестокую схватку, пытаясь одолеть друг друга. Мне рассказывали на площади аула старики, которым уже трудно было пасти скот и косить сено. Сказки для них, кроме прочего, были и воспоминаниями. Какими замечательными сказочниками были все эти горцы! Я до сих пор благо-

дарен им. Мальчиком я слушал их, когда скалы освещала луна, а звезды над вершинами горели так, будто вышли из сказки, чтобы посмотреть на белизну вершин. И голос матери до сих пор мне слышится и вспоминается, слившись со сказкой. Вечерами, когда на склоне перед нашей саклей, стоявшей у самых скал, белел снег или зеленела трава, мать рассказывала мне, мальчику, и я, слушая ее, засыпал счастливым сном. Такого сна я больше не знал никогда!

В сказке все крупно и ярко. Она освещена светом народной души, светом ее веры в жизнь, в справедливость, разум, светом его надежды. В наших сказках чаще всего персонажи не имеют имен, они безымянны. Это, должно быть, потому, что сказочные герои имеют собирательный смысл и народ не считал нужным удостоить какое-нибудь имя этой чести. Вопрос не изучен, но факт остается фактом.

У нашей народной сказки есть еще одна особенность. В ней неправых всегда побеждают те, которые правы. Несправедливость терпит поражение. Эта черта опять-таки идет от оптимистического отношения народа к жизни. Сказочник-крестьянин не позволял себе уступить окончательную победу черной силе. И это замечательно. Это каждый раз победа жизни. Я часто думал и думаю именно о такой силе оптимизма сказок моего народа, стараясь понять и постичь мощь его жизнелюбия. А ведь нашу изустную поэзию создавал народ, переживший многие беды, из пепла поднимавший свои жилища, столько раз вновь разжигавший огонь в очагах. Так было. А все же он в поэзии выражал свою нестигаемую, неистребимую волю к жизни, стойкость, мужество, мудрость, ясный разум. Поэтому и не увядают, не умирают сказки народа — создания его ума и сердца.

Сказка всегда возвеличивает замечательные человеческие качества, в ней каждый раз побеждают они. А это значит — побеждает народ, его разум, крепость души, человечность, которые неистребимы. Перед ними отступают темные силы, какой бы тяжелой ни была борьба.

Вот главное в сказках в моем их понимании. Мне кажется, что ни один литератор не должен пройти мимо них, быть равнодушным к ним. В них заложена великая художественная сила. Сказка всегда останется школой для поэтов. Недаром так любил и ценил ее Пушкин. Она не умерла и в атомный век, будет жить всегда, чтобы люди ни придумали, и впредь. Сказка — мать поэзии, которая выросла из нее, как колосья из земли. Сказка кажется выдумкой. Но только кажется так. На самом же деле в ней большая правда жизни. У меня всегда

вызывало радость то, что в сказках разговаривают не только люди, но и горы, реки, камни, деревья, снег, дождь, животные, трава, а люди понимают их язык. В этом такая большая поэзия и прелесть!

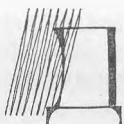
Благословенна сказка. Так много радости она давала нам всем! Как украсила она детство каждого из нас, став голосом матери и шумом дождя за окном отчего дома!

Я еще хочу сказать вам то, что обычно горский сказочник говорит своим слушателям, заключая сказку:

— Как этого не видели мы с вами, пусть так же не узнаем болезней и бед!

У КАЖДОГО НАРОДА — СВОЙ ГОЛОС

(Из речи на Стружских вечерах поэзии в Македонии)



Дайте младенцу грудь женщины любой расы, он будет ее сосать, но когда он вырастет, мы увидим в нем черты того народа, к которому принадлежали его родители, и в то же время он будет человеком. А материнское молоко всюду остается молоком, жизневорящей силой, как и хлеб любой земли. Вот так же и поэзия остается поэзией, на каком бы языке ни создавалась. Но, несмотря на это, она не может не быть отмеченной теми индивидуальными чертами, которые делают ее самобытной, хотя истинная поэзия всегда остается общечеловеческой, на какой бы земле ни звучал ее голос. Это так потому, что поэзия живет общечеловеческими заботами, радостью и болью всех людей.

Разве не так было с великими созданиями Шекспира, Пушкина, Гёте, Мицкевича, Руставели? Подтверждением моего тезиса являются все выдающиеся явления мировой поэзии от Гомера до наших дней. Большое искусство было и остается выражением чаяний, стремлений, надежд всех народов, крыльями свободы, являющейся священной для любой нации — великой или малочисленной.

Тираны были врагами культуры и поэзии не только своих стран. Один из них в арабском городе Алеппо несколько столетий назад приказал содрать кожу живьем со знаменитого азербайджанского поэта Насими. Вспомним Байрона. Разве его Песнь пелась только для Англии?

Говоря о том, что местный колорит и окраска не могут

помешать поэзии стать универсальной и всеобщей, хочу сослаться на ярчайший, по моему мнению, пример. Это Федерико Гарсиа Лорка, в двадцатом веке возродивший народный испанский романс и ставший мировым поэтом. Как известно, его много переводят, читают и любят всюду, во всех странах. В поэзии Лорки, одного из самых трепетных и пронзительных лириков века, очень и очень много испанского, национально-го, местного колорита и окраски. В его поэзии — душа его родины, ее воздух, испанская радость и горе, испанские мотивы и ритмы. Однако мы с вами свидетели того, что трагическая Песнь Лорки стала всеобщей, всемирной, легко перешагнула все границы, пришла к человечеству.

А гениальный русский лирик Сергей Есенин? По характеру стихов, по их краскам и образам невозможно себе представить более русского поэта. Однако он еще при жизни своей волшебной лирикой заморозил, к примеру, Кавказ так же, как и Россию. Его обнаженное сердце, редкостная искренность и пронзительность сделали Есенина любимым поэтом всех, кому дорога поэзия. Сергей Есенин на Кавказе написал свой знаменитый ныне цикл «Персидские мотивы». В нем он слил воздух русских равнин и гор Кавказа, Россию и Восток. А все же это чисто русские стихи, их мог написать только гениальный лирик, но не восточный и не западный, а русский, только русский. Таковы мир, душа и характер этих стихов, их прекрасные образы. И вот такой типично русский художник, в произведения которого так неповторимо входили образы русской земли, русской природы, становится горячо любимым всюду поэтом. Не говорит ли это о том, что национальный характер, местная окраска или колорит не могут помешать художнику стать близким всем, кто любит искусство? Этому может помешать только отсутствие большого дарования, а не национальные особенности.

И в то же время мы знаем, что поэзия трудно переводима. В этом смысле языковые барьеры играют почти трагическую роль. Это особенно горько, когда речь идет о крупных поэтах, пишущих на малораспространенных языках. Закрывать на это глаза нельзя. Но тема нашего разговора другая.

Когда миру угрожает опасность разобщения и вражды, поэзия, как сила всеобщая, служащая не злобе и ненависти между народами, а их братству, становится связующим звеном, голосом предостережения и совести, человечности и честности. Мицкевич и Словацкий стали великими европейскими поэтами потому, что порыв к свободе польского народа, польская беда и польская боль были понятны всем народам.

Вспомним здесь и другого национального гения Польши — Шопена, принесшего искусству своей родины мировую славу. Разве эти польские художники стали понятными и близкими всем нам потому, что отказывались от всего национального, от колорита своей земли, своей страны? Нет, как раз наоборот, их искусство оставалось национальным во всех отношениях, но одновременно опиралось на достижения всей европейской, всей мировой культуры. Национальная ограниченность и национальный характер или самобытность в искусстве — вещи разные.

Поэзия не может обойтись без конкретных национальных черт и красок, без выражения облика родной земли, характера народа, который имеет свою историю, свой опыт и особенности.

В наших горах, например, говорят, что даже каждый аул барана по-своему режет и огонь по-своему разжигает. Но хочу подчеркнуть еще раз, что поэзия не может отвечать своему назначению без общечеловеческого содержания. Национальный эгоизм так же не способен породить большую поэзию, как и межнациональная вражда. Дереву одинаково необходимы почва, влага, солнечный свет и тепло.

Не думаю, чтобы на свете жил такой народ, который бы детям разрешал топтать хлеб ногами. Когда я был мальчиком, моя мать в горах Кавказа заставляла меня каждый раз аккуратно собирать хлебные крошки, которые я ронял на землю. Дети всюду играют похоже и плачут одинаково, а матери также одинаково радуются детям везде и тревожатся за них всюду тоже одинаково. Веселый смех радостен везде, а слезы — горьки на любой земле.

А потому поэзия любого народа не может не иметь общие черты с творчеством других стран, несмотря на особые национальные свойства.

Только через свое конкретное художник приходит к человечеству и приносит свои самобытные мысли, образы, краски, ритмы. Горные реки имеют совершенно иной вид и характер, чем равнинные. А сущность их одна — без рек, без воды невозможно жить, земле и людям без них не обойтись. Над любой землей радуга остается радугой. Ей дети одинаково радуются везде — в Македонии, на Кавказе, в Монголии — всюду. С поэзией происходит то же самое.

Поэзия — везде поэзия, но в каждом краю она имеет свой особый аромат, я бы даже позволил себе сказать — цвет. Звезды, например, в горах кажутся куда более крупными, чем на равнине. На юге небо синее, чем на севере. Я просто

плетен Охридским озером, которое вот здесь — за окнами зала, где мы заседаем. Это совершенный шедевр природы, в нем я вижу редчайшую красоту. Как прозрачна его вода. Она родниковая. Какой это великанский родник! Даже в многометровой глубине видно дно — такая чистая вода. Нет, это озерочудо! Почему я счел нужным говорить здесь об Охридском озере, когда речь идет о поэзии? Да потому, что без красоты и величия земли — нашей общей матери — нет и поэзии. Мне хочется подчеркнуть, что такая земля, как Македония, такая красота, как Охридское озеро, которое мне хочется назвать национальным сокровищем страны, оказавшей нам замечательное гостеприимство, не может не породить самобытную и прекрасную поэзию.

Своеобразие красок или приемов ведет не к разобщению, а к взаимному обогащению. А потому пусть в поэзии каждого народа, у каждого художника будет как можно больше своеобразного и самобытного. Возможности в этом отношении огромны. Поиски художественных средств, путь к новаторству и самостоятельности также не разъединяют нас, а, наоборот, двигают наше общее дело вперед. Мы с вами знаем, что самостоятельность и оригинальность — незаменимое благо для художника. Если нет этих драгоценных качеств, то писать не стоит. Но, с другой стороны, каждому пишущему кажется, что именно этими качествами он и обладает. Тут уж ничего не поделаешь!

Мне думается, что без учета достижений всей мировой поэзии поэт любого народа сегодня не может работать и не добьется победы, он окажется замкнутым, отстанет. Все лучшее в искусстве принадлежит всем народам, всем людям. Потому поэты разных стран, разных языков и собрались в эти дни в Македонии — прекрасной стране, так обрадовавшей нас своей красотой и гостеприимством. Давно доказано деятельностью великих сынов малочисленных народов, что размеры дарования художника не зависят от численности населения его страны. Достаточно вспомнить одного Генрика Ибсена.

Выдающиеся создания поэзии неповторимы, в каком бы краю ни рождались, и они вливаются в общую сокровищницу человеческой культуры. Так двигалась вперед и будет двигаться мировая поэзия, в создании которой принимают участие все народы, взаимно обогащая друг друга, внося свои неповторимые черты и оттенки, учась друг у друга. Так рождается многообразие и мощь поэзии.



ТРАДИЦИИ И ПОИСКИ НОВОГО

(Из речи, произнесенной на дискуссии в Праге)

1

 Вопрос традиции и новаторства не является новым, и в наш век он вызывал и вызывает споры. Раз серьезные специалисты и знатоки считают нужным тратить время на них, стало быть, эти споры не бесполезны. Древние, говорившие о том, что истина рождается в спорах, были правы. В действительности каждое явление полно противоречий. Это истина, известная всем. Чутье художника как раз и заключается в умении уловить и понять главные противоречия жизни. Чем крупнее художник, тем с большей достоверностью и смелостью, даже беспощадностью, как Лев Толстой или Достоевский, обнажает он жизненные противоречия, не боясь быть непонятым или даже гонимым, как Пушкин. Я говорю о явлениях исключительных. Без них никогда не может обойтись искусство. Во все времена было закономерным то, что в литературе работали люди разных степеней дарования. Но мы в нашей работе и спорах должны опираться на образцы, на сильнейших. Для творчества, как и для жизни, нет старых вопросов. И те из них, которые порой люди называют старыми, на самом деле никогда таковыми не бывают. Для человека каждый раз все возникает как бы заново, и он каждый раз должен решить любой вопрос для себя заново. Так называемые старые вопросы возникают вновь и вновь, приобретая новые обличья и новый смысл. Потому и возник сегодня вопрос традиции и новаторства в современной поэзии. Признаться, мне кажется, что мы с вами так же не сумеем решить его, как и те, которые не

раз пытались сделать это до нас. Но каждый делает свое, как сказал чешский поэт Карел Гавличек-Боровский. А вопрос этот будет возникать снова и снова и после нас, ибо творческий процесс в мире будет продолжаться, и художники каждой новой эпохи будут смотреть на него со своей горы.

Я, как и выступавшие здесь до меня, считаю, что новизна для поэзии необходима. Это касается и содержания и формы. Ведь в жизни всегда все обновляется. Даже землю пахали не во все времена одинаково, изобретались новые способы и орудия. Так же строились и жилища. Может быть, не меняется только сияние звезд над полем и лунный свет, лежащий на крыши наших домов. Для того чтобы понять это, не надо быть большим философом. Традиции и новаторство тоже, разумеется, бывают разные. И отношение к ним должно быть умным. Разве новейшая русская поэзия, к примеру, могла обойтись без пушкинских традиций и опыта, не опираться на них? Думаю, что нет. Правда, в начале нашего века нашлись и такие литераторы, которые говорили и писали, что Пушкина необходимо «сбросить с корабля современности». Это было не только самонадеянно, но и глупо, что уже доказало само время. Я за глубоко уважительное отношение к предшественникам. Память — вещь великая. Плохо быть не помнящим родства.

2

Дереву каждой весной необходима новая листва. Поэзия также нуждается в новизне. Без нее она не может жить или станет похожей на чинару с засохшими листьями. Поэзия вечнозеленое дерево. Река должна течь непрестанно. Поэзии также положено естественно развиваться, двигаться вперед непрестанно. Ее приемы и средства постоянно обновляются, приобретая новые качества в каждую эпоху. Творчество не терпит застоя, как и жизнь, догмы враждебны ему. Каждый художник, конечно, имеет свои индивидуальные черты, свои способы и средства выражения. Без индивидуальных черт не бывает художника. Это азбука творчества. Другое дело, когда нехудожников выдают за таковых. Но как все это получается? Где границы между традициями и новаторством? Где новаторство истинное и мнимое? Как их определить или отличить друг от друга? Вот в этом смысле возникают и будут возникать споры. А все равно художник работает, опираясь на интуицию, и во всем убеждается на собственном трудном опыте.

Настоящие же открытия по плечу только редким художникам. Мы будем учиться у больших мастеров родной и мировой поэзии, не пытаясь сбрасывать их с корабля, а с полным уважением относясь к ним, стараясь понять и постичь их высокое искусство и делать то, что в наших силах. Я люблю в стихах простоту в лучшем смысле слова, непосредственность и эмоциональность. Мне также дорога естественность камня и дерева. Когда я в молодости читал свои стихи матери и она их не понимала, мне становилось стыдно за желание закрутить как можно сильнее, затемнить стих. Такие грехи, к сожалению, бывали и у меня, хотя я, крестьянский сын, должен был бы сохранить в себе естественность зерна и дерева. Правда, очень скоро я отказался от всего вычурного и надуманного. Поэзия не баловство и не ребусы. Упражняться, делать эксперименты необходимо, но не надо печатать то, что ничего не может дать людям.

3

Я не могу не возразить ложному мнению, высказанному здесь некоторыми из ораторов о «фольклорности» поэзии Есенина и Твардовского. Это заблуждение, мне думается, идет от плохого знания творчества двух этих крупнейших советских поэтов. Сказать, что они в должной мере использовали традиции изустной поэзии своего народа, это было бы справедливо. Но придерживающимся этого мнения кажется, что творчеству гениального лирика Сергея Есенина и великого поэта Александра Твардовского не хватает новизны, новаторских черт. Речь ведь идет о редких явлениях в русской поэзии нашего века, исключительно крупных индивидуальностях. А поэтому говорить, что в их творчестве отсутствует новизна, что они повторили уже бывшее до них, по меньшей мере странно. Ново в поэзии только то, что выражает жизнь с наибольшей полнотой, наиболее честно и искренне. Есенин и Твардовский — поэты такого разряда. Не говоря о Есенине, гениальную лирику которого у нас обожают, осмелюсь сказать, что ни один поэт в Европе не написал о прошлой войне с такой силой, как это удалось Твардовскому.

Достаточно назвать только «Василия Теркина». Я, как человек, общавшийся с Борисом Пастернаком, свидетельствую, что он тоже ценил Твардовского-поэта и его «Василия Теркина». Это и понятно. Пастернак всю жизнь упорно шел к простоте и естественности. А его тоже вы, надеюсь, не считаете фольклорным поэтом и не подозреваете в плохом зна-

нии поэзии или в отсутствии вкуса. Пастернак неоднократно повторял, что очень жалеет, что сам в молодости писал непросто. Даже утверждал, что был тогда формалистом. Именно это слово он и употреблял. Я не могу утверждать, что замечательный мастер был формалистом в молодости, но позже он стал писать просто и прозрачно. Всем нам это хорошо памятно.

Нет, Твардовский не «фольклорный поэт», хотя использовал мотивы и образы фольклора. Позвольте процитировать несколько строк:

Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...

Разве позволительно называть фольклорными такие стихи, полные напряженного драматизма эпохи второй мировой войны, именно этого времени? А теперь прошу послушать строки Есенина:

Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Ни по тону, ни по словарю такие стихи не могли быть написаны до Есенина, поразительны они талантичностью и чисто есенинской прелестью. А вот его строки на вечную и традиционную тему о смерти:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Это сердце Сергея Есенина, а не фольклорные стихи! Такое может создать только редкий талант. Выдающиеся поэты, какими являются Есенин и Твардовский, не новыми не бывают, ибо сам талант — уже новость, как говорил Борис Пастернак.

Почему-то те из наших коллег, которые говорили о «фольклорности» Есенина и Твардовского, умолчали о Гарсия Лорке. Хорошо известно, что Лорка — поэт, тесно связанный с родным фольклором, на основе которого созданы его знаменитые книги «Канте хондо» и «Цыганский романсеро». Это не помешало названным книгам стать всемирно известными.

4

Иные на Западе полагают, что многие из советских поэтов стараются писать просто потому, что сложно писать они не могут, не умеют. Вот пример, опровергающий это странное мнение. Пастернак в самом начале тридцатых годов писал:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

Это говорит один из крупнейших мастеров стиха нашего века, которому вы никак не можете отказать в умении писать сложно. Но его страстным желанием до конца дней оставалось — достичь высшей простоты. Мы знаем, какой естественности он добился в своих самых зрелых вещах. Вспомним простоту Чехова. Можете ли вы представить его себе иным? Большая естественность — мечта любого крупного художника. Мишура же — удел неполноценных, тех, кому нечего сказать людям. Мишура и украшательство идут от пустоты. Твардовский, например, мог бы так закрутить, что сам черт, как говорится, не сумел бы раскрутить. Но большим поэтам некогда заниматься фокусами. Их новизна и новаторство не показные, не внешние.

Нет ничего труднее, чем писать просто. Речь идет не о примитивизме и технической беспомощности. Мы стараемся писать просто потому, что хотим, чтобы нас понимали люди, среди которых мы живем. Поэзия, непонятная людям, это вроде той воды, шум которой томимый жаждой путник только слышит. Если меня не понимают люди, с которыми я делю хлеб и соль, я не стану писать. Я уважаю людей, живущих со мной рядом, радующихся и страдающих вместе со мной. Мне дороги их боль и страдания. Мне хочется, чтобы они меня понимали, чтобы мое слово, хотя бы в какой-то мере, стало поддержкой в их трудной жизни. Моя жизнь и моя смерть связаны с ними. Я не должен, не смею и не могу стараться отличаться от них, я слит с ними. Я не люблю тех художни-

ков, которые хотят быть подальше от простых людей, кичатся своим особым положением и качествами, к тому же часто мнимыми. Меня родила и вскормила неграмотная крестьянка. Но я не могу позволить себе думать, что я лучше и выше моей матери. Я за естественную поэзию земли, на которой мы живем, поэзию человеческой души. Поэтому я так люблю Роберта Бернса и Сергея Есенина.

Один из великих композиторов сказал, что музыка, основанная только на мастерстве, а не идущая от сердца, не стоит той нотной бумаги, на которой она написана. То, что мы пишем, должно идти от души, нести в себе вечную новизну земной красоты, чаяния современников. Только в таком случае поэзия бывает новой и нужной людям.

СОДЕРЖАНИЕ

Страницы автобиографии	3
Два голоса	29
Признание	39
Учитель Пушкина	47
А парус все белеет...	52
Народный поэт России	69
Уроки Тютчева	73
Перечитывая Фета	84
Огонек в тумане	93
✓ С солнцем в крови	98
Любовь и боль Сергея Есенина	100
Годы вдохновения	114
Народный поэт	125
Памяти друга	145
Мужество и собранность	154
Власть таланта	161
Наапет Кучак — великий лирик	166
Так растет и дерево	173
Весь мир в его сердце	185
«Чем продолжительней молчанье...»	201
Песнь земной красоте	207
Подобный молнии	214
Обнаженное сердце	220
Песня зеленого дерева	223
Чудесный кахетинец	229
Поэзия высоты	237
Языческий певец земли	242
Свет Прометеева огня	246
Неотразимость лирики	251
О Зульфий и ее поэзии	258
Светлый талант	267
Поэт-рыцарь	271

Талант и мудрость	279
Я рад, что знал его	288
Поэт как личность. (<i>Из речи, сказанной на вечере в МГУ</i>)	290
Песни горцев	295
Сказки и горы	320
У каждого народа — свой голос. (<i>Из речи на Стружских вечерах поэзии в Македонии</i>)	325
Традиции и поиски нового. (<i>Из речи, произнесенной на дискуссии в Праге</i>)	329

Кайсын Кулиев

ПОЭТ ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ

М., «Советский писатель», 1986, 336 стр.
План выпуска 1986 г. № 469

Редактор *Е. А. Мартынова*

Худож. редактор *А. В. Еремин*

Техн. редактор *Ю. Н. Чистякова*

Корректоры *В. Е. Бораненкова* и *Л. Н. Морозова*

ИБ № 5200

Сдано в набор 04.06.85. Подписано к печати 24.03.86.
А 03373. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литератур-
ная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд.
л. 16,82. Тираж 20 000 экз. Заказ № 416. Цена 1 руб.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600,
г. Тула, проспект Ленина, 109